

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

А. М. ТУРКОВ

ВАШ СУРОВЫЙ ДРУГ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



«...я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею». М. Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

А. М. ТУРКОВ

ВАШ СУРОВЫЙ ДРУГ

Повесть о М. Е. Салтыкове-Щедрине

МОСКВА «КНИГА» 1988

ББК 84Р7-4
Т 88

Предисловие *Л. Лиходеева*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука
Иллюстрации художника
С. А. Коваленкова

Т $\frac{4702010200—010}{002(01)\text{-}88}$ 67-88

ISBN 5-212-00022-X

Нине Сергеевне Филипповой

«И как любил он, ненавидя...»

В начале прошлого века один просвещенный александровский министр, приняв кабинет, столкнулся с чудовищным невежеством и произволом российской администрации. Он обнаружил, что у его чиновников нет не только чести и совести, но даже элементарных знаний, необходимых для исправления должности. Министр решил для начала своей многообещающей миссии заставить чиновников держать экзамен на чин. В то время бытовала эпиграмма, содержащая такую строчку: «О чин асессорский, толико вожделенный!»

Но когда невежественные мелкие чиновники, не выдержав экзамена, стали кое-где вылетать со своих мест за непригодностью, государственные мужи, которые экзаменов, естественно, не сдавали, решили, что колеблется основа самодержавия и что просвещенный коллега хватил лишку. Министра убрали и чиновники с облегчением вздохнули сверху донизу.

Мы обязаны, между прочим, этому министру устройством Царскосельского лицея, в котором воспитывались сначала Пушкин, а потом Салтыков. В лицее преподавали право и начатки экономики. Воспитанников готовили к государственной деятельности. Им предстояло занять высшие классы табели о рангах. Пушкин дальше девятого класса не пошел.

Салтыкову повезло больше. Он дослужился до пятого класса, до чина статского советника.

Тридцатилетнее царствование Николая Павловича окончательно освободило чиновников от необходимости что-нибудь знать или уметь. Сто тысяч взяточников правили империей. Сто тысяч алчных повытчиков получили открытое право грабить население и разрушать экономику страны. Чин уже сделался орудием разобщения людей, средством насилия. Чин сделался также способом избавления от тяглого состояния и всякий, кто достигал чина, даже самого малого, приобщался к казенному пирогу, к державному произволу. Сочиненная в мимопрошедшие времена ехидная эпиграмма получила ужасное содержание. «Толико вожделенный» чин, не только асессорский, но и любой иной, сделался мерилом права на произвол. Чин свидетельствовал о политической благонадежности. Чин давал возможность кусать от казенного пирога.

В это самое время Салтыков исправлял свою должность на государственном поприще.

Он был странным чиновником.

От него требовалась только верноподданная ложь о процветании, а он исследовал действительность. Когда ему указали составлять отчет по образу и подобию предыдущих очковтирательств, он предпочел заняться статистикой. А статистика никогда не уживалась с деспотизмом. Потому, что у нее против деспотизма — только цифры и факты, а у деспотизма против нее — государственный аппарат, упоенный собственным растлением.

Когда умер император Николай Павлович, наступила, по выражению статского советника Салтыкова, «эпоха конфуза». Из всех щелей, а их было предостаточно, полезла статистика. С одной стороны, всем как-то вдруг стало ясно, что блестящая империя почившего императора лишила народ прав и разрушила экономику. Но, с другой стороны, сохранились порядки этой империи, и каждому вбивали в голову, что эта империя была идеалом общественного устройства. С одной стороны, все все понимали, а с другой — продолжали дрожать.

В эту самую «эпоху конфуза» и служил странный чиновник М. Е. Салтыков. В эту самую эпоху и стали появляться резкие, беспощадные статьи Н. Щедрина — великого сатирика.

Салтыков исследовал действительность. Он не признавал ни верноподданнического славословия, ни блудливой государственной лжи, ни скотской трусости, вооруженной плетью. Вот почему у Щедрина было так много материала для размышлений и обобщений.

Об этом и написал свою книгу глубокий исследователь русской литературы Андрей Турков.

В предлагаемой книге мы находим плоды усердной работы над огромным наследием не только Салтыкова-Щедрина, но и людей, с которыми Салтыков-Щедрин сталкивался, с которыми дружил и с которыми дрался.

Андрей Турков охватывает почти половину века и тщательно продумывает документы, как историк и публицист. Его книга — не просто биография замечательного человека. Его книга — биография времени, биография общественной жизни, общественной мысли, общественного развития. Андрей Турков раскрывает перед читателем жестокий труд щедринской мысли.

Хороший писатель пишет точно, как в жизни.

А очень хороший писатель пишет саму жизнь, и жизнь, вышедшая из-под его пера, выглядит как бы точнее самой действительности. Конечно, никогда не существовало градоначальников, у которых вместо головы — органчик. Но это только кажется по первому взгляду. На самом же деле оказывается, что органчик — это первое условие, без которого не бывает градоначальников. Голова, не способная превратиться в органчик, не годится для того, чтобы завершить градоначальницкий вицмундир.

Сатирики всегда создавали свои миры.

Нет такого сатирического писателя, который не сочинил бы свой «Город Глупов». Когда Пушкин вознегодовал на стечение обстоятельств, мешающих ему дышать, он написал Историю села Горюхина — первый «город Глупов» нашей классической литературы...

Свой «город Глупов» еще до Щедринского написал Гоголь. Потом эти города создавали Булгаков, Платонов, Романов, Зощенко, Ильф и Петров...

Щедрин писал свой город Глупов всю жизнь. Он помещал в этот страшный закуток и господ Головлевых, и господ ташкентцев, и премудрых пескарей, и медведей на воеводстве. Он создавал жизнь, которая оказалась точнее жизни, он создавал общественные отношения, которые оказались пронзительнее существующих общественных отношений. Щедрин изображал явления, которые сделались нарицательными.

Очень хороший писатель ничего не предсказывает и ничего особенного не предвидит. Он создает свою жизнь, и мы смотримся в эту жизнь и отворачиваемся от нее и разбиваем в злобе, как зеркало в Пушкинской сказке, и возвращаемся к ней снова, потому что без этой вымышленной жизни наша всамделишная жизнь бедновата и расплывчата. Она, эта созданная очень хорошим писателем жизнь, поднимает нас на новую ступень миропонимания и делает наш взгляд пристальнее, а ум смелее. Там, в этой созданной очень хорошим писателем жизни уже живут и величие и мерзость, и радость и горе, и счастье и несчастье тех, кто еще даже не родился на свет.

Поэтому нам мерещится предвиденье. А это не предвиденье. Это — результат исследования человеческой природы, человеческого духа...

Жизнь Салтыкова-Щедрина была тяжелой, как свинец.

В предлагаемой книге Андрея Туркова мы видим Салтыкова-Щедрина таким, каким он, вероятно, был при жизни. Мудрым, страдающим, беспощадным. Мы видим его друзей, противников и врагов, мы видим бескорыстных рыцарей, доверчивых глупцов, упрямых невежд и ненасытных карьеристов. Мы чувствуем острую боль Салтыкова-Щедрина, когда он обнаруживает у забитых людей нежелание думать, тягу к безнаказанности, стремление не избавить общество от палки, а лишь взять палку самому.

И еще нас огорчают размолвки Салтыкова-Щедрина с некоторыми писателями и публицистами, чьи имена нам дороги. Было бы гораздо покойнее и приятнее, если бы лица, устоявшиеся в нашей школьной памяти, не чаяли души друг в друге. Чтобы Гоголь обнимался с Чаадаевым, Грибоедов дружил с Пушкиным и ругался с Булгариным, Толстой любил Шекспира, а Тургенев — Чернышевского. Но тогда жизнь стала бы проще, однозначнее и тоскливее потому, что из нее исчезли бы человеческие характеры, которые делают человеческую жизнь человеческой жизнью.

Андрей Турков очень точно показывает, как великие писатели,

публицисты и мыслители довольно часто расходились с Салтыковым-Щедриным во взглядах. Довольно часто эти расхождения вызывали споры и взаимные нападки. Это происходило потому, что настоящая литература, исследующая подлинную жизнь, нелицеприятна в своих оценках и многозначна в своих определениях. И пока истинная литература выясняет свои истинные отношения и мучительно решает свои истинные проблемы — монолитная окололитературная мелочность пытается принизить ее до убогого уровня своих понятий и заменить вольного соловья казенным воробьем...

Андрей Турков совершил большую работу, заслуживающую глубокой признательности современного читателя. Мне кажется, ему очень удался анализ творчества великого сатирика, как удался анализ общественной мысли.

Ему удалось привести к общему знаменателю большущий разбросанный материал. Он пользуется материалами известными, но, главным образом, малоизвестными и напрочь забытыми. Перед нами проходят свидетельства сановников, обывателей, министров, жандармов, читателей и просто прохожих. Перед нами — проекты указов, житейские счета, замечания литераторов и наблюдения курсисток. Перед нами — огромная архивная работа.

Занимательность книги Андрея Туркова состоит в четкой логической связи явлений, в движении мысли, которое увлекает нас страница за страницей, вызывая размышления и раскрывая заново образ живого Салтыкова-Щедрина — мыслителя, художника, исследователя и гражданина...

Л. Лиходеев



«Волки по-прежнему ходят по площадям и улицам.»

I

— Пошел!

— Но-о, милаи! С богом! — Огоньки в окнах качнулись от окрика и торопливо двинулись. Потом темный силуэт Арсенальной гауптвахты оборвался и ушел назад. В прошлое.

Тройка летела Литейным проспектом. Дома равнодушно проплывали мимо. Прохожие спокойнейшим образом шли по своим делам.

Впрочем, мог ли он ожидать сочувствия? Еще хорошо, что не ведут пешком под те же выкрики зевак, какие он заставил слушать Ивана Самойлыча.

— Должно быть, мошенник! — сказал, помнится, разглядывая Мичулина, франт в коричневом пальто.

— А может быть, и государственный преступник! — ответил ему господин с подозрительной физиономией, беспрестанно оглядывавшийся назад.

Иван Самойлыч Мичулин умер. Почти так же, как Акакий Акакиевич. Он вообще был ему родня. И у него тоже шинель украли, и он тоже цепенел, стоя перед значительным лицом.

Он бы умер второй раз, узнав, какого наделал переполоху.

Его императорское величество обратил внимание военного министра князя Чернышева на то, что у него в канцелярии служит чиновник Салтыков, дважды провинившийся.

Ибо без ведома начальства напечатал свои сочинения в журнале, что уже непорядок.

Ибо в этих сочинениях выказал вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших всю Западную Европу.

Военный министр принял близко к сердцу тень, которая набежала при этих словах на августейшее чело.

Титулярный советник Салтыков был арестован. Вся канцелярия шушукалась.

Чиновник особых поручений при военном министре Нестор Васильевич Кукольник приехал домой только поздним вечером. На нем лица не было: князь повелел ему быть секретарем следственной комиссии. Дело становилось серьезным: председателем сделали коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Набокова.

Семь лет назад Нестор Васильевич был извещен Бенкендорфом, что государь император изволил прочесть его рассказ «Сержант Иванов, или Все за одного» и повелел ему «на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства».

Потом грозу пронесло, да и рассказ был не чета салтыковской повести «Запутанное дело». Но участь, ожидавшая теперь молодого чиновника, участь, которую не могло смягчить его знакомство с сыном министра финансов Канкрина, ни с племянниками влиятельного министра государственных имуществ графа Киселева Милютиными, пугала Кукольника как напоминание о непрочности судьбы литератора.

Читая присланные ему книжки «Отечественных записок», Нестор Васильевич временами прямо-таки негодовал на неосторожного юнца: и дался ему этот Иван Самойлыч, который «от всей фигуры фортуны видел один только зад» и мыкался по столице, не в силах сыскать себе хоть какое-нибудь местечко!

Впрочем, и цензура тоже хороша. То всякие пустяки вычеркивают, а тут ведь прямо само в глаза бросается описание театрального представления, когда герой впервые угадывает: эта, обычно вяло и равнодушно снующая по улицам толпа может быть совсем иной, слитой воедино гневным порывом:

«...И слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы, и стук сабель, и чуется ему дым... С волнением смотрит он во все глаза на

сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется, что вот, наконец, все кончится; он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма...»

Самое время пропускать в печать такие вещи теперь, в 1848 году, когда «обаятельным дымом» тянет из Франции по всей Европе!

Интересно, что сказал бы неразумный сочинитель, если бы ему пришлось понюхать «обаятельного дыма», когда займется его собственная усадебка? Поистине не ведают, что творят, эти молодые люди, которые бурно устремились по стопам Гоголя, этого зазнавшегося однокашника Нестора Васильевича по Нежинскому лицею.

Но Нестор Васильевич добр. Ему жаль двадцатидвухлетнего Салтыкова, хотя тот в начале другой своей повести, «Противоречия», и пустил ядовитую стрелу по адресу сочинителей «трескучих эффектов» и любителей «неистовых воплей и кровавых зрелищ».

Бог с ним, хулящим его пьесы вслед за Белинским. И не дай ему боже такого же возмездия, какое ниспослано этому зоилу, доживающему последние дни в жесточайшей чахотке.

Растроганный собственным великодушием, Кукольник ездил к Набокову и членам следственной комиссии, почтительно советовал гневливому Чернышеву снизойти к юности и неопытности автора.

И вот Михаил Салтыков не сдан в солдаты, как годом раньше Тарас Шевченко, не упечен под пули на Кавказ, ни даже в Сибирь.

Жандармский штабс-капитан Рашкевич везет его в Вятку.

В Царскосельском лицее Салтыков был одним из кандидатов в «продолжатели Пушкина» (каждый курс обзаводился своим претендентом!). И теперь можно было утешаться тем, что поэт почти в таком же возрасте был выслан на юг.

Правда, в жизни Пушкина хоть сама лицейская пора осталась почти не омраченною. Ему не приходилось прятать свои стихи в сапог от любопытства воспитателей, как его продолжателю! Теперь в лицее воцарилась совсем иная атмосфера. Лицеистам запрещалось даже иметь запертые ящики или шкатулки: у воспитанников не должно быть секретов от начальства! Этот педагогический прием живо напоминал Салтыкову проделку помещицы, которая остригла у своей крепостной «девки» ресницы, чтобы лучше видеть, не дремлет ли она за пяльцами!

Зловещая тень всемогущего Третьего отделения Его императорского величества канцелярии дотягивалась и до лицейских дортуаров.

Рассказывали, что, назначая начальником Третьего отделения графа Бенкендорфа, Николай протянул ему платок:

— Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям...

Действительно, с тех пор до царя все реже и реже доноси-

лись рыдания и жалобы. Бенкендорф преотлично понял своего хозяина, — и Россия теперь хрипела с надушенным кляпом во рту.

Давно уже позади проспекты столицы и улочки ее предместий.

Позади гул расходившихся ладожских волн, черные от недавнего пожара улицы Костромы, где, глядя на ошеломленные лица погорельцев, Салтыков подумал, что сам, наверное, похож на них.

Ах, свернуть бы от Костромы не на восток, а на запад — к Ярославлю, Угличу, Калязину и дальше на родину — в Спас-Угол и Заозерье, где с детства знаешь в лицо не только всякого дворового, но и всякого мужика!

Бывают же такие трогательные сюжеты:

«В эту минуту по ветру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдруг смолкли. Анна Павловна притаила дыхание.

— Ах! — сказала она, облегчая душу вздохом, — а я было думала...

Вдруг опять...

...Вдруг колокольчик зазвенел как будто под самым балконом и заливался все громче и громче.

— Ах, батюшки! так и есть: сюда, сюда едет! Это он, он! — кричала Анна Павловна. — Ах, ах! Бегите, Антон Иваныч! Где люди? Где Аграфена? Никого нет!.. точно в чужой дом едет, боже мой!»

Не-ет, это все из другой жизни, из чужой, недавно прочитанной книги («Обыкновенная история» Гончарова) припомнилось!

Вот Салтыков и впрямь в свой Спас-Угол приехал бы — «точно в чужой дом», как будто его начисто миновала «счастливая, невозвратимая пора детства»!

Петербургские приятели порой морщились от его неумеренно громкого голоса и крепких словечек, которые то и дело срывались у него с языка. Неизвестно еще, как маменька распорядится семейными владениями, которые все округляет да округляет, — а вот это «наследство» он уже получил — и зычность голоса, и грубоватость, и вспыльчивость, способность выместить раздражение на первом попавшемся под руку!

Нагляделся, наслушался с самого «нежного» возраста и родительских перебранок, и крутых расправ с дворовыми девками (все у Ольги Михайловны в «подлянках» ходили!) и с другими «проштрафившимися»...

— Матушка, барыня, да ты на спину-то мою погляди, на рубцы-то шпицрутенные!

О, этот на всю жизнь запомнившийся вопль пойманного беглого солдата... Эти слезные причитания валяющихся у матери в ногах баб, — да разве только баб! — саженных бородачей, молящих — кто за сына, не в очередь сдаваемого ею в рекруты, кто за жену, которую велено высечь ее собственному мужу, чего она потом век ему не простит, а то еще и удавится...

Да что о них, «подлого звания» людишках говорить, если

собственные дети Салтыковых преотлично помнят «вкус» розог, с младенчества помнят!

— А знаете, — признается он много лет спустя, — с чего началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню, но секут как следует розгою, а немка — гувернантка старших моих братьев и сестер — заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше.

«Кто именно, не помню...» — Позднейшее запечатлелось четко: безбожно дрались сами гувернантки (это когда дети уже входили в «законный», по понятиям этих дам, возраст — и для сечения, и особенно для дранья за уши, их коронного педагогического приема), да и сестрица Наденька, которой после ее возвращения из московского Екатерининского института было доверено домашнее воспитание малолеток, неплохо орудовала линейкой, «измеряя» их малейшее прегрешение.

И ведь так обращались даже с ним, который для матери долго был «так мил, что чудо», как писала она мужу о трехлетнем сыне, да и потом восхищалась его умом и способностями, тем, как он «прямо, нескрытно резвится»!

Быть может, Ольга Михайловна подумывала: вот кто продолжит начатое ею!

Впоследствии писатель сравнит подобную героиню с хитрым, коварным и удачливым московским князем Иваном Калитою, приумножившим силу и могущество прежде захудалого удела.

Калита, как известно, в средствах разборчив не был. Ольга Михайловна тоже не стеснялась не только сама подольститься к богачу-отцу, чьей смерти с нетерпением ожидала в расчете на его капиталы, но и сыновей наставляла «всемерно угождать» дедушке и даже его «крале» Настасье. Не брезговала она и ростовщичеством. А уж со своими крепостными «душами» и вовсе не церемонилась.

Вспоминая впоследствии известное выражение: «дом — полная чаша», Салтыков писал:

«Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилий, физического труда, изнеможений, ропота и отчаяний, которыми сопровождалось устроение полной чаши».

Слова эти, взятые из его последней книги «Пошехонская старина», нуждаются, однако, в уточнении.

Конечно, мальчика, которого благосклонная мать нередко брала с собою во время ежедневных обходов усадьбы и прилегающих угодий, а то и в поездки по другим принадлежавшим Салтыковым деревням, никак нельзя уподобить Данте, озирающему преисподнюю. К тому же, сколь ни бестрепетна была сама Ольга Михайловна, иные из кругов крепостнического ада, даже по ее разумению, были отнюдь не для детских глаз.

И все же, пусть почти привыкнув ежедневно видеть достающиеся на долю прислуги тычки, пощечины и зуботычины и слышать взрывы необузданной ругани, невозможно было не содрог-

нуться, ненароком сделавшись «в гостях» свидетелем такой картины:

«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица».

С ужасом увидевший все это, маленький барчук хочет отвязать бедняжку. Но только читатель умилится этому сердечному движению, как рассказчик огорошит его новой поразительной сценой.

Какой-то старик прикрикнет на непрошеного освободителя, и тот «мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, с словами: «молчать, подлый холуй!» — бросился к старику».

И кто знает: художественный ли это вымысел, поскольку Никифор Затрапезный из «Пошехонской старины» отнюдь не тождествен самому автору, или это и впрямь горючее воспоминание, едва ли не более мучительное и терзающее, чем память о том, как секли тебя самого? Воспоминание о том, как сам уже было начал «входить в роль» полновластного и гневливого господина над «подлыми холуями» и мог при случае оправдать все маменькины надежды?

Размышляя впоследствии о том, чт*о* избавило его от этой, вроде бы уготованной ему, как и братьям, участи, Салтыков всегда возвращался мыслью к одному из сильнейших своих детских впечатлений.

Если хозяйством безраздельно управляла Ольга Михайловна, то на долю отца, Евграфа Васильевича, оставались дела «душеспасительные», к которым его супруга относилась с полнейшим равнодушием. Он же с необыкновенным рвением блюл все церковные службы и религиозные обряды, кичась собственной набожностью и памятливостью на всевозможные (часто не столь уж существенные) подробности и детали. Такую мелочную истовость стремился он воспитать и в детях, которые должны были затвердить наизусть множество молитв.

Всё это было способно поселить в душе только досаду и отвращение, спрятанное под маской лицемерного послушания, если бы маленький Михаил сам, никем к тому не принуждаемый, не прочел попавшиеся ему в руки «Чтения из четырех евангелистов».

«...Это чтение, — сказано в «Пошехонской старине», — пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе».

Еще не были написаны знаменитые слова, порожденные напряженными раздумьями о существе и смысле религии, о причине ее воздействия на людей, но именно они, пожалуй, прекрасно объясняют потрясение, испытанное тогда впечатлительным мальчиком:

«Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира...»[1]

Можно было еще не знать слова «ханжество», но как-то внутренне ежиться, испытывать неловкость от отцовских ужимок перед иконами, к тому же порой сменяемых надменным препирательством со священником, который, по убеждению Евграфа Васильевича, что-нибудь сказал или сделал не так.

Святые и мученики, о которых рассказывалось в книгах, казались мальчику похожими совсем не на картинно молившегося папеньку, а скорее на обучавшего Михаила грамоте крепостного живописца Павла — высокого худого старика с печальными глазами, истерзанного горестной судьбой жены: прежде она была вольная, но, выйдя за него замуж, сама впала в «рабское» состояние.

Когда же мальчик перечитывал рассказ о распятии Христа, туманное лицо страдальца порой внезапно и страшно преображалось в другое, реальное — зареванное, потное, облепленное гудящими мухами.

Да и только ли в это?! «Матушка, барыня, да ты на спину-то мою погляди-и-и...».

Даже представить невозможно, в какое красноречивое негодование пришел бы Евграф Васильевич, знай он об этих «кощунственных» переживаниях сына!

В «подлых холуях» открывались люди, такие же, как сам их будущий «господин».

И пусть салтыковский «норов», вспышки слепого гнева, бранчливость так и не вытравились полностью из его души — в этом смысле тоже по-своему «закрепощенной» привычкой, принадлежностью к «благородному сословию» (так и Никифор Затрапезный, поведав о подобном же нравственном перевороте, спешит оговориться: «Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству...»). Но отныне за вспышкой несправедливого гнева или приступом яростной брани наступало жестокое отрезвление. Салтыков казнился совершенным и нередко, обуздывая самолюбие, винился перед обиженным им.

Зато «бессердечный мир» приобрел в нем страстного и непримиримого врага. Недаром к одной из глав своей первой повести «Противоречия» молодой писатель взял эпиграф из Лермонтова:

«И дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью...»

А среди «них» — даже самые близкие. В супружеской чете Крошиных угадываются черты салтыковских родителей, будь то «глава семьи» — «совершенно под башмаком у своей жены, ходящий каждое воскресенье в церковь, подтягивающий басом дьячку, подающий отцу-иерею кадило, и больше ничего», или Марья Ивановна, в которой «есть все элементы заботливой матери, хорошей хозяйки, даже доброй жены, но всё это покрыто какою-то плесенью, всё это так далеко зарыто, что нужно долго всматриваться,

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 415.

чтоб из-за этой грубой женщины увидеть мать, из-за женщины-кулака — бережливую хозяйку».

Теперь, в час постигшей его беды, искать сочувствия у них, у Кро...у Салтыковых?! Нет, ничего доброго не ждало бы его в родительском доме!

Для Евграфа Васильевича сын всегда казался «больно резов», и уж теперь, когда «резвость» до добра не довела, допечет же он елейными укоризнами и ханжескими поучениями!

А уж что за громы и молнии обрушатся на «блудного сына», вызвавшего царский гнев, из материнских уст, легко себе представить, как вспомнишь, что даже невинные детские шалости влекли за собой дышащие гневом послания: «Послушайте, дурные и непокорные дети, особливо ты, Николай. Вы меня до того раздражили, что я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт, а про тебя просила, Николай, государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно государю удалить на вечное заточение от родительского дому и жду на днях предписания...»

«Непокорному» Николаю было в ту пору тринадцать лет, самому Михаилу — восемь.

Нет, уж в самом деле, лучше следовать «за дерзость и непослушание... куда угодно государю удалить»!

Куда угодно государю... Эта всемогущая воля, в сущности, уже вторглась однажды в жизнь Салтыкова.

Десятилетним, в 1836 году, он поступил в Московский дворянский институт, где прежде учились Жуковский и Грибоедов, а теперь воспитанники с восторгом твердили наизусть стихи своего совсем недавнего предшественника — Лермонтова, однокашника старшего брата Салтыкова — Дмитрия Евграфовича.

Здесь под влиянием традиций, учителей, Малого театра, где блистали Мочалов и Щепкин, появился у мальчика «вкус к русской литературе». Вместе с друзьями он мечтал об университете...

Но в 1838 году он с товарищем был отправлен в Петербург «для замещения в императорском Царскосельском лицее двух вакансий, предоставленных по высочайшему повелению Московскому Дворянскому институту», как гласило донесение попечителя учебного округа министру.

«Счастливец» пытался отказаться от такой чести, но мать об этом и слышать не хотела: ведь из лицея могла открыться дорога к высочайшим чинам! Он, как иронически скажет Салтыков позже, был призван стать «рассадником министров».

В навязанном ему лицее «отличнейший по поведению и по успехам в науках» воспитанник Дворянского института стал учиться хуже. В своей оппозиции казенщине и педантизму местных профессоров Салтыков нашел себе союзников не только среди новых товарищей, но и на страницах известных литературных журналов: «...это даже не то, что называется пустословием — мы не видим тут даже желания прикрыть фразами отсутствие мысли; это — извините за откровенность — просто сумбур!» — негодовал

в «Отечественных записках» Белинский на сочинение одного из салтыковских менторов да и другие учебники, по которым занимались лицеисты, честил их «сборниками пошлых и обветшалых правил» и «теоретическим хламом».

Как многие его современники, Салтыков получил свое истинное воспитание именно в «университете» великого критика: «...с иной, более обширной кафедры лилось к нам полное страсти слово Белинского, — вспоминал потом былой лицеист, — волнуя и утешая нас, и наполняя сердца наши скорбью и негодованием, и вместе с тем указывая цель для наших стремлений». Он и воочию не раз видел и слышал своего кумира в доме М. А. Языкова, где собирались литераторы.

В первой же повести «Противоречия», с которой через несколько лет после окончания лицея, в 1847 году, выступил Салтыков, звучат отголоски страстной проповеди великого апостола натуральной школы:

«Это уж, видно, век такой, что все вещи называются собственными именами, что действуют в трагедии не Ахиллы и не Несторы, а какие-нибудь Акакии Акакиевичи и Макары Алексеевичи...»

Имена героев Гоголя и только что дебютировавшего Достоевского помянуты, конечно, недаром. Как ни наивна первая повесть Салтыкова, она — искренняя присяга на верность новому, реалистическому и глубоко гуманному литературному направлению, — да и только ли литературному!

«...обстоятельства жизни нашей так чудно слагаются, — пишет герой повести другу, — что именно тот, кто и сеет, и жнет, — никогда не печет и не варит, а печет и варит *другой,* совсем другой — такой, который и в глаза не видал посеянного!»

В этих словах — эхо горячих дебатов в кружке Петрашевского, который одно время посещал Салтыков. Глава кружка, по выражению одного из участников, «втянул нас всех в литературу и политику» — в споры о Фурье, Сен-Симоне и утопическом социализме вообще, о необходимости «исхода из страны отцов» — то есть разрыва с самодержавно-крепостническим укладом жизни.

«Каждый вечер, — прочтем мы потом у Салтыкова, — лились шумные и живые речи, приправленные скромной чашкой чая; каждый вечер обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политической и нравственной сферы; от этих бесед новая жизнь проносилась над душой, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах...»

Многократно перекликаются «Противоречия» и «Запутанное дело» и со статьями друга Салтыкова Владимира Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и Франции» и «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии», которые заслужили похвалу Белинского, и с критическими статьями Валериана Майкова, где порой велась речь от имени «презренной, чернорабочей толпы» (вспомним важный образ второй салтыковской повести!).

Но все это — споры, согласия и несогласия с друзьями — теперь осталось далеко позади.

Тянулись по обе стороны дороги угрюмые леса — макарьевские, ветлужские. Штабс-капитан похрапывал, приваливаясь во сне к спутнику, и тот только досадливо морщился, но не отстранялся: Рашкевич и во сне как будто помнил, что отвечает за вверенную его бдительности живую кладь.

Случалось, что в окружающей чаще появлялись огоньки. Это не были «дрожащие огни печальных деревень». Прежде чем путник успевал что-нибудь заметить, лошади еще убыстряли свой и без того торопливый бег. Но зимнее ожесточение прошло, и волки просто любопытствовали.

Это были обыкновенные, немудрящие волки, знать не знавшие о своих сородичах, которые мерещились бедному Ивану Самойловичу во сне и в предсмертном бреду.

« — Мама! когда же убьют голодных волков? — спрашивал ребенок.

— Скоро, дружок, скоро...

— Всех убьют, мама? ни одного не останется?

— Всех, душенька, всех до одного...»

Это надо было вычеркнуть из повести. Не из осторожности. Ради истины. Ведь это лишь прекраснодушные мечты.

Волки по-прежнему ходят по площадям и улицам.

Волки стучатся в дома и, предупредительно щелкая шпорами перед помертвевшими женщинами, роются в кабинетах их сыновей, мужей, отцов, неодобрительно листают книги и журналы.

Министр народного просвещения граф Уваров полушепотом жалуется профессору Грановскому, что находится в положении человека, который, спасаясь от дикого зверя, одну за другой бросает ему части своей одежды, чтобы чем-нибудь занять преследователя и остаться целым самому.

Грановский невесело усмехается, думая, какой детали туалета уподобляет сиятельный собеседник его самого.

Откланявшись, он едет в клуб. Знакомые уже больше не удивляются, постоянно видя за карточным столом историка, чьи лекции завороженно слушала вся Москва.

Ждать нечего. Его публичные чтения остановились на средних веках. Пятьдесят томов речей и документов времен французской революции, которые прочел Тимофей Николаевич, лежат в его душе как опечатанные.

О 1789 годе не то что рассуждать — помянуть опасно. Полиция и без того уже наводила о Грановском справки.

До друзей, притихших в своих именьях, доходят слухи о его аресте. Они похожи на подсказку «дремлющим властям».

Он сидит за картами, и временами ему кажется, что волосы на затылке колеблются от звериного дыхания.

А другой историк — Костомаров уже мается перед жандармским генерал-лейтенантом, ожидая решения своей судьбы от этого

человека, в чертах которого есть что-то волчье и даже лисье.

Генерал-лейтенант Дубельт не спешит и рассматривает собеседника. Правда, на том уже нет ни полосатой пестрядинной блузы, ни длинного белого колпака, но год в Петропавловской крепости оставил на профессоре заметные следы. Нервно помаргивая, недавний узник напряженно прислушивается к словам собеседника (в камере его одолевали галлюцинации).

Дубельт объявляет раскаявшемуся организатору тайного Кирилло-Мефодиевского братства, что тот может ехать в Саратов. И по своей привычке, не в силах не уязвить на прощанье:

— Знаете, мой добрый друг, люди обыкновенные, дюжинные стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест, богатств, хорошего положения и комфорта.

Он со вкусом произносит каждое из этих слов, словно показывая голодному лакомые кусочки.

— А те, которые преданы высоким идеям и думают двигать человечество, те, вы сами знаете, как сказано в священном писании: ходят в шкурах козьих и живут в вертепах и пропастях земных.

Вятские чиновники с любопытством посматривали на молодого, темноволосого, довольно высокого, но неуклюжего новичка, который на первых порах был определен заниматься простой перепиской бумаг.

Появление нового лица в губернском городе, где все всех знают, где любое семейное происшествие назавтра же становится предметом суждений всего общества, внесло в жизнь приятное разнообразие — нечто вроде острой приправы к ежедневным пресным кушаньям.

Старожилы вспоминали, что несколько лет назад на такой же должности, как Салтыков, очутился сначала и другой политический преступник — Александр Иванович Герцен.

Какое настроение испытал он, легко понять из его тогдашних писем:

«С одной стороны река, горы, даль; с другой — маленькие лачуги, где царит бедность, и большой каменный острог, который печально смотрится в реку и звенит цепями и дышит вздохами».

И сам канцелярский стол, где сидел Герцен вместе с другими, казался ему галерой, которую, как известно, влачили вперед прикованные к скамьям гребцы-рабы.

С горечью вспомнит автор «Былого и дум» о десятках наполнявших канцелярию писцов:

«Большею частию люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкшие считать службу средством приобретения, а крестьян — почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости».

Неудивительно, что и Салтыков, оказавшись на самой низшей

ступени чиновничьей лестницы, мрачно засел в своей еще плохо обставленной квартире вместе со своим «Савельичем» — крепостным дядькой Платоном.

Салтыков испытывал ощущение, которое прежде представлял себе чисто умозрительно.

Как и его герой Иван Самойлыч Мичулин, он воспринимал всю окружающую жизнь в виде чудовищной пирамиды:

«Кровь несчастного застыла в жилах, дыхание занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу... такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера...»

То, что прежде было для Салтыкова метким образом, стало вдруг олицетворением его собственного существования. По сравнению с этими монотонными буднями даже атмосфера родительского дома, где детей отнюдь не баловали лаской, показалась ему притягательной, и тон его писем к матери сделался живее и сердечнее.

«Бывало, Михайла редко писал, а как укусил сырой земли, так милее не стало родителей, — победоносно оповещала Ольга Михайловна старшего сына, Дмитрия, — неделю не пропустит и пишет, неделю не получит от нас и скучает, видимо, горе умягчает жестокое сердце».

После чужих бумаг надобность написать собственное письмо казалась роскошью, отдыхом, и перо то и дело грозило выболтать даже такие мысли, которые уж никак не стоило выдавать ни родичам, ни посторонним читателям, через чьи руки письмо неминуемо проходило.

Первое время он просто бесился от перлов канцелярского стиля и с сердцем повторял слова Фауста:

Я, кажется, с ума сойду
От этих диких оборотов,
Как будто сотня идиотов
Городит хором ерунду.

Потом они стали напоминать ему трескучий бой барабанов, стремящихся заглушить вопли истязуемого.

Если смешно было читать в рапортах про то, как при встрече с взбунтовавшимися крестьянами окружной начальник «не смутясь (!) повернул и поскакал назад», то рядом это выражение фигурировало уже в самом зловещем смысле:

«Для приведения толпы в некоторое смущение, — читал Салтыков о походах прежнего вятского губернатора Мордвинова против не желавших сеять картофель, — губернатор велел дать залп из 46 ружей. 30 человек были повержены на землю».

Тогда-то, «убедившись в пользе мер правительства к разведению сего овоща», крестьяне пали на колени и просили прощения, и милосердное начальство отпустило их, «употребивши над некоторыми исправительные меры».

Слова падали равнодушно, как розги, трещали, как барабаны, лишь иногда из-за ровного строя щегольски выведенных буковок прорывался вопль, в котором отчаянье смешивалось с угрозой:

— Что нам солдаты — нас тысячи соберутся!

Но на этот яростный выкрик, словно веревки на живое, сопротивляющееся тело, ложились казенные фразы о том, что «строгий пример, оказанный над тамошними крестьянами, имел самое благодетельное действие на остальных» и что «не верующие в экзекуцию» были посрамлены.

От барщины переписки бумаг удалось избавиться.

Вице-губернатор Костливцев оказался питомцем того же лицея, что и Салтыков. Расспросив однокашника о столичных новостях, он осведомился, не сможет ли его новый подчиненный испросить себе из Петербурга какие-либо внушительные рекомендации.

— Тогда и определим, что с вами делать. А пока можете в присутствие не ходить, — милостиво заключил он аудиенцию.

И вот как-то, просматривая очередную корреспонденцию, губернатор Середа обнаружил любезное письмо начальника отделения департамента полиции исполнительной — Н. А. Милютина. И хотя еще бесконечно далеки были времена, когда это имя стало вызывать у одних преувеличенный восторг, а у других разлитие желчи, но Середа внимательно отнесся к просьбе племянника графа Киселева, тогдашнего министра государственных имуществ. К тому же Милютин не был одинок в своих просьбах позаботиться о молодом человеке, ставшем жертвой злосчастных обстоятельств.

Суровый взгляд голубых губернаторских глаз, обращенный на Салтыкова этими письмами, стал все чаще возвращаться к новому чиновнику.

Во-первых, то был человек, учившийся там же, где теперь учится старший сын самого Акима Ивановича.

Во-вторых же, сам труженик, Середа вскоре оценил по достоинству не только быстрый ум, но и удивительную работоспособность ссыльного литератора.

«Приказная строка», как сердито охарактеризовал пунктуального и дотошного Середу один имевший с ним дело мемуарист, был среди собратьев белой вороной.

Когда при вступлении его в должность вятский винный откупщик Гусев «по обычаю» попытался поднести губернатору на вызолоченном блюде двадцать пять тысяч рублей, Аким Иванович так разбушевался, что гостю надолго пришлось забыть дорогу в губернаторский дом.

Середа был стоек и храбр не только на поле боя. Но даже кавказские горцы, с которыми ему доводилось сражаться, были менее коварны и увертливы, чем многие его новые подчиненные.

Распутывая хитрое плетение канцелярских словес, губернатор нередко засиживался до утра, и богомольные вятичи, идя к заутрене, все еще видели огонь в его кабинете.

Он сменял чиновников, назначал следствия по делам о злоупотреблениях городничих, но ни унять крючкотворов, ни искоренить взятки не мог и готов был, кажется, подвести невеселые итоги своей деятельности неуклюжими словами побывавшего в этом краю военного топографа:

«Территория, окруженная реками Вяткой и Камой, — это пространство сурового климата, наполненная болотами, лесами, песками и недоступная ни для каких, можно сказать, военных предположений, не только действий...»

Приезжий петербуржец, поначалу обращавший на себя внимание скорее щеголеватой одеждой, походил на внезапно подоспевшее подкрепление, сразу же бросающееся в бой.

Новичок в губернских делах, он тем не менее нисколько не хвастал, когда вскоре писал брату: «Весьма замечательно, что я менее всех нахожусь на службе и более всех понимаю дело, несмотря на то, что у меня есть подчиненные, которые по пятнадцати лет обращаются с делами».

Стоит взглянуть на некоторые резолюции Середы, адресованные Салтыкову: «Чрезвычайно благодарен Михаилу Евграфовичу за этот труд... Просить Михаила Евграфовича, не может ли он сделать мне одолжение принять на себя обязанность... распорядителя этих комитетов».

Салтыков делается старшим чиновником особых поручений. Ему предписывается составить отчет по губернии за 1848 год.

Ознакомившись с трудами своих предшественников на этом поприще, Салтыков усмехнулся. Они напомнили ему те торжественные встречи августейших особ императорской фамилии, о которых благоговейно рассказывали ему новые знакомые за картами и вином.

Встречи членов царствующей фамилии были своего рода театральными представлениями с простонародными статистами, которые боязливо косились за кулисы, откуда им подавали красноречивые знаки тяжелые на руку антрепренеры. Трудолюбиво репетировали ночью, при свете факелов, будущее путешествие по губернии Александра I. Обсуждали, следует ли народу в порыве «внезапного» энтузиазма выпрягать лошадей из царской кареты и везти ее на себе.

«То-то была бы символическая картина!» — пронеслось в голове Салтыкова, когда он с непроницаемым видом слушал этот рассказ.

Отчеты тоже сверкали и сияли, как принаряженные для встреч губернские города. Сияли до того уж неправдоподобно, что даже Фаддей Булгарин позволил себе почтительнейше обратить на это внимание шефа жандармов, особое доверие которого снискал своими доносами на литературу:

«На бумаге блаженство, в существе горе! Сами чиновники,

составляющие отчеты, смеются над этой *поэзией,* как они называют *отчеты!»*

Того же мнения придерживался чиновник особых поручений при рижском генерал-губернаторе, в будущем сам губернатор и даже министр, П. А. Валуев, хотя вслух рискнул высказать его только много позже:

«Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и — редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху — блеск, а внизу — гниль».

Самолюбивый Салтыков закусил удила. Ну, уж его-то отчет не должен походить на предыдущие!.. Горы материалов, справок, выписок загромождали его стол. Крестьяне, купцы, раскольники, учителя, арестанты, их занятия, быт, нужды — все это должно было улечься в пункты и параграфы отчета.

Все это были не просто люди и сословия, а красноречивые ходатаи. Они втиснутся в конверт, затаятся в сумке курьера, а очутившись в кабинете какого-то высокопоставленного лица, валом повалят со страниц и заставят всех поразиться трудолюбию и усердию чиновника Салтыкова.

Но вся проделанная им работа вызвала одобрение только у Середы. То же случилось и со следующим отчетом.

Через полтора года после «водворения» в Вятку Салтыков снова увидел протянувшуюся к нему волчью лапу.

Сентябрьским вечером 1849 года чиновник губернского правления Кабалеров и местный жандармский штаб-офицер полковник Андреев внезапно прибыли на его квартиру и учинили ему допрос согласно предписанию Дубельта:

«Знает ли он титулярного советника Буташевича-Петрашевского, вольнослушателя С.-Петербургского университета Александра Тимофеевича Мадерского и секретаря Вольного экономического общества Романа Романовича Штрандмана; каким образом с ними познакомился; посещал ли их или бывшие у них собрания; в каких сношениях состоял он и помянутые лица к Петрашевскому; не имел ли с ними суждений о предметах политических и в чем оные заключались; не предлагал ли ему Петрашевский участвовать в выписывании книг, касающихся социальных систем...» — читал несколько сконфуженный неприятным поручением к сослуживцу Кабалеров.

Тщательно подбирая слова, отвечает Салтыков на «вопросные пункты» и даже уточняет свои показания на следующий день.

Да, он знал Петрашевского, который тоже учился в Царскосельском лицее, только на старшем курсе; бывал по выходе из лицея на заведенных у Петрашевского «пятницах», но библиотекой, составлявшейся по предложению Петрашевского, почти не пользовался и сами сборища в конце 1845 или в начале следующего года посещать перестал. Если же Петрашевский и выска-

зывал какие-либо ложные идеи, то скорее по удали и молодечеству.

Ах, Михаил Васильевич, Михаил Васильевич! Таких ли ты слов заслуживал, друг ты мой, хоть и верно, давно разошлись мы!

Будь дубельтовские подручные повнимательней, полистай они преступное сочинение «Запутанное дело», могли бы они, как с ножом к горлу, пристать с новыми вопросами:

— А чем вдохновлялся автор, рисуя кандидата философии Вольфганга Беобахтера, предлагающего снести «прочь все, прррочь»? Разумеется, мы принимаем во внимание, что сочинитель относится иронически и к Беобахтеру и к его постоянному оппоненту, «недорослю из дворян», поэту Алексису Звонскому, который, размышляя о любви к человечеству, «облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда». Но не навеяны ли эти места повести какими-то несогласиями с участниками «пятниц» Петрашевского по вопросам, о которых вы почему-то не захотели нам откровенно сообщить?

Хорошо, что жандармы не начитаны. Совсем нет никакой охоты вдаваться в объяснения, почему не поладили подружившиеся еще «в садах лицея» два мрачноватых юноши.

Тут бы руку протянуть бывшему приятелю — на долгую, может быть вечную, разлуку! Спасибо, друг. Твой кружок походил на легкие, которыми только и дышала сдавленная со всех сторон русская мысль. И все прежние разногласия кажутся сейчас так ничтожны перед лицом торжествующего, победоносного зла.

Не закрадывается ли в душу Салтыкова горькое предчувствие, что еще не раз в будущем столкнется он с этой трагедией разъединенности сил, встающих против общего врага? Сначала — разногласия, яростная полемика или холодная отчужденность, а потом — грохот комьев земли по крышке гроба или скрип дверей тюремного каземата и горечь запоздалого сознания: ушел соратник, не ставший другом или даже унесший рубцы от твоих жестоких ударов...

Участь Салтыкова была намного легче, чем судьба петрашевцев. Виднейшие из них пережили «десять ужасных, безмерно страшных минут» в ожидании расстрела, пока им не объявили помилованье. Петрашевский был отправлен на вечную каторгу, Достоевский после четырех лет каторги отдан в солдаты...

И все же нестерпимое чувство тоски часто овладевало вятским чиновником; приближенный к губернатору, сделанный в 1850 году советником губернского правления, он оставался ссыльным.

Пробыв здесь два года, Герцен восклицал: *«Еще год* — в этом слове 365 ударов ножом, в этом слове 365 угроз. Страшно, ужасно, но надо быть готовым и на это».

Герцен прожил в Вятке три года. Салтыкову предстояло провести здесь куда больше.

В ответ на все его ходатайства об освобождении из вятского

плена равнодушный голос с самой высокой вершины начальственной пирамиды ронял:

«Рано» — в 1849-м.

«Рано» — в 1850-м.

«Рано» — в 1853-м.

Лица вятских знакомых повторялись с тем же постоянством, как короли, дамы и валеты из одной и той же карточной колоды.

Те же самые леса и поля тянулись мимо Салтыкова во время долгих разъездов по губернии. Порой он уже не обращал на природу внимания, она тянулась рядом, как каторжник, скованный той же цепью, что и ты сам.

Иногда Салтыков со страстью окунался в разбор какого-нибудь дела. Так было со следствием о раскольниках, ради которого он исколесил семь тысяч верст и исписал восемь томов служебных бумаг.

В его усердии было что-то неестественно-лихорадочное. Это был многомесячный служебный «запой». Отдавал ли ретивый чиновник себе отчет в том, что эта служебная оргия была довольно неприглядного свойства, ибо, по меткому замечанию современника, раскол служил для правительства наковальней, на которой испытывались меры преследования?

Бывали в чиновничьей деятельности Салтыкова страшные отрезвления: каково стоять перед «бунтующими» крестьянами, которые кругом правы в своих претензиях к прижимистому арендатору, и по долгу службы уговаривать их угомониться и разойтись, обещая посодействовать разрешению дела в их интересах?! Ни выразить свое сочувствие «бунтовщикам», ни уверить их в искренности своих намерений помочь им Салтыков не мог. И обе стороны отнеслись к нему с подозрением. «Салтыков ничего не сделал для усмирения крестьян», — недовольно начертал на рапорте о событиях новый вятский губернатор Семенов.

«Когда я ехал в Крутые Горы, — говорится в салтыковском наброске, сделанном, по-видимому, в Вятке, — мне казалось, что и мне суждено принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин должен положить на алтарь отечества. Мне мечталось, что в самой случайности, которая бросила меня в этот край, скрывается особое предопределение. Конечно, все это высокоумие детски-незрело и отчасти даже претенциозно, но много в нем свежести и чистоты, много жажды добра и истины — а потому я с какою-то сладкою грустью вспоминаю о том, с каким рвением, с какою горячностью принялся я за святое дело службы! И между тем что я сделал, какие подвиги совершил?»

Крутые Горы... Впервые салтыковское перо нащупывает, опробует это название, которое впоследствии, лишь слегка изменившись, сделается знаменитым.

На первый взгляд это всего лишь географический «псевдоним» губернской столицы, стоящей на высоком, крутом берегу реки Вятки.

Но читаешь весь этот, несомненно автобиографический моно-

лог о «положении молодого человека, заброшенного в провинцию», который «незаметно, мало-помалу погружается в тину мелочей», и думаешь: а не отозвалась ли в вятском «псевдониме» и невеселая поговорка — «укатали сивку крутые горки»?

Эти-то горки совсем не столь живописны, как реальные, вятские. Они оборачиваются бесконечной унылой равниной дней, недель, лет, скукой однообразных провинциальных будней, зеленым сукном карточных столов, где проводишь долгие вечера за «подлейшим бостоном», как в сердцах окрестил это свое развлечение (и, что греха таить, увлечение!) Михаил Евграфович в письме к брату.

Трясина, все та же трясина, которую с ужасом ощущал и Герцен, писавший из Вятки: «Сначала я здесь развратничал, потом сделался светским человеком, потом сделался ничем, т. е. несколько месяцев спал и ел, потом стал заниматься — все надоело, все опротивело... и я, как пловец, который для облегчения ищет новой манеры толкать волны, — теперь принялся за службу, сделался ein Dienstmann[1], и это мне наскучит...»

У Салтыкова не тот характер, чтобы так изливаться в письмах. (Да и кому? «...Вообще все петербургские знакомцы меня забыли, — жалуется он, — и я ни от кого никаких известий не получаю, да и сам никому не пишу».)

Но «горькая чаша сия», о которой поведал Герцен близкому другу, не миновала и «новобранца» вятской ссылки.

«А там подкрадется матушка-лень, — выводит его перо в том же наброске, о котором уже упоминалось, — которая так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же люди, и живут весело, и станешь сам жить весело. Там еще заведется какая-нибудь интрижка, а за нею — неизбежные сцены ревности, сцены примирения, а иногда и озлобления... право, втянешься так, что любо-дорого смотреть...»

Герой отрывка и предмет его привязанности, может быть, и выдуманы, но сама-то горечь, здесь звучащая, — подлинная, «настоянная», похоже, на собственном опыте.

Впоследствии Салтыков будет всячески честить свое собственное поведение в Вятке: «вел самую пустую жизнь, даже сильно пьянствовал».

О прочем же не обмолвится. Да и в саму-то вятскую пору, когда узн*а*ет, что Дмитрий Евграфович в одном разговоре позволил себе какой-то прозрачный «намек на м-м (мадам. — *А. Т.*) Середу», поспешит написать брату:

«Уверяю тебя, что и ты и многие в этом отношении совершенно ошибаются. Я любил м-м Середу, как сын любит мать не совсем еще устаревшую и отцветшую».

Вряд ли это убедило Дмитрия Евграфовича, который аккурат-

---

[1] Службистом (*нем.*).

нейшим образом хранил братнины письма и всегда мог при случае ехидно и вкрадчиво сослаться на «лист номер такой-то»!

Вот-с, извольте, 21 марта 1850 года писано: «Лето я еще не знаю как проведу, но, по всем вероятиям, скучно, потому что из Вятки все те, с которыми я больше близок, разъезжаются и, между прочим, губернаторша едет в Петербург».

А на следующий год — 6 января: «Письмо это, любезный друг и брат, доставит тебе Наталия Николаевна, которая вызвалась также доставить к тебе и две вещи... Я обязан ей собственно тем, что не удавился и не застрелился до сих пор в Вятке, ибо нашел в ней истинно материнское к себе участие».

И так почти из письма в письмо — «во всех отношениях отличная женщина», которая «мне много сделала добра», «мой добрый друг»...

«Прошу тебя передать ей прилагаемое письмо, потому что я обещал ей писать каждую неделю... С отъездом Натальи Николаевны я потерял последнее, что было...».

Дмитрий Евграфович навел справки среди знакомых чиновников: «мать» — прехорошенькая, старше «сына» лет на шесть-восемь, и даже Пушкин (известный ловелас!), зачем-то ездивший года за три до смерти в Оренбург, познакомился там с нею и разразился стихами о том, что «эта Середа прелестней ангела иного».

Вот и братец, видать, без ума. Пишет невестке, жене Дмитрия Евграфовича: «Неправда ли, что это лучшее существо на свете?»

Не слишком ли, позвольте спросить, пылко для «сыновних» чувств? Недаром тут же — как бы в торопливое оправдание — прибавлено:

«Я, конечно, плохой судья в данном случае, потому что никто на свете не сделал мне столько добра, сколько она».

Не забыть бы, кстати, показать это место маменьке: то-то ей лестно будет узнать, что она вроде уже на втором месте! (Испытанный прием Дмитрия Евграфовича! — «Маменька, кажется, очень рассердилась на меня за письмо, которое ей неожиданно попалось в руки...» — огорчался Салтыков год спустя.)

Когда Середу перевели из Вятки в Петербург, Салтыков стал проситься туда же — «на первый раз хотя бы без жалованья».

Не вышло, а вскоре Аким Иванович умер.

Наконец, последняя улика: уже несколько месяцев спустя после этого, в письме от 19 января 1852 года говорится (в деловом, правда, контексте): «... я имею с Натальей Николаевной постоянную корреспонденцию».

И вот досада: сам, сам спугнул Дмитрий Евграфович братца своим разговором с новой губернаторшей! Будь ссыльный-то благоразумен, так еще спасибо должен бы сказать за то, что его приверженность прежнему начальнику губернии, способная только насторожить нового и настроить его против Салтыкова, была так ловко оправдана: шерше, мол, ля фам, как французы говорят, — ищите женщину, причина — в ней!

Так нет, — оскорбился, прислал целый панегирик покойному, будто не брату пишет, а для губернских ведомостей некролог сочиняет, а заключил так:

«Все это я счел нужным высказать тебе для того, чтобы объяснить причины привязанности моей к Середе, которые ты, кажется, смешиваешь с совсем иными побуждениями. Так, по крайней мере, я понял из слов губернаторши...»

Прямо выговор!... Недостает еще, чтобы снова, как в детстве, Иудушкой, предателем обозвал!

И с этой поры — о Наталье Николаевне ни словечка!

Зато постоянно пишет и (или это уже Дмитрию Евграфовичу мнится?) не без тайного укора:

«Здесь беспрерывно возникают такие сплетни, такое устроено шпионство и гадости, что подлинно рта нельзя раскрыть, чтобы не рассказали о тебе самые нелепые небылицы... надо тебе сказать, что, благодаря городским сплетням, нисколько не относящимся ни до службы моей, ни до положения моего, как находящегося под надзором полиции, я нахожусь под опалою у губернатора».

...Пройдут года, не будет уже в Вятке Салтыкова, но чиновная Вятка останется той же и вновь, пусть уже на иной лад, станет перемывать ему косточки за то, что, по ее неколебимому убеждению, в его произведениях «описаны люди, у которых он часто бывал в гостях, обедал, играл в карты».

«...Они, — напишут местные мемуаристы, — никак не ожидали, что будут увековечены им в литературе, и притом показаны в таком непривлекательном виде, находили, что это со стороны его чрезвычайная коварность, хором поносили его и возмущались его „черной неблагодарностью"».

В том числе «узнавали» и самого Середу, и жену его: «Генеральша очень видная и красивая женщина; в ее поступи и движениях замечается та неробкость, которая дается всякой умной женщине, поставленной обстоятельствами выше общего уровня толпы; она очень хорошо одета, что также придает не мало блеску ее прекрасной внешности... Генеральша окружена целою толпою придворных льстецов...».

Ну, как же не она! И если автор далее не уподобляется этой толпе, то это лишний раз свидетельствует о его черной неблагодарности.

— Ведь вы помните, ma chère [1]...

— Mais oui, mais certainement... Ce pauvre [2] Аким Иванович! О, провинция! — как восклицал Салтыков.

Однако не самая ли что ни на есть черная неблагодарность была бы с его стороны видеть в провинции только что-то вроде легендарной головы Медузы Горгоны, один взгляд которой леденил человека, превращая его в бесчувственного истукана?!

---

[1] Моя, дорогая (*фр.*).

[2] Ну, да, ну, конечно... Этот бедный (*фр.*).

Гневные филиппики Салтыкова легко понять, но, право, не всем этим аттестациям надо безоговорочно верить. Михаил Евграфович сам о себе отзывался, что «иной раз прихотлив, как беременная женщина».

Конечно, сравнение это вырвалось случайно, и ни сам пишущий, ни адресат послания всерьез его, разумеется, не приняли.

А между тем...

Салтыков не знает, что его «предтеча» Герцен в это самое время вновь озирает из своего «прекрасного далека» проведенные в Вятке годы и подводит им итог в одной из первых частей «Былого и дум».

Еще из самой Вятки он писал московскому приятелю о той жизни, которая на первый взгляд выглядела столь тягостной:

«...все это вместе оставляет на душе разные слои, и хотя они перемешаны с грязью, но душа выплавляет из них сумму опытов, итог практических заметок и мечтаний, деловых бумаг и фантастических образов, и от этого делаешься многостороннее, *прилагавшее* — и польза очевидная. Вы, messieurs[1], не знаете России, живши в ее центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке. Большая часть ваших синтетических мыслей основана на книгах; у меня их мало, но я их утвердил на самом совершающемся деле, на фактах юридических».

Во второй же части «Былого и дум», изданной под названием «Тюрьма и ссылка» в Лондоне в 1854 году, Герцен сжато и яростно охарактеризовал увиденное — и то, с чем все еще ежедневно сталкивался Салтыков:

«Чиновничество царит в северо-восточных губерниях России и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится res publica[2]. Самая власть царская, которая бьет как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства — ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм».

И у Салтыкова в душе не меньше накипело! Он живо ощущал свою переполненность впечатлениями, рядом с которыми письма даже умнейших из петербургских друзей казались ему «такой великолепной чепухой, что... совестно читать».

«Вообще Вятка во многом меня убедила и убедила к лучшему...» — заметил он в письме к брату уже на исходе второго года ссылки.

А десятилетия спустя скажет: «Вятка имела на меня и благодетельное влияние: она меня сблизила с действительной жизнью... а ранее я писал вздор».

---

[1] Господа (*фр.*).

[2] Общим делом (*лат.*).

Вздор — сказано, конечно, слишком сильно, по-салтыковски раздраженно и столь же несправедливо, как ранее — о Вятке же, которая «сделала на него самое печальное влияние», если верить одному из тогдашних писем.

Резкие перепады оценок и настроений легко понятны у человека, который подумывал, как бы не пришлось коротать в ссылке весь свой век. «Без ужаса я не могу представить себя в Вятке стариком, и едва ли мое воображение обманывает меня», — писал он уже в 1854 году.

И в самом деле, что могло его обнадеживать? Уже почти три десятилетия находились «во глубине сибирских руд» декабристы, старились, умирали...

Той же участи опасались и петрашевцы.

Рядовой седьмого Сибирского линейного батальона Федор Достоевский умолял: «Нельзя ли мне через год, через 2 на Кавказ — все-таки Россия!», и, прося брата о помощи, пояснял: «Без денег меня задавит солдатство». О четырех же годах, проведенных перед этим на каторге, писал: «... время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу».

Иных уж нет, а те далече...

Вскоре по приезде в Вятку Салтыков узнал о смерти Белинского.

Четыре года спустя не стало Гоголя. «Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников...» — писал в некрологе Тургенев, намекая на Пушкина с Лермонтовым, и, называя Гоголя «великим» человеком, «одной из слав наших», замечал: «Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными...»

«Немногие» разгневались: автор некролога был выслан на родину, слава богу, не слишком отдаленную, в село Спасское под надзор полиции.

Поговаривали, что это было наказанием не только и, может быть, даже не столько за саму статейку, сколько за появившиеся одновременно с ней «Записки охотника», книгу, которая, по мнению одного из цензоров, распекавшего коллег за допущенный промах, «сделает более зла, чем добра», ибо докажет грамотному народу, что «исправники и другие власти берут взятки или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше».

Все это побуждало опять и опять невесело задумываться о судьбе русского литератора.

«Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, чтобы избавить человечество от оков и пленения?» — вопрошал Александр Радищев на последних страницах своего «Путешествия из Петербурга в Москву».

Ответом ему была ссылка, на пути в которую он сложил горестно-пророческие строки:

Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.

Его современник Новиков, которого грядущие историки восславят за то, что в его лице «неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом», насчет ближайших последствий своей деятельности не обольщался.

В сочиненных им отзывах «адресатов», «мишеней» своих сатир, публиковавшихся в новиковских журналах «Трутень», «Живописец» и «Кошелек», воспроизведен вполне реальный, отовсюду доходивший до него зубовный скрежет:

«Нет, дружок, даром тебе это не пройдет. — Где это слыхано, чтоб живописец написал женское лицо темными красками? — негодует светская пустельга. — И бабушка твоя Всякая всячина... того не запомнит».

Зловещий смысл последнего замечания — в том, что журнал «Всякая всячина» издавался самой императрицей, Екатериной второй, и как бы очерчивал границы, до которых дозволялось доходить в критике существующих порядков и нравов.

«Чего они смотрят, — ярится другой персонаж. — Да я бы ему проклятому и ребра живого не оставил. Что за живописец такой у вас проявился?»

Напрасно огорчался! «Они» смотрели в оба, и в разгар своей деятельности Новиков был по приказу императрицы тайно отправлен в Шлиссельбург, где допросы ему учинял сам печально знаменитый Шешковский, у которого тоже, вероятно, был «зуб» на писавшего: «Худой тот судья, который чрез побои правду изыскивает...»

Так начиналось то, что Герцен назвал зловещим мартирологом русской литературы. Недаром Некрасов отозвался на смерть Гоголя горькими стихами, где о судьбе подобных литераторов говорилось:

...нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

. . . .

Со всех сторон его клянут,
И только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

Не напророчена ли тут и судьба Салтыкова?!

Со времени европейских революций 1848 года русские газеты набили руку на противопоставлении западной смуты незыблемой тишине, коей пользуется Российская империя.

Булгаринская «Северная пчела» уподобляла николаевское государство ковчегу средь революционных волн. Перепуганный владелец «Отечественных записок», где печаталось «Запутанное дело», Краевский писал об «умилительном зрелище незыблемой законности, которая только заимствует новый блеск и силу от противоположного явления» (то есть европейских неустройств).

Скала! Утес! Гранитная стена, преграждающая доступ превратным толкованиям! — всякий благонамеренный литератор и журналист торопился внести свою лепточку в хор славословий.

«Шапками закидаем!» — взревела русская пресса при начале войны с Турцией в 1853 году, в которую на стороне последней затем вступили Англия и Франция. С восторгом вспоминали ура-патриотические журналисты о «победоносной» кампании против венгерской революции, умалчивая, что и тогда в первые же недели войско оставило за собой целые полки отсталых, больных и обессиленных изнурительными переходами и скудным питанием. То было зловещее видение будущих бедствий...

Высокомерные и вызывающие заявления русской прессы не могли ввести в заблуждение трезвых наблюдателей. «Все прекрасно для парадов и никуда не годно для войны», — сказал своим друзьям полковник Д. А. Милютин, в будущем военный министр. А в американской газете «Нью-Йорк дейли трибюн» Фридрих Энгельс напомнил, «насколько ложными и раздутыми бывают цифровые данные, исходящие из русских отчетов»[1].

Во время войны официальное лицемерие превзошло само себя. Не в диковинку было читать такие победные реляции: «Неприятель понес значительную потерю убитыми и ранеными, у нас убит один казак». У самого доверчивого читателя такое соотношение не могло в конце концов не возбудить подозрений, тем более что рекрутские наборы следовали один за другим.

Армия, столь грозная на царских смотрах, обученная всевозможным хитроумным ружейным приемам и вымуштрованная до такой степени, что уже напоминала строй оловянных солдатиков, оказалась не в силах устоять против «гнилого Запада». И добро бы она подвергалась натиску энергичных полководцев! Нет, военa-

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 478.

чальники обеих сторон действовали вяло. Однако даже эта война оказалась не по силам николаевской империи.

Как гнилое сукно, поставленное продувным купцом и принятое за крупную взятку снисходительным интендантом, расползлось мнимое российское благополучие.

Призванная на «Севастопольский страшный суд», как окрестили это событие современники, крепостническая система принуждена была расписываться в собственной несостоятельности.

Рассказывая об одном приказе по русской армии, изданном в 1855 году, в котором требовалось не вызывать «отвращения» у новобранцев бесполезной парадной муштрой, военный обозреватель «Нью-Йорк дейли трибюн» Фридрих Энгельс писал:

«Таким образом, русский генерал, при прямом одобрении императора (Александра II. — *А. Т.*), осуждает две трети всего русского строевого устава как бесполезную глупость, способную внушить солдату лишь отвращение к его обязанностям; а этот устав был как раз тем достижением, которым покойный император Николай особенно гордился!»[1]

Даже флигель-адъютант Николая I Ден был поражен царившим в среде командиров воровством и казнокрадством и признавал, что «в нравственном отношении солдат наш стоял в то время несравненно выше наших офицеров».

Стойкость русских солдат, матросов и почти безоружных ополченцев, которые с топорами бросались на батареи противника, выдавалась официальными кругами за силу самого режима.

Люди, наживавшие баснословные деньги на поставках и подрядах, со слезами умиления восторгались героями Севастополя:

— Держится голубчик-то наш! Не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои! Урррa!

Так радуются курице, несущей золотые яйца.

Вятский чиновник Салтыков мрачно глядел на патриотические рыла непойманных воров, с горечью вспоминая поразивший его в свое время рапорт об устройстве в Вятке эшафота: там говорилось, между прочим, что знак клейма всегда явственнее выступает у худощавых, нежели у толстых.

Как хотелось ему положить на эти полные притворной скорби о «солдатиках» и внутреннего ликования сытые лица такое позорное клеймо, чтобы век не смывалось и не тускнело!

А за окнами с напускной лихостью распевали забранные в армию мужики, причитали бабы, вспыхивали пьяные драки. Уже тридцать тысяч человек высосала война из Вятской губернии. Одни из них дрались, других давно засыпали землей, а третьи еще только подходили к Симферополю. Еле выдирая ноги из грязи, они с состраданием глядели на трупы изможденных лошадей и коров, так и не дошедших до Севастополя, расступались перед тряскими телегами, откуда неслись жалостные стоны.

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 11. С. 604.

О чем думал Салтыков, опасаясь доверить свои мысли и случайным друзьям, и родным, и даже простой бумаге?

Наверное, о том же, о чем втайне мечтали все сколько-нибудь разбиравшиеся в этой трагедии люди.

«В Западной Европе, — писал несколько лет спустя Чернышевский, — покажется ненатуральным и невероятным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастием для государства тот случай, когда их правительство одержало бы победу, и надеялись добра только от поражений своей армии. Но мы совершенно понимаем это чувство».

«Совершенно понимаем» — потому что сами пережили это в Крымскую войну, когда в среде петербургской интеллигенции, к которой принадлежал Чернышевский, сообщение о падении Севастополя передавалось с естественной горечью за понесенные жертвы и вместе — с радостью, что исчезает последняя опора, которой пользовались защитники старых порядков.

«...Приходится даже бояться успехов русского оружия из опасения, чтобы это не придало правительству еще более силы и самоуверенности», — записывал Грановский в январе 1855 года.

«...Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет», — вторил молодой историк Сергей Соловьев.

Банкротство николаевской системы было полным.

Царственный банкрот не вынес удара. Посетовав в предсмертном разговоре с сыном, что он «сдает ему команду не в лучшем виде», Николай сжал руку в кулак, видимо, как завещание: держи крепче, как можно крепче!

Александр Николаевич почтительно кивал.

Вскоре Александр II от имени покойного благодарил министров за усердную службу.

Некоторые переглядывались. Положение дел было таково, что благодарность звучала весьма саркастически.

Спасибо, дескать: поставили Россию против всей Европы, потопили Черноморский флот, вот-вот сдадим Севастополь...

Все начинало выглядеть как-то подозрительно двусмысленно — даже скорбное упоминание в манифесте о «сложении (здоровье. — *А. Т.*), лишь, по-видимому, крепком» ныне покойного императора.

В тот же день флигель-адъютант обеспокоенно сказал другому по-французски:

— Ты слыхал? Большие перемены! Ботфорты отменили.

Занималась заря нового царствования.

Казалось, вздох облегчения вылетел из груди лучших людей русского общества при вести о смерти Николая.

Вздох облегчения, горечи и... стыда.

Оглядываясь на прошлое, даже довольно миролюбивый профессор Кавелин дал усопшему самую уничтожающую характеристику:

«Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лицо у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истра-

тивший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I... Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного!.. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности? Какому Ваалу нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное».

Письмо это к Грановскому переходило из рук в руки, вызывая общее сочувствие.

Кавелин не преувеличивал страшных потерь, которые принесло передовым силам России минувшее царствование.

Встретясь с Грановским, один из его учеников взволнованно спросил, знает ли тот о смерти Николая.

— Удивительно не то, что он умер, — задумчиво отвечал историк. — Удивительно, что мы живы.

Он ошибался насчет себя: через полгода его не стало, его душевные раны были неизлечимы.

С чужбины доносились голоса Герцена и Огарева. Они основали в Лондоне сначала издание, окрещенное ими «Полярной звездой» — в память декабристского альманаха, а затем и газету «Колокол».

«Бедную свечку затеплили мы для нынешнего дня, на чужбине, с чужими, от вас зависит поддержать и раздуть ее пламя», — обращался Искандер (Герцен) к своим соотечественникам в первом номере «Полярной звезды».

И обеспокоенным крепостникам некстати приходила на память поговорка, что «от копеечной свечки Москва сгорела».

Как будто это не их стараньями, не их паразитическим хозяйничаньем, не их наглыми поборами и насильями было собрано в одну груду величайшее количество «горючего материала»!

Как будто пламя уже не занималось то тут, то там в его глубине, вспыхивая разрозненными языками отчаянных бунтов и унимаясь только под тяжелыми солдатскими сапогами!

Еще мальчиком Салтыков с обостренной чуткостью ребенка как раз к тому, что от него пытаются скрыть, прислушивался к шепотам и недомолвкам. Дети подметили, что родители не то что опечалены, а как-то встревожены внезапной смертью дальней родственницы. Потом откуда-то из девичьей дополз слух: ночью... сенные девушки... подушками...

Когда же дети выросли, Ольга Михайловна и Евграф Васильевич уже не таили от них подобных новостей. «У нас в соседстве совершилась неприятность, — писал отец в 1846 году, — Баранова Меньшова брата убили свои люди и еще Ламакину невестку хотели отравить ядом, в пирог положенным, о чем теперь и следствие продолжается».

В «Запутанном деле» Салтыкова слышались отголоски этих внезапных вспышек народного гнева.

«Я вам говорю, господа, — рассказывал один из героев, — что бывали даже примеры, что и в землю зарывали живых... У меня в деревне этого не случалось, потому что у меня был во всем надзор и порядок — упаси боже! А вот в Голландии еще недавно крестьяне одной казенной деревни сыграли такую штуку с одним исправником... честью вас уверяю!»

«На это, — прибавлял автор, — Иван Макарычу никто не отвечал, хотя и знал ученый Алексис, что в Голландии исправников не водится».

Еще делались попытки уверить, что, несмотря на поражение в войне, ничего не изменилось.

Журналисты умильно расписывали картину коронации Александра II (стоившей России 6 миллионов рублей серебром!), фоном которой, дескать, был «океан народа, воздымающий вдали свои живые волны».

В действительности за этим «ликующим» людом, дерущимся из-за калачей и жареного и возвращающимся домой со своей жалкой добычей под проливным дождем, уже вздымались гребни настоящих бушующих волн.

Робкие попытки некоторых крестьянских реформ при Николае I быстро прекратились и под влиянием революции 1848 года и по другим соображениям.

«Крепостная Россия, — вспоминал современник, — представлялась сверху таким прочным и цельным исторически-бытовым сооружением, что из него, казалось, нельзя было вынуть ни одного камня без того, чтобы не заколыхалось все здание... В каждой ячейке этого всероссийского сота сидел помещик-самодержец, и вся Россия состояла из более чем ста тысяч маленьких помещичьих самодержавий».

Понятно, что на коронации Александр II обратился к предводителям дворянства со словами:

— Передайте через вас всему дворянству, что я вам верю, верю, верю!

Эти слова, казалось, клали конец всем паническим слухам об изменении отношений помещиков к крестьянству, слухам, из-за которых многие в испуге покинули свои усадьбы и бежали в города. Но вскоре царь опять вернулся к тревожившему всех вопросу.

Поначалу «благородному» сословию вроде бы и желать больше нечего.

«Слухи носятся, — говорил Александр II, — что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, — и вы можете сказать это всем направо и налево...»

Прекрасно!

«...но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько (!!!) случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или позд-

но мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мной...»

«Как бы не так!» — шевельнулось в головах у многих из слушавших, но тут их настиг угрожающий аргумент:

«...следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».

И верно: «монолитное» здание грозило просто-напросто обрушиться и погрести под развалинами тех, кто не пожелал бы заняться хоть какой-то его перестройкой. Положение складывалось настолько угрожающее, что самые умеренные люди заговорили резким языком о необходимости «дружно воспользоваться спасительными опытами войны» и даже «вступать в бой с отживающими уже формами народного хозяйства», о том, что «варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем», о том, что необходима гласность для обсуждения важнейших вопросов такого общества.

Неудивительно, что в это время Тургенев, читая статью критика Дружинина, где заметно недооценивалось творчество Гоголя, воспринимает эту несправедливость особенно остро и в письме к другу, Василию Боткину, отстаивает общественное значение литературы.

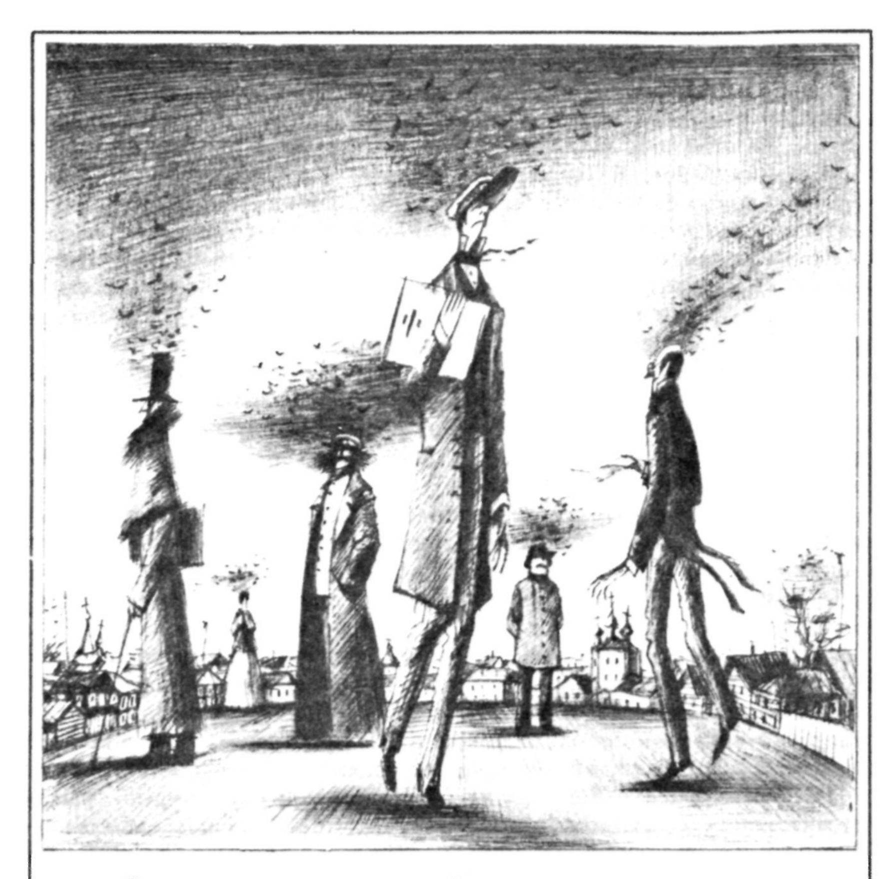
«Бывают эпохи, — пишет он, как будто предвидя надвигающуюся историческую полосу, — где литература не может быть только художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица...»

И вот, как будто бомба, долетевшая с залитых кровью крымских бастионов, звучат со страниц «Современника» рассказы Льва Толстого, пусть изуродованные цензурой, обвинявшей автора в «насмешках над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя», но все же доносящие до читателя писательский «символ веры», заметно напоминающий страстный тон лирических отступлений в «Мертвых душах»:

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Можно себе представить, как рвался Салтыков из Вятки!

Но покинуть ее удалось лишь в конце 1855 года, да и то благодаря ходатайству посетившего Вятку генерал-адъютанта Ланского, двоюродного брата нового министра внутренних дел. С ним приехала жена Наталья Николаевна. Это была вдова Пушкина. Она познакомилась с Салтыковым в доме своей знакомой, жены одного из крупных вятских чиновников, Пащенко. Добрейшая Пащенко сумела возбудить в Ланских сочувствие к ссыльному литератору. Письмо генерал-адъютанта брату ускорило дело: вскоре царь разрешил Салтыкову проживать где ему будет угодно.



«...Действительность представляет такое разно-
образное сплетение гнусности и безобразия, что
чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце...
Кто ж виноват в этом? Где причина этому явле-
нию? - В воздухе...» М.Е. Салтыков-Щедрин «Скука»

II

В Волковских номерах на Большой Конюшенной с давних пор останавливаются сибиряки да приезжие из северо-восточных губерний, примыкающих к Петербургу.

Каждое утро отсюда отправляются обивать пороги казенных присутствий. Кто добрался до столицы со слезной жалобой в последней надежде хоть здесь отыскать справедливость. Кто, наоборот, прослышал, что слухи о его бесконтрольном самоуправстве в каком-нибудь медвежьем углу дошли до Петербурга, и прискакал доказывать, что «унтер-офицерская вдова сама себя

высекла». Кто улещает столичное начальство ради выгодного подряда.

Словом, днем номера почти пусты, и только к вечеру, как прилив, возвращаются постояльцы. Мечутся половые, в комнатах говор: оттуда слышится похвальба удачно обделанным дельцем, отсюда — горький вздох, что и сегодня ничего не выходил.

Живет тут и бывший советник вятского губернского управления, ныне причисленный к министерству внутренних дел. Салтыков торопится выговориться за восемь лет молчания. Выговориться не с бокалом в руке за обедом по случаю какого-нибудь либерального начинания или даже в честь его собственного возвращения с бывшими сослуживцами по военной канцелярии или с лицейскими товарищами.

Исписанные листы множатся, они усеяли стол и подоконник. В голове у Салтыкова — тоже своего рода Волковы номера, где проживают городничие и исправники, ревизоры и губернские дамы, подьячие и местные помещики, арестанты и раскольники. Эта шумная компания рвется на волю, и Салтыков чувствует себя не то художником, у которого в мастерской ждут своей очереди сразу десятки натурщиков, не то генералом, которому надо выстроить свои войска в лучший боевой порядок.

Попробуйте-ка справиться с этакой оравой, да еще когда столичные впечатления неминуемо отвлекают, вызывают на какое-то вмешательство, томят неопределенностью: куда повернут события? даст ли правительство ход крестьянскому вопросу? пойдет ли на другие реформы или удовлетворится всякими полумерами вроде устранения от дел наиболее скомпрометированных николаевских подручных — казнокрада Клейнмихеля и Бибикова?

Непонятная стоит на дворе погода!

— Оттепель! — слетело с язвительных уст поэта Федора Ивановича Тютчева. И все с улыбкой передают друг другу новую выходку знаменитого острослова.

«Вот теперь у нас конец февраля и начинается оттепель, — бежит по бумаге перо Салтыкова. Разумеется, произносящий эту фразу герой совсем-совсем не имеет в виду, что именно 18 февраля умер Николай I, а просто знай себе философствует: — Я хожу по комнате, посматриваю в окошко, и вдруг мысль озаряет мою голову. Что такое оттепель? — спрашиваю я себя...

Оттепель — говорю я себе — возрождение природы; оттепель же — обнажение всех навозных куч.

Оттепель — с гор ручьи бегут; бегут, по выражению народному, чисто, непорочно; оттепель же — стекаются с задних дворов все нечистоты, все гнусности, которые скрывала зима.

Оттепель — воздух наполнен благоуханьем весны, ароматами всех злаков земных, весело восстающих к жизни от полугодового оцепенения; оттепель же — все миазмы, все гнилые испаренья, поднимающиеся от помойных ям...»

Фиглярничает, гаерствует помещик Буеракин, но нет-нет да и проскользнет в его речах нечто в высшей степени серьезное и к

существеннейшей злобе дня относящееся. Будто сам живет вместе с автором в столице первых месяцев нового царствования и гадает вместе с петербуржцами и москвичами: что-то будет вслед за оттепелью?

«Хорошо, если весна и благодатное лето, но если эта оттепель временная, и потом опять все закует мороз, то еще тяжелее покажется», — записывает в свой дневник Вера Сергеевна Аксакова, а историку Соловьеву приходят на ум еще более мрачные ассоциации: вывели человека из тюрьмы, стало ему дышать легче, но вот куда его ведут? Не приведи бог — в новую тюрьму.

Если так, надо торопиться; может быть, через полгода эти очерки уже придется похоронить в письменном столе.

Но зато пока держись, милая Вятка... то бишь Крутогорск! Не ищите этого города на картах, это я, Михаил Салтыков, его открыл.

«Для того, чтобы описывать путешествия, — писал Герцен в 1847 году, — надобно по крайней мере съездить в пампы Южной Америки, как Гумбольдт, или в Вологодскую губернию... спуститься осенью по Ниагарскому водопаду или весною проехать по костромской дороге».

Вы думаете, это просто добрая шутка насчет состояния русских дорог? Оно конечно, дороги хоть куда! Колесолом — окрестил их Иван Аксаков. Много раз ломался в дороге и экипаж маркиза де Кюстина, но все-таки не одной ненависти к русским дорогам надо приписать то, что этот роялист вернулся во Францию чуть ли не радикалом. «Сколь ни необъятна эта империя, — говорится в его книге, — она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора».

Книга Кюстина запрещена, продажные правительственные писаки Греч и Яков Толстой обвинили автора в клевете. Что-то вы теперь скажете, милейшие, когда вместо иностранца, который кое-что действительно перепутал и не понял, перед вами предстанет некто Николай Иванович Щедрин со своими рассказами о крутогорском житье-бытье?

Впрочем, ничего нового вы не придумаете. Уж если вы самого Гоголя окрестили лакейским писателем, то чего же ждать скромному литератору, который пустился по той же дороге!

Все ваши аргументы заранее известны, и я не премину в самих же своих очерках предупредить удары ваших затупленных критических мечей, намекнув, что любой замшелый провинциал до краев наполнен той же мудростью, коей вы похваляетесь.

Вот не угодно ли?

Князь Лев Михайлович Чебылкин как бы заранее отчитывает Николая Ивановича Щедрина на губернском балу.

«Мы здесь рассуждаем о том, — говорит он мне, — какое нынче направление странное принимает литература — все какие-то нарывы описывают! и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дама — vous concevez,

mon cher![1] — это такой цветок, который ничего, кроме тонких запахов, испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу...

Знакомят с какими-то лакеями, мужиками, солдатами... Слова нет, что они есть в природе, эти мужики, да от них ведь пахнет, — ну, и опрыскай его автор чем-нибудь, чтобы, знаете, в гостиную его ввести можно. А то так со всем, и с запахом, и ломят... это не только неприлично, но даже безнравственно...

Вот пошла, например, нынче мода на взяточничество нападать, — продолжает он. — Ну, конечно, это нехорошо — взятки брать — кто же их защищает? mais vous concevez, mon cher, делайте же это так, чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это нехорошо быть взяточником... а то так на распутии и бросит — ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть и факта самого нет, и все это одна клевета...»

Князь Лев Михайлович говорит точь-в-точь то же, что покойный министр народного просвещения (или «народного помрачения», как переиначили мрачные остряки) князь Ширинский-Шихматов, видевший задачу искусства «в утверждении того столь важного для жизни общественной и частной верования, что злодеяние находит достойную кару еще на земле».

И точно так же, как изреченная князем Львом Михайловичем аксиома, что «безнаказанность есть синоним невинности», пришлась по сердцу другому салтыковскому герою — матерому взяточнику Порфирию Петровичу, все разноименные и разночинные казнокрады и воры могли бы горячо поддержать Ширинского-Шихматова.

Эта логика их очень устраивала.

Все в Российской империи, слава богу, обстоит благополучно.

Отдельные случаи неблагополучия тут же усматриваются и пресекаются неусыпно бодрствующими властями.

Прочитав в одной представленной ему записке о предосудительном поведении помещиков, Николай начертал на полях: «Бывают такие, но они неминуемо должны подвергнуться презрению и осуждению своих благомыслящих людей, которых еще довольно и которых, слава богу, с каждым днем больше».

Следовательно, вывести на сцене или в книге преступника, который остался неизобличенным, — значит совершенно исказить картину российского процветания и бросить незаслуженный укор властям предержащим.

Желая покрасоваться перед заезжим иностранцем, Николай объяснял ему:

— К счастью, административная машина в моей стране крайне проста, иначе при огромных расстояниях, являющихся серьезным

---

[1] Вы понимаете, мой дорогой! (*фр.*).

для всего препятствием, и при более сложной форме управления головы одного человека оказалось бы недостаточно.

Собеседник вежливо слушал.

А в почтительном отдалении с выражением преданности стояли сиятельные воры — министр Клейнмихель, который положил к себе в карман изрядную долю суммы, назначенной на меблировку Зимнего дворца, камергер Политковский, после смерти которого обнаружилось, что он украл в возглавляемом им учреждении больше миллиона...

И все они были горой за «крайне простую» машину управления и за благонамеренную литературу, за утешительные картины быстрого и скорого изобличения мелких жуликов.

— В то самое время, — увлеченно рассказывает князь Лев Михайлович составленный им проект «настоящей» комедии, — как взяточник снимает с бедняка последний кафтан, из задней декорации вдруг является рука, которая берет взяточника за волосы и поднимает наверх... В этом месте занавес опускается, и зритель выходит из театра успокоенный и не застегивает даже своего пальто...

С ненавистью и омерзением сводил Салтыков счеты с этим царством благонамеренности и грабежа. И его картины провинциальных нравов, подчеркнуто скромно озаглавленные «Губернские очерки», метили куда выше, затрагивая всю систему показного благополучия и официального лицемерия, установленную отнюдь не обитателями Крутогорска.

Так, городничий Фейер, вымогатель и взяточник, «насчет чего другого, а насчет нравственности лев был!», по уверению рассказывающего о нем подьячего.

Ну еще бы! Ведь и его августейший образец приходил в страшнейший гнев, усмотрев нарушение «добрых нравов» в своей семье, и изволил неблагосклонно относиться к любвеобильной бабке своей Екатерине II, ибо для него, по трогательному выражению его биографа барона Корфа, «душевная чистота была высшим из всех качеств».

Правда, эти благородные свойства души не мешали ни Фейеру жить с «девицей не девицей, а просто мадам» Каролиной, ни его кумиру обращать свой благосклонный взор на любую из великосветских дам, не рискуя встретить отказ или сопротивление верноподданных мужей.

«Нравственность» для изображаемого чиновничьего круга — это такое же условное словцо, как и «совесть», которое разобидевшийся полицейский исправник Маслобойников с педантической точностью переводит на общепонятный язык:

«— Намеднись его высокородие говорит: «Ты, — говорит, — хапанцы свои наблюдай, да помни тоже, какова совесть есть!» Будто мы уж и «совести» не знаем-с! Сами, чай, изволите знать, про какую их высокородие «совесть» поминают-с! так мы завсегда по мере силы-возможности и себя наблюдали, да и начальников без призрения не оставляли...»

Вероятно, его высокородие брезгует Маслобойниковым, едва ли даже удостаивает подать ему два пальца. Но какое взаимопонимание существует между ними, разделенными всего лишь ступенями служебной лестницы и ничем иным! Высокие слова составляют для этого круга лишь более или менее утонченный воровской жаргон:

«— Губерния эта самая отличная, — говорит Порфирий Петрович: — это, можно сказать, непочатый еще край...

— В одних недрах земли сколько богатств скрывается! — перебивает директор (народного училища. — *А. Т.*).

— Постараемся развить! — отвечает генерал».

И все смотрят на губернию как на накрытый для их собственного насыщения стол. Порфирий Петрович видит на нем жирные «доброхотные» даяния, генерал — новые чины...

По-разному ведут себя за накрытым столом: кто ест неопрятно, громко чавкая и беззастенчиво зарясь на соседские тарелки, кто — деликатным манером, кто — словно даже брезгуя пищей...

«Я просто призываю писаря или там другого, et je lui dis: «mon cher, tu me dois tant et tant» [1] — ну и дело с концом. Как уж он там делает — это до меня не относится, — ораторствует некий сановный «муж добродетельный, владеющий словом» в очерке «Озорники». — Я сам терпеть не могу взяточничества — фуй, мерзость!»

Этот образованный господин едва ли не хуже откровенного взяточника, ибо тот хоть «отрабатывает» получаемую с клиента мзду. А красноречивый муж, получая свое, почти гневается, когда его беспокоят просители.

«...Он даже не понимает, — возмущается он, — что я не для того тут сижу, чтоб ихние эти мелкие дрязги разбирать; мое дело управлять ими, проекты сочинять, pour leur bien [2]...»

Даже тот, кто, как Владимир Константинович Буеракин, с нескрываемой иронией относится к своим соседям, все-таки не выходит «из-за стола» и тяготеет не к «меньшим братьям», а к таким же, хотя бы и носящим иные фамилии, «господам Буеракиным»: они «близки были его сердцу и по воспитанию, и по тем стремлениям к общебуеракинскому обновлению, которое они считали необходимым для поправления буеракинских обстоятельств».

К этой компании, пока еще довольно робко, пристраиваются и новые лица с пробуждающимся аппетитом — купцы и фабриканты.

В будущем они начнут все больше теснить остальных и дерзко выхватывать у них кусок за куском. Но уже сейчас «новички» превосходно договариваются со своими «благородными» сотрапезниками.

В сценке «Что такое коммерция?» купец Ижбурдин так объясняет, почему выгодно иметь дело с казначейством:

---

[1] И я ему говорю: «мой дорогой, ты мне должен столько и столько» (*фр.*).
[2] Для их блага (*фр.*).

«— Оттого для нас это дело сподручно, что принимают там все, можно сказать, по-божески. Намеднись вон я полушубки в казну ставил; только разве что кислятиной от них пахнет, а по прочему и звания-то полушубка нет — тесто тестом; поди-ка я с этакими полушубками не токмо что к торговцу хорошему, а на рынок — на смех бы подняли! Ну, а в казне все изойдет...»

И чтобы у собеседников не оставалось никаких неясностей, прибавляет немного спустя:

«— С начальством-то, знаете, для нас выгодней, почему, что хоть и есть там расход, да зато они народ уж больно дешево продают».

Вся эта честная компания лакома до плодов народного труда, а сам народ они аттестуют то презрительно, то снисходительно, то даже оскорбительно-восторженно, как терпеливую скотину.

«— Русский народ благочестив — это хорошо!» — отмечает губернатор, генерал Голубовицкий. «...я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго», — подает свой голос и мошенник Горехвастов.

Вид народных несчастий оскорбляет их чувствительность, и они спешат отвернуться от этого зрелища... чтобы не портить себе аппетита.

Княжна Анна Львовна, «хотя... и стремилась душой к гонимым и непризнанным, но ей было желательно, чтобы они были одеты прилично, имели белые перчатки и носили лакированные сапоги».

«...Я не люблю живого материала, не люблю этих вздохов, этих стонов: они стесняют у меня свободу мысли», — жалуется озлобленно-ретивый чиновник Филоверитов.

Когда они намереваются благодетельствовать народу, то из этого выходит если не новая для него повинность в их же собственную пользу, то какая-нибудь никчемная, стеснительная для «простолюдинов» затея.

Убеждение, что народ — не больше, чем глина, которую можно как угодно мять, обладает ядовитой способностью овладевать даже умами тех, кто испытывает его последствия на собственной спине.

В очерке «Дорога (Вместо эпилога)» рассказчик стал свидетелем грубой выходки своего ямщика против крестьян, едущих с обозом.

«— Почему же он обругал их? — спрашиваю я себя: — может быть, думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить рукою все, что ему попадается на дороге: «ступай, дескать, mon cher, ты в канаву; ты разве не видишь, mon cher, что тут в некотором смысле элефант[1] едет...» Но скажите, однако ж на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника?»

---

[1] Слон (*фр.*).

На последних страницах «Дороги» перед рассказчиком во сне проходит вереница героев книги, которые озабочены и встревожены тем, что «прошлые времена» хоронят.

Но, пожалуй, еще более точно определил сущность переживаемого времени купец Ижбурдин:

«Старые порядки к концу доходят, а новых еще мы не доспелись».

«Болезненная, праздная ирония», которая по-прежнему звучит в голосе Буеракина, когда он объявляет о похоронах «прошлых времен», может быть истолкована по-разному: может быть, от привычки иронизировать над своими неприглядными знакомыми трудно отстать, даже когда нависшая над ними угроза живо касается и самого Буеракина; а может быть, не очень верит он в действительность этих похорон, предпринятых лишь для вида, с целью поправить буеракинские обстоятельства. Ведь сами герои хоть и постарели, но живехоньки. И по-прежнему в отдалении «позади всех бредет в одиночестве бедная Аринушка, безустанно помахивая клюкою...»

Аринушке посвящен целый очерк; певучий стилизованный сказ, в котором звучит великая мечта ее дойти до Иерусалима, потом сменяется бесхитростным мужицким повествованием о мытарствах и побоях, выпавших ей на долю.

«Бедная Аринушка! Отдохнули ли твои ноженьки? Дошла ли ты до Иерусалима горнего...» — мысленно обращается автор к страннице, которая словно воплощает в себе народную надежду, поиски справедливости. И встающее перед читателем воспоминание о том, что наяву Аринушка так и умерла, не дойдя до цели, вносит в финал книги скорбную ноту.

Первые из «Губернских очерков» Салтыков принес своему бывшему товарищу по канцелярии военного министерства Дружинину.

В середине сороковых годов Александр Васильевич был не только его сослуживцем по военному министерству, но и таким же дебютантом в литературе, одушевляемым поначалу теми же идеями.

«Исследовать попытки социальных реформ последнего времени — вот моя цель», — заносил он в дневник, где была и такая запись, которая прямо перекликалась с будущим салтыковским «Запутанным делом», с горестной участью Ивана Самойлыча Мичулина:

«Смерть одного труженика, не видевшего в жизни ни наслаждений, ни борьбы, ни любви, ни даже чувственных удовольствий, возбуждает страшный вопрос: где справедливость?..»

Первая дружининская повесть была напечатана в том же 1847 году, что и салтыковские «Противоречия». Но если те прошли совершенно незамеченными (если не считать крайне резкого отзыва Белинского в частном письме), то «Полинька Сакс» нашумела как одна из первых попыток поставить в русской литературе «женский вопрос», пусть и явно подражавшая общему кумиру тех

лет — Жорж Санд. А следующую повесть новичка — «Рассказ Алексея Дмитриевича» — тот же Белинский ставил еще выше: «Чудо! 30 лет разницы от „Полиньки Сакс"!»

И хотя первые произведения Дружинина, по свидетельству одного мемуариста, заливали лужи красных (цензорских) чернил, более серьезные преследования и кары, обрушившиеся на его сослуживца, его счастливо миновали.

Приглашенный в «Современник», он после смерти Белинского неустанно заполнял журнальные страницы своими фельетонными очерками, которые, как утверждал позже Некрасов, одни «носили на себе печать жизни» в журналистике того тяжелейшего семилетия (1848—1855).

Дружинин писал их виртуозно, ловко избегая цензурных рифов и... постепенно свыкаясь с ними, с необходимостью поступиться то тем, то этим убеждением, избегать «крайностей» и т. д.

Он стал одним из тех, которые вскоре вдохновили Некрасова на горестные строки:

Не предали они — они устали
Свой крест нести.
Покинул их дух гнева и печали
На полпути.

Именно подобные примеры заставляли поэта взволнованно писать Льву Толстому (2 сентября 1855 года): «...боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того, что с большею частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России».

Некрасов постарался деликатно расстаться с Дружининым. Однако инерция известности и авторитет критика были еще столь велики, что к нему потянулся не только его старый знакомый Салтыков, но и недавний севастопольский офицер, новичок в литературных кругах.

«Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием, — писал Льву Толстому Тургенев. — Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его».

Сам же он, еще недавно причислявший Дружинина к людям, «к которым, чем больше их узнаешь, тем больше привязываешься», заметно остывал к этому «отличному человеку», именуя его теперь «милейшим из консерваторов» и защищая от его нападок и «развенчиваемую» критиком Жорж Санд, и даже Чернышевского, которого сам Иван Сергеевич тоже недолюбливал: «... он, — говорилось в тургеневском письме, — понимает, — как бы это выразить? — потребности действительной, современной жизни — и в нем это... самый корень всего его существования».

Именно это драгоценное качество как раз все более и более утрачивал Дружинин.

Похвалы его заметно смутили Салтыкова. Слишком жарко

одобрял его милейший Александр Васильевич за славное намерение передать «поэзию и правду» чиновничьей жизни и невпопад перемежал похвалы предупреждением не поддаваться «тенденциям, которыми литература заразилась от Белинского».

Зато Тургенев не оставил от очерков камня на камне.

— Это совсем не литература, а черт знает что такое! — отмахнулся он от восторгавшегося ими Дружинина.

Упустил возможность опубликовать очерки Щедрина в своем журнале «Современник» Некрасов. Его прославленное редакторское чутье на этот раз ему изменило, повлиял на него и высокомерный отзыв старого друга, Тургенева.

Обиженный Салтыков по совету своего давнего, еще лицейского, знакомого, экономиста В. П. Безобразова, отдал очерки издателю нового журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову.

6 июня 1856 года в Крестовоздвиженской церкви у Арбатских ворот Салтыков стоял под венцом с Елизаветой Аполлоновной Болтиной.

Любопытные старушки дивились красоте и изяществу семнадцатилетней невесты, пристально разглядывали ее моложавого, с крашеными волосами отца и со вздохом перешептывались, что жених, должно быть, сирота: «никогошеньки с ним в церковь не пришло».

Еще больше разахались бы сердобольные кумушки, если бы узнали, что Ольга Михайловна Салтыкова просто не пожелала прибыть на свадьбу да еще, поскольку сын против ее желания женится на бесприданнице, уменьшила субсидию, прежде ему высылавшуюся. Тверская помещица не любила ослушников.

Но Салтыков счастлив. Он давно и страстно влюблен в невесту и первый раз просил ее руки еще почти три года назад в Вятке, когда Аполлон Петрович Болтин был там вице-губернатором. Ни переезд Болтина во Владимир, ни упорные старания матери всячески расстроить предполагающийся брак не охладили его пыла.

Михаил Евграфович мечтал о жене-друге, способной делить с ним все радости и горести. Сетуя на обычные для тогдашнего женского воспитания пробелы в знаниях, он не посчитал за труд написать для Лизы и ее сестры Анны «Краткую историю России», приносил, читал и растолковывал книги русских писателей.

И вот теперь Вятка была позади; «девочка, о которой мечтал три года», как сознавался Салтыков в письмах, стояла с ним рядом, и самые лучшие свадебные подарки меркли по сравнению с лестным отзывом редактора «Русского вестника». Катков не только принял уже написанные очерки, но жаждал продолжать их печатание. О счастливый июнь 1856 года!

(И никто не предчувствует, что необыкновенно красивая сероглазая женщина, мягким голосом отвечающая на вопросы священника, принесет Салтыкову неисчислимые терзания своей пустотой и суетностью и что обхаживающий автора «Губернских очерков»

длиннолицый издатель с чутким носом вскоре сделается лютым его врагом.)

Теперь первого и пятнадцатого числа каждого месяца, получая книжки «Русского вестника», читатели прежде всего искали имя «надворного советника Щедрина».

Герцен спрашивал приятелей, кто это — Щедрин.

«Как хороши Губернские очерки, — записывал в дневник растроганный Шевченко. — Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! какой радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих».

«Его «Очерки» известны по всей Вятской губернии, даже станционным смотрителям и ямщикам почтовым», — писал через несколько лет Добролюбову один из его друзей.

Уже 23 сентября 1856 года Иван Аксаков пенял издателю славянофильской «Русской беседы» Кошелеву:

«Пример «Русского вестника», в котором напечатаны статьи «О русском крепостном человеке» и «Губернские очерки», должен побудить вас к помещению статей не менее откровенных».

Любопытно, что те же «статьи» Щедрина и В. Безобразова («Заметки по поводу статьи Г. Бланка «Русский помещичий крестьянин») во второй августовской книжке «Русского вестника» отметил и Н. Чернышевский в своем обзоре журналов на страницах «Современника».

Правда, он счел «Губернские очерки» всего лишь мемуарами. «...Написаны плохо, но замечательны содержанием», — писал он Некрасову 24 сентября 1856 года.

Вообще, явно досадуя на то, что в свое время упустили вещь, от которой, по мнению Чернышевского, успех катковского журнала зависел более чем наполовину («500 подписчиков — это мало, — быть может, 1000 приобретена... этими «Очерками»), деятели «Современника» продолжали некоторое время довольно скептически оценивать сам талант Салтыкова.

Казалось бы, больше радости должна была доставить автору «Губернских очерков» статья А. В. Дружинина, в которой он объединял книгу Салтыкова с только что появившимися тогда военными рассказами Льва Толстого.

Однако некоторые рассуждения критика живо напоминали взгляды... князя Чебылкина:

«Проныра Порфирий Петрович, мрачный грабитель Фейер и другие лица в таком роде не ужасают читателя бесплодным ужасом... Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и передать в руки правосудия...»

Автор статьи рисовал Салтыкова человеком, «глядящим на служебные интересы глазом полезного и практического чиновника», и только!

Между тем в книге содержались мысли совершенно противоположного свойства:

«...Действительность представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?

— В воздухе, — отвечает мне искреннейший мой друг, Яков Петрович...»

Это из «Скуки», а вот из рассказа «Владимир Константиныч Буеракин»:

«— И каким образом, спрашиваю я вас, прекратите вы этот танец, — высмеивает Буеракин попытки рассказчика преследовать какие-либо отдельные злоупотребления, — если он в нравах, если в воздухе есть что-то располагающее к нему!»

Салтыков был обижен на «Современник», но все же после первоначальной холодности именно этот журнал откликнулся на отдельное издание «Губернских очерков» наиболее вдумчивыми статьями. «Давно уже не являлось в русской литературе рассказов, которые возбуждали бы такой общий интерес...» — начинал свою статью Чернышевский. Он ставил автора «Губернских очерков» в ряд с писателями, которые говорят читателю правду, пусть даже горькую, но необходимую, — с Гоголем, Тургеневым, Григоровичем.

Чернышевский брал под защиту мелких чиновников, ставших после «Губернских очерков» легкой мишенью для литературной стрельбы по взяточничеству и всяческим злоупотреблениям. В полном согласии с мыслью Щедрина о «воздухе» критик «Современника» доказывал, что герои книги вовсе не исчадие ада, а люди, которые поступают именно так, как диктуют им сложившиеся в обществе отношения, нравы и обычаи. Упования на то, что найдутся «честные чиновники», преобразят государственные учреждения и увлекут своим примером пристыженных собратьев, Чернышевский высмеивал как совершенно несерьезные:

«...Никогда в истории не может иметь пример такой силы, — писал он, — чтобы им устранялось действие закона причинности, по которому нравы народа сообразуются с обстановкой народной жизни».

По мнению Чернышевского, понявший роль «воздуха» самой эпохи Щедрин в силу этого стоит выше всех предшествующих сатириков, даже Гоголя. Это достижение Щедрина представлялось критику столь важным, что он относил его книгу к «числу исторических фактов русской жизни».

Через полгода появилась статья Н. А. Добролюбова. С поразительной прозорливостью он уподоблял либеральничающее дворянство «талантливым натурам», описанным в «Губернских очерках»: людям, которые органически не способны на какое-либо активное выступление во имя провозглашаемых ими самими истин и втихомолку блюдут свои собственные интересы:

«Оказывается, что увлечения и надежды были преждевременны

и что многие из людей, горячо приветствовавших зарю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать до тех пор, — что еще большая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования».

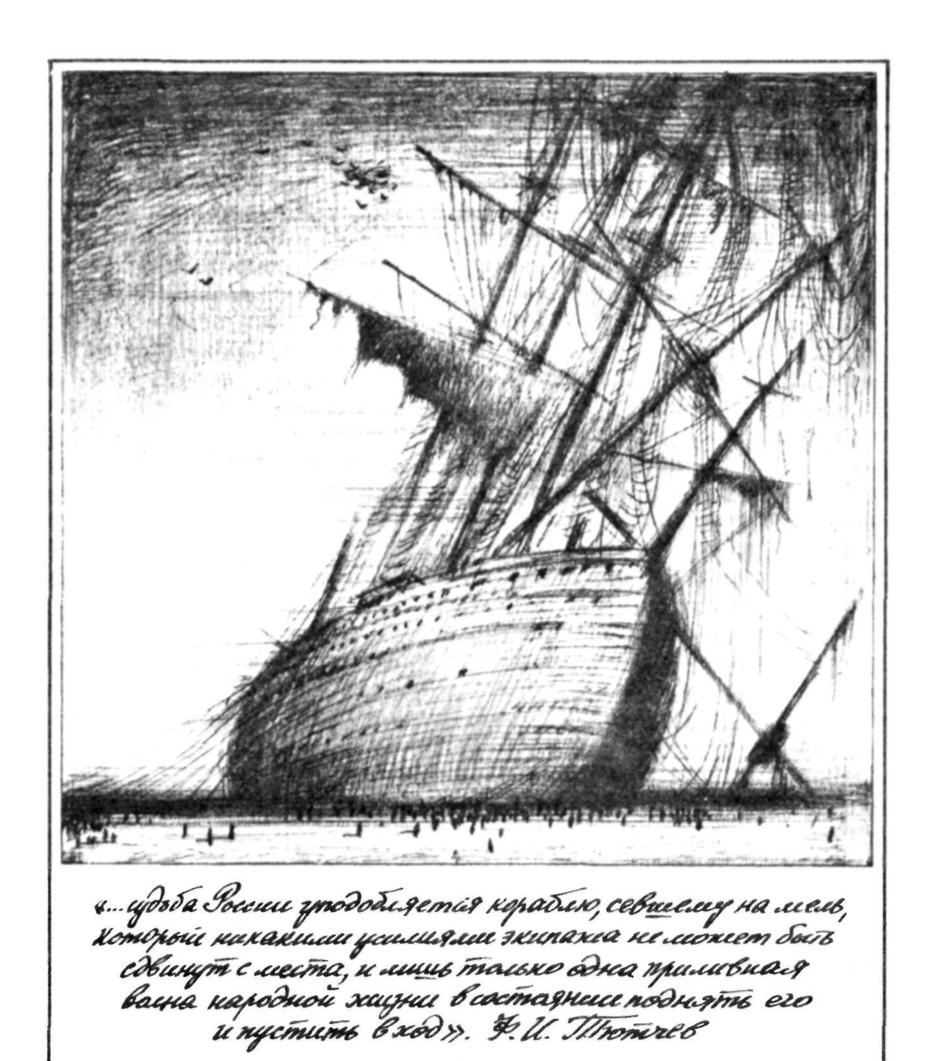
Только от «живой, свежей массы» народа, изображением которой любовался Добролюбов в таких очерках Щедрина, как «Богомольцы», он и ожидал реального дела, хотя она покамест и сама еще часто хорошенько не понимает своих страданий и печалей.

Оборонявшиеся консерваторы роптали на «отрицательное направление» творчества Щедрина, делая вид, что его сатира метит не в поддерживаемый ими порядок вещей, а в народ вообще.

Добролюбов, как впоследствии часто делал и сам Щедрин, обратил это обвинение против самих обвинителей. Так один из севастопольских героев успел подхватить упавшую в окоп гранату и бросить ее туда, откуда она прилетела.

«Нет, отрицательное направление принадлежит именно тем людям, которые обижаются подобными рассказами и безумно отрекаются от своей родины, ставя себя на место народа. Они — гнилые части, сухие ветви дерева, которые отмечаются знатоком для того, чтобы садовник обрезал их, и они-то подымают вопль о том, что режут дерево, что гибнет дерево», — писал критик.

Вряд ли он предчувствовал, что эти сухие сучья до конца дней Щедрина будут угрожающе скрипеть все ту же старую песню, жалуясь, будто сатирик подрубает совсем не их, а полное жизни дерево.



III

В ноябре 1857 года Ф. И. Тютчев с тревогой писал: «Следовало бы всем, как обществу, так и правительству, постоянно говорить и повторять себе, что судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливная волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход».

Но «благородное дворянство» в массе своей оказалось не в состоянии понять опасность, грозившую ему как классу, преодолеть боязнь лишиться «исконных» своих прав И преимуществ,

смирить возмущение, что крестьян — хотя бы юридически! — поравняют с господами. «...Почва здешнего края сделалась вулканическою в отношении к крепостному состоянию... Но удивительный народ здешние помещики... они не хотят ничего ни видеть, ни слышать, ни понимать», — эти слова И. С. Аксакова (в 1856 году) могли быть отнесены не только к Украине, о которой писались, но и ко всей России.

«Рвения к освобождению крестьян не заметно никакого, а напротив, слышен повсюду плач и скрежет зубовный», — сообщал два года спустя из Рязани Салтыков.

Правительству Александра II пришлось буквально силой спасать неразумных помещиков от гибели в огне новой пугачевщины. А спасаемые еще упирались и честили своих доброхотов «красными» и «революционерами». «Красным» считался всякий, кто в душе не был холопом», — писал Б. Чичерин. Быстро уловивший комизм происходящего в «высших сферах» Герцен саркастически отзывался в «Колоколе» о «людях баррикад», каковыми казались даже некоторым членам царствующего дома умереннейший министр внутренних дел Ланской и в особенности более молодой и энергичный Н. Милютин.

Убедившись в намерении правительства отменить крепостное право, многие разобиженные дворяне внезапно обратились в ярых сторонников конституции, свободы слова и собраний. Зазвучали надрывные речи о «бюрократии», отгородившей царя от народа и не дающей услышать голос последнего.

Дымовая завеса этих слов заволакивала действительное содержание происходившей борьбы, и Чернышевский в статье «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» предельно ясно расшифровал, что конституция в условиях России, не сопровождаемая никакими другими коренными социально-экономическими преобразованиями, ничего не дала бы народу:

«...все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода».

Нельзя было не отдать должного изяществу, с каким была высказана эта мысль: даже слово «десерт» намекало на необходимость предварительного «обеда»!

В той же статье Чернышевский напомнил, что доведшие монархию Людовика XVIII до краха роялисты в случае своего несогласия с королем запросто обвиняли его в... якобинизме. Рисуя картину этого последнего крушения Бурбонов, автор «Современника» замечал, что им всего выгоднее было бы по обстоятельствам вступить в союз с народом, но что по природе своей они никогда бы не смогли этого сделать.

Действительно, «приливной волны народной жизни» сиятельные пассажиры сидевшего на мели корабля больше всего и боялись. Они были совсем не уверены, что она подойдет, благополучно сдвинет судно с мели и тут же почтительно отступит: а вдруг вздумается ей разнести корабль в щепки?!

Прочитав записку Константина Аксакова «О внутреннем состоянии России», в которой утверждалось, что русский народ не проявляет никакого интереса ни к политическим правам, ни к участию в управлении государством, Александр II не удержался от восклицания: «Дай бог!»

Правительство мечтало обойтись своими бюрократическими силенками. И поскольку целый ряд сановников отстранялся от участия в «крамольной» царской затее, на этот раз пришлось призвать на помощь даже таких людей, которые в прежние времена не могли найти применения своим способностям.

Оказавшись в самом центре «правительственного либерализма» — в министерстве внутренних дел, Салтыков поначалу принялся за работу с большим рвением. Тем более что его связывали с Милютиным воспоминания о юности, о покойном брате Николая Александровича — Владимире, который был участником Петрашевских «пятниц» и большим приятелем Салтыкова (Михаил Евграфович посвятил ему свою первую повесть «Противоречия»). Не забыл Салтыков, что именно Милютину был обязан он смягчением своей участи в 1848 году и некоторыми поблажками, которые получил в Вятке.

Сам на редкость работящий человек, Милютин много спрашивал и со своего нового подчиненного. И сослуживцы Салтыкова, заметив, что тот вскоре стал выходить из директорского кабинета не в духе, решили, что он просто недоволен излишней придирчивостью начальника.

— И что он от меня хочет! Брошу все... к черту! — ворчал Михаил Евграфович, швыряя на стол испещренные милютинскими помарками бумаги.

Но не милютинская педантичность раздражала Салтыкова.

По временам он чувствовал себя тем же наивным губернским дебютантом, который самозабвенно готовил правдивый отчет в надежде быть понятым и по достоинству оцененным, не предчувствуя, что весь его труд обречен бесследно кануть в архивную Лету.

А ведь теперь, казалось, настала иная пора. Даже в самом департаменте чиновники не без злорадства рассказывали друг другу о ядовитых статьях «Колокола».

Особенное оживление вызвал уничтожающий разбор отчета министра внутренних дел за последний год войны.

Царь собственноручно начертал на министерском отчете: «Читал с большим любопытством и благодарю в особенности за откровенное изложение всех недостатков, которые с божьей помощью и при общем усердии, надеюсь, с каждым годом будут исправляться».

«Не знаю, насколько будет божьей помощи, — саркастически комментировал в «Колоколе» Огарев, скрывшийся под буквами Р. Ч., — но общего усердия исправлять государственные недостатки от чиновничества ожидать нельзя; это противно его интересам; общее усердие явится только тогда, когда все классы

народа будут вызваны к деятельности, к беспрепятственному выражению своего мнения и обсуживанию своих нужд».

Редко кто с такой горечью читал этот лист «Колокола», как Салтыков.

Скольких усилий стоило, отправившись на ревизию, вывести на чистую воду разночиновных воров, сбившихся в одну дружную компанию! Впоследствии Салтыков колоритно изобразил эту круговую поруку грабителей.

«— А подайте-ка сюда дело об обманном сведении отставным майором Негодяевым рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! — взывал ревизор к оторопевшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно: «Ну, теперь-то вы уже не отвертитесь от меня, крысы прожорливые!»

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумевали.

— Дело... о сведении... рощи?.. — произносила с расстановкою какая-нибудь из крыс побойчее... Вся физиономия, весь организм этой крысы дышит таким наивным удивлением, как будто она сейчас только что на свет божий произошла, ничего не знает и даже никаких прирожденных идей о «таковом обманном отставного майора Негодяева поступке» не имеет.

— Это точно-с... такое дело было-с! — выручает другая канцелярская крыса: — только оно бывшим копиистом Подгоняйчиковым неизвестно куда утрачено-с!

...И таким образом подвигалась вперед вся ревизия. Одно дело сгорело, другое пропало, третьего, как ни бились, не нашли, четвертое продано в кабак в качестве оберточной бумаги...

— Странно! — скрипит ревизор зубами. — Какие же у вас дела есть?

— А вот-с: дело о бунте Тришки мордвина против предержащих властей; дело об оскорблении Васькой чувашенином словом и действием капитан-исправника; дело о пограблении черемисином Алешкою с товарищи медной гривны... ведутся неупустительно-с!»

Если же ретивым ревизорам, вроде самого Салтыкова, и удавалось все же докопаться до фактов, изобличающих «господ Негодяевых», то и тогда сообщения об этом далеко не всегда доходили до ушей начальства; так, эстафета о чудовищных злоупотреблениях интендантов в Крыму, посланная комиссией князя Васильчикова, попросту пропала по дороге — была «неизвестно куда утрачена».

Некоторые сведения все-таки добирались в министерские канцелярии и кабинеты. Но правда так же резала глаза вышестоящих лиц, как драный армяк мужика-просителя, невесть как пробравшегося к царскому выходу и затесавшегося в море раззолоченных мундиров, звезд и лент.

И услужливые перья — лакейские, хоть и держали их холеные руки! — все дальше и дальше оттесняли, а то и совсем выбрасывали из отчетов неприятные факты, так что вместо вакха-

налии хищничества создавалась картина всенародного процветания.

Салтыков все больше утверждался в мысли, которую несколько лет спустя выскажет один из героев его пьесы «Тени»:

«— Ты исполнитель — и ничего больше; твои способности, твое уменье, конечно, драгоценны, но они драгоценны только в том смысле, что человек умный и способный всякую штуку сумеет обделать ловчее, нежели человек глупый и неумелый».

Самостоятельности не требовалось. Составленный Салтыковым проект нового устройства полиции не встретил одобрения, а попытка Михаила Евграфовича отстаивать свои идеи вызвала недоуменное раздражение.

— Что он спорит? — негодовал товарищ (говоря сегодняшним языком, — заместитель) министра внутренних дел Левшин. — Считает, что ли, себя умнее всех?!

(Характерно, что подобный же прием в ту пору встретили у этого сановника предложения по крестьянскому вопросу, сделанные Львом Толстым. «Левшин сухо меня принял, — сердито записал Лев Николаевич в дневник. — За что ни возьмешься теперь в России, все переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные».)

А министр юстиции граф Панин и граф Шувалов, которым тоже пришлось выслушивать жаркие возражения Салтыкова, взяли дерзкого чиновника на заметку. Панин пытался восстановить против автора «Губернских очерков» самого царя, намекал Третьему отделению, что у него под носом появился «второй Герцен».

А с Герценом у Виктора Никитича были свои счеты! Проклятый Искандер очень уж был к нему внимателен. Издевательски внимателен! Приводя опрометчивое высказывание министра юстиции о том, что распространение серьезных познаний в области права среди населения вредно и опасно для государства, «Колокол» сочувственно замечал: «Не многому же научился Панин в оксфордском университете... не оттого ли, что министр юстиции так высок — ни одна человеческая мысль не может возвыситься до чела его, а ходят как облака по Альпам — оставляя сухую каменную вершину мерзнуть на солнце».

Теперь во время излюбленных прогулок по Невскому высоченный сановник глядел перед собой особенно бесстрастно, поверх голов прохожих, раздражаясь случайно увиденной улыбкой: читали, мерзавцы!

Панин яростно ополчался на Ланского за то, что он терпит в своем министерстве «обличителей»; похоже, что Герцен прослышал и об этом, поскольку в «Колоколе» говорилось:

«В Русском Вестнике явились в последнее время статьи, которые знакомили публику с типами губернских воров средней руки. И что же? Воры и укрыватели воров большой руки подняли крик, начали жаловаться государю — и если он не послушал их, зато и не приказал замолчать» (Впоследствии и в сборнике

«Голоса из России», в статье, целиком посвященной Панину, упоминалось, что «еще недавно, по поводу статей Павлова и Щедрина в Русском вестнике составлял он новые всеподданнейшие записки».)

«Замолчать» посоветовали другому: после бесед с Ланским и Милютиным Салтыкову пришлось повременить с публикацией новых произведений.

Только что заявлявший, что считает для себя честью и обязанностью принять участие в новом либеральном журнале «Атеней», он теперь сообщал редактору — Е. Ф. Коршу: «Хотя у меня есть для Вашего журнала совершенно готовая вещь, но я должен приостановиться присылкою ее до тех пор, покуда не разъяснится мрак, скопившийся на моем горизонте». А с Иваном Аксаковым делился с полной откровенностью:

«Я уже вижу достаточные доказательства того глухого преследования, которое достигает человека гораздо вернее, нежели преследование явное. Меня преследуют по службе, а так как я не имею ни малейшей возможности ее оставить, то и выходит, что я все-таки должен быть осторожным».

В цене были чиновники, подобные Клаверову — герою пьесы Салтыкова «Тени», написанной уже в шестидесятых годах.

«— Генерал-то молодой, так сказать, сугубый-с... пожалуй, старых-то за двух постоит!» — многозначительно, хотя и туманно, отзывается о Клаверове мелкий, но отнюдь не глупый чиновник Свистиков.

Клаверов олицетворяет, пользуясь позднейшим выражением автора, некоторые «готовности» людей, которые вроде бы выступили на смену деятелям прежнего царствования, а в сущности, лишь стремились уберечь старый порядок от окончательного крушения.

Замысел Салтыкова был глубок. Однако проявление скрытой сути Клаверова обставлено довольно традиционно: даже у самого автора в «Губернских очерках» мелкий фат Бобров сходным образом подсовывает свою любовницу начальнику (сцены «Выгодная женитьба»).

Салтыков никогда не печатал «Теней». Суровый критик собственного творчества, он болезненно отнесся к критическим отзывам о своей первой, написанной в 1857 году пьесе «Смерть Пазухина» и до конца жизни совестился своих драматических произведений. Что касается «Теней», то, вероятно, Салтыков чувствовал, что «сугубый генерал», который «старых за двух постоит», оказывается слишком уж в ординарно-подлой роли, и это не дает достаточного представления о большей гибкости народившейся породы общественных деятелей.

Разочарование в столичных реформаторах, ощущение бесцельности бесконечных словопрений («...начнем орехи перекладывать из короба в короб!» — говаривал Салтыков перед очередными дебатами) заставляли Михаила Евграфовича мечтать о какой-либо, сравнительно самостоятельной деятельности в провинции.

Возможно, и Ланской с Милютиным облегченно вздохнули, когда в марте 1858 года Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором.

«Я совершенно доволен», — ликующе сообщает Михаил Евграфович брату.

Возможно, это настроение поддерживалось в нем лестным отзывом Александра II.

Передавали, что, утверждая назначение Салтыкова, царь сказал, что рад этому и желает, чтобы Салтыков и на службе действовал в том же духе, в каком пишет.

Как было не захотеть «себя показать», тем более в чреватой иллюзиями переменчивой атмосфере первых лет нового царствования!

Собственно русский исторический опыт еще не доказал полной бесплодности упований на благие склонности того или иного самодержавного властелина. Даже Герцен, отражая вспышки надежд общества, время от времени обращался с какими-то советами и пожеланиями к императору и другим членам царской фамилии.

Призыв к топору, к красному петуху крестьянских восстаний рассматривался им лишь как самый последний довод, если бы все мирные средства разрешения конфликта оказались исчерпаны.

Большинство же образованного общества пока еще чутко ловило вести о переменах царского настроения, о падении или возвышении какого-либо государственного деятеля, наивно усматривая в нем либо виновника множества зол, либо чудодейственного исцелителя.

Сменили министра просвещения А. С. Норова, и все облегченно вздохнули: хуже того, что было, быть не может. Но вот какое впечатление произвел на старожила министерства новый начальник Е. П. Ковалевский: «Я застал его в том же кабинете, где так часто видел Норова, в тех же самых креслах. Зловещее предзнаменование! Начали мы с ним говорить и — о ужас! Это Норов, он сам, он весь, со всею своею шаткостью, бесхарактерностью, неспособностью к какой-либо мере, выходящей из канцелярской рутины, и, наконец, с отрицанием того, что за несколько времени перед тем он утверждал торжественно и горячо».

Царь и вся правящая верхушка нисколько не сомневались в своем праве определять будущие судьбы миллионов людей. И это приводило в негодование передовых литераторов. Герцен и Чернышевский — один прямо, другой неминуемыми в цензурных условиях обиняками — осуждали келейный, секретный характер подготовки крестьянской реформы, запрещение высказываться об этом вопросе в печати.

«...Доброе согласие со стороны человека, судьбу которого надобно улучшить, — писал Чернышевский, намекая последним словом на название комитетов («по улучшению быта кресть-

ян»), — мы считаем необходимым условием для того, чтобы судьба его действительно улучшалась. Без доброй воли и добровольного согласия человека невозможно сделать ничего истинно полезного для него».

Непосредственным поводом для этого рассуждения служила подготовка реформы. Но мысль Чернышевского выходит на бо́льший простор:

«...Менее, нежели кто-нибудь, мы расположены сочувствовать таким теориям, которые не ставят всей надежды своей на успех единственно в разумном и совершенно добровольном предварительном убеждении тех людей, польза которых имеется в виду».

Народ выступает не как пассивный объект для чьих-либо благодеяний и административных или социальных экспериментов, он может и должен сам определять характер своего жизненного уклада. Такова мысль Чернышевского.

Сродни ей необычайно резкая оценка Салтыковым в его письмах 1857 года Петра I как «величайшего самодура своего времени» и категорическое заявление, что «таким образом нельзя благодетельствовать отечеству».

О необходимости предоставить устройство хозяйства, экономического быта самому народу Чернышевский писал не раз.

По-своему развивал аналогичные мысли и Щедрин уже в первых своих печатных выступлениях после возвращения из Вятки.

«Откинем всякую заднюю мысль, — писал он в статье о творчестве Кольцова, пока цензорский карандаш не заставил его затуманить свою мысль, — отнесемся к жизни прямо, с глазами невооруженными, примем скромно то, что она нам дает, и не будем заранее заботиться о том, какие выйдут из этого результаты, будут ли они соответствовать нашим тайным симпатиям или нет. Примем за правило или, пожалуй, и за воззрение (если это слово необходимо) одну добросовестность, т. е. добросовестную разработку тех материалов, которые должны дать прочную основу нашей науке и нашему искусству. Кто знает, быть может, при таком взгляде на дело оно пойдет успешнее...»

Этот дух свободного исследования действительности, которое не стеснено никаким заранее предписанным итогом, был бы бессмыслен, если бы не предполагалось, что исследование должно повести к серьезным выводам и к практическим результатам.

Желая быть последовательным, Салтыков допускал теоретическую возможность выбора народом какого-то иного пути, нежели тот, что рисовался его революционно настроенным современникам. В особенности же отталкивало его доктринерство, которое надменно игнорирует мнение самого народа и возвещает, что оно располагает совершенным рецептом для спасения страждущего человечества.

«Чувствуется, что здесь массы представляют нечто постороннее, — писал он позднее, — что здесь дело идет не о счастии

и успокоении их, а о торжестве той или другой идеи, для которой массы нужны не более, как в качестве anima vilis [1], т. е. для производства над ними всякого рода операций... Дайте же массам сначала хоть то, что они сами неотложно просят, без чего они жить и дышать не могут... А может быть, массы и без ваших забот, сами похлопочут о дальнейшем воспитании себя? А может быть, это дальнейшее воспитание укажет на формы жизни, совершенно отличные от тех, которые составляют предмет ваших мечтаний и надежд!»

Поэтому в условиях, когда ход дальнейшего общественного развития оставался еще гадательным, Салтыков рассудил, что ни в коем случае не следует упускать возможность содействовать на посту вице-губернатора намечающейся реформе.

Ждать у моря погоды было не в его характере, тем более что и полноценной литературной деятельности не получалось.

Салтыков разошелся с Катковым (тот стал сильно колебаться: следует ли наделять освобожденных крестьян землей?), отдалился и от Дружинина.

Позиция последнего справедливо представлялась ему подчеркнуто отгороженной от той живейшей злобы дня, которая занимала все внимание самого Михаила Евграфовича. Да и добродушный Анненков вспоминал впоследствии, что Александр Васильевич «был слишком вельможен, так сказать, для массы русских читателей».

Салтыков же откровенно «пофыркивал» в письмах: «Надо, впрочем, сознаться, что Дружинин ведет свое дело плохо и «Библ[иотека] д[ля] Чт[ения]» все-таки не выходит из разряда скромных фиялок, и получается и читается в провинции плохо».

Он и самому другу-редактору откровенно высказывался насчет «расположения умов в провинциях относительно журналов»:

«Всего более в ходу «Современник»; Добролюбов и Чернышевский производят фурор и о «честной деятельности» «Современника» говорят даже на актах в гимназиях. Провинция любит, чтоб ей говорили son fait [2] прямо и резко... надобно больше современности, больше полемики...»

Налаживание же деловых отношений с «Современником», этим во многом самым близким сатирику журналом, шло у Салтыкова медленно.

«Вот какой редактор Некрасов, — жаловался он Анненкову. — Я его много раз просил прочесть мой рассказ... и сказать мне, не нужно ли что переделать. И все-таки не добился, чтобы он его прочел».

И даже когда рассказ был напечатан, раздраженный цензурными вымарками автор и тут усмотрел невнимательное отношение к нему редакции: «Я по опыту знаю, каково печататься в «Современнике», где редакция не дает себе труда даже связывать

---

[1] Низшего организма (*лат.*).

[2] Всю правду (*фр.*).

пробелы, оставленные цензурным скальпелем» — писал он (посылая, однако, при этом новую «собственного... изделия статью»!).

В свою очередь и весьма далекие от Салтыкова по всем обстоятельствам жизни деятели «Современника» относились к нему выжидательно и настороженно, хотя и с испытующим интересом.

«Общество ваше, — пишет своему рязанскому приятелю Добролюбов, — оживит, вероятно, Салтыков, который на днях, кажется, едет уже к Вам. Вот будет поле практической деятельности литератора! Пиши мне о нем, пожалуйста. Я думаю, что он будет держать себя страшно гордо, или по крайней мере с большим гонором».

Ненадолго у Салтыкова возникла переписка и дружеские отношения с Аксаковыми. Многочисленная семья эта, ее наиболее прославленные члены — знаменитый автор «Семейной хроники» Сергей Тимофеевич, его сыновья Константин и Иван — представляли разнообразные оттенки славянофильства. В славянофильских теориях причудливо переплетались сочувствие к народу, интерес к народному быту и в то же время нереальное стремление притормозить неуклонно развивающиеся события, сохранить или даже восстановить отжившие и отживающие формы старого русского уклада.

Чернышевский отмечал заслугу славянофилов, поставивших важный вопрос об изучении крестьянской общины.

И поэтому и ради сохранения какого-то единства сил мыслящих людей перед оголтелым фронтом крепостников и противников реформы Чернышевский встретил первые номера славянофильского журнала «Русская беседа» приветственными словами в «Современнике», хотя в частном письме и сокрушался, что в головах у славянофилов совершенная путаница: одна мысль из Прудона, другая из жития Симеона Столпника, одна из Белинского, другая из Булгарина.

Следы недовольства «Русской беседой» и всей деятельностью славянофилов видны и в письмах Ивана Аксакова. Долгие скитания по России в значительной мере отрезвили его от склонности к отвлеченным построениям, которыми грешил его брат Константин, не чуждавшийся вкупе с А. С. Хомяковым всевозможных натяжек ради доказательства своей правоты.

«Требования эманципации, железных путей и проч., и проч., сливающиеся теперь в один общий гул по всей России, первоначально возникли не от нас, а от западников, — безжалостно напоминал Иван Сергеевич брату в 1856 году, — а я помню время, когда, к сожалению, славянофилы, хотя и не все, противились и железным дорогам и эманципации, последней потому только, что она формулирована была под влиянием западных идей».

Книги патриарха знаменитой славянофильской семьи Аксаковых, Сергея Тимофеевича, вызывали единодушное одобрение почти во всех органах печати. Старого писателя уважали, и Салтыков едва ли чтобы не огорчить автора «Семейной хроники» опустил в своей статье о Кольцове критическое замечание об изо-

бражении Аксаковым природы. А в 1857 году он посвятил Аксакову целый раздел «Губернских очерков» и писал ему (31 августа 1857 года): «...откровенно сознаюсь, что Ваши прекрасные произведения имели решительное влияние как на замысел, так и на исполнение скромного труда».

Действительно, в поисках поэтических красок для изображения красоты народной души, трогательной подчас даже в своих религиозных заблуждениях, Салтыков не прошел мимо аксаковского опыта.

«Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов, — пишет он неделей раньше своему приятелю И. В. Павлову (23 августа), — и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здравого развития».

В марте следующего года он дает обед в честь посетившего Петербург Ивана Аксакова, в апреле сам появляется в знаменитой семье перед отъездом в Рязань.

Долго сидит он, слушая пылкие речи Константина, так что домашние замечают, как устал Сергей Тимофеевич от этого визита...

Почему же он больше никогда не возвращается ни в этот дом, ни к дружеской переписке?

Что за разговор шел тогда? Чем так усердно потчевали Аксаковы своего гостя, что он навсегда сбежал от «демьяновой ухи» славянофильства? Быть может, к нему отнеслись как к неофиту и развернули перед ним славную летопись своей деятельности?

Тогда, наверное, Салтыков слушал ее поистине с изумлением — не потому, что буквально все здесь было для него ново, но потому, что Константин доныне гордился битвой за бороды, которую вел вместе с отцом.

С какой страстью описывал он все перипетии этой тяжбы, не ощущая, к каким неприглядным доводам прибегал ради сохранения «русской бороды»: если бы, мол, дело шло о бородах, подстриженных на западный манер и не являющихся «частью русской одежды», они бы только приветствовали волю Николая, который специальным циркуляром осудил подражание западной моде.

— Освобождение от западной моды было бы если не полным, то весьма значительным освобождением от влияния западного зла, — горячился Константин Сергеевич, а Отесенька (как звали в семье Сергея Тимофеевича) расстраивался, что у первенца отнята «всякая общественная деятельность, даже хоть своим наружным видом».

Они до сих пор негодовали, вспоминая приказ явиться в полицию и дать расписку «в сбритии бород». Конечно, это было возмутительным произволом, но Салтыков мог отнестись ко всей этой шумной истории только с неприязнью: ведь в ту самую весну 1849 года, когда она разыгралась, были арестованы петрашевцы, общественная деятельность которых, при всем ее наивном и

зачаточном характере, все-таки не была деятельностью «своим наружным видом».

Салтыков смотрел на опущенные плечи старика Аксакова, на чахоточный румянец, проступавший на щеках Константина, на болезненное лицо Веры Сергеевны и думал, что все они — умирающие, обреченные, отнюдь не просто в смысле их личной участи. (Любопытно, что при вести о смерти А. С. Хомякова у И. С. Аксакова вырвалось: «Теперь для нас настает пора доживанья, воспоминаний, истории; самая жизнь кончилась».)

Унесут ли они с собой этот дух шумного, но бесплодного протеста, деятельности «наружным своим видом», претензий на знание единственно верной истины? Или он переселится в другие тела, в другие кружки и течения и еще долгие годы будет сбивать людей с толку?

Появление Салтыкова в Рязани многих огорчило.

Известный деятель Главного комитета по крестьянскому делу Я. И. Ростовцев сказал новому рязанскому губернатору М. К. Клингенбергу:

— Ну, очень рад, мой милый, очень рад за тебя... одно жаль, вице-губернатора к тебе назначили какого! Пишет всё эти губернские очерки — человек беспокойный!

Один чиновник, не брезговавший доброхотными даяниями, даже лишился чувств, когда узнал, что вице-губернатором назначен автор «Губернских очерков».

Другие поникли головами после первой же встречи с Салтыковым. Он прибыл без предварительного о том оповещения, так что швейцар даже пытался задержать его и расспросить, по какому он делу явился. Узнав, что это вице-губернатор, старик испугался, ожидая по меньшей мере разноса, но его высокоблагородие хмуро проследовал в свой кабинет, где предупредил собравшихся чиновников, что взяточников он у себя не потерпит и чтобы его не пытались провести канцелярским крючкотворством: «Я гусь старый, стреляный!»

Действительно, новый вице-губернатор повел дело круто. Вместо коротких наездов для подписывания бумаг он заявлялся в губернское правление с утра и часов до четырех основательнейшим образом знакомился с подаваемыми ему бумагами, проверял верность изложения фактов и зачастую заново пересоставлял неясно и даже безграмотно изложенные записки, резолюции и доклады.

Объясняя брату Дмитрию свое долгое молчание после переезда в Рязань, он пишет 20 июля 1858 года:

«...Я живу здесь не как свободный человек, а в полном смысле слова как каторжник, работая ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее 12 часов».

Своим характером он часто ставил подчиненных в тупик. Выведенный из себя непонятной бумагой, он не скупился на бранные слова и гневно кидал ее через стол, а назавтра канцелярия

с изумлением слушала рассказ экзекутора губернского правления.

По заведенной традиции экзекутор прибыл утром с рапортом на квартиру к Салтыкову, несмотря на жестокий буран. Когда продрогший и облепленный снегом старик вошел в кабинет, Михаил Евграфович так и кинулся ему навстречу, думая, что случилось что-то необычайное, и был страшно поражен, узнав, что тот явился лишь затем, чтобы произнести трафаретную фразу: «В губернском правлении все обстоит благополучно...»

— Батюшка, — расстроенно сказал он, — да разве я сам не знаю, что там ни мятежа, ни глада, ни мора быть не может?! Что вас угораздило в такую-то погоду! Ведь вы весь дрожите! Чаю и рому!

Последние слова он прокричал прислуге. Экзекутор онемел: он был не столь осчастливлен, сколь напуган таким необычным приемом у второго лица в губернии. Несмотря на все отнекиванья старика, Салтыков отправил его назад в крытом возке со строгим наказом по таким пустякам не являться.

Долго пережевывали такие случаи в губернских гостиных, пока вице-губернатор какой-нибудь новой своей выходкой не заставлял забыть предыдущую.

Излюбленным начальственным правилом было ни в коем случае не сознаваться в промахе и скорее упорствовать в ошибке, чем признать себя неправым. Салтыков же при всем своем взрывчатом характере ничуть не разделял этой ревнивой заботы об «авторитете».

Рассердившись на медленность делопроизводства, он распорядился, чтобы чиновники работали по вечерам. Инспектор местного воспитательного заведения выступил в «Московских ведомостях» против пренебрежения к трудной жизни большинства бедных чиновников. Салтыков не только отменил свое залихватское предписание, но еще и поблагодарил автора статьи.

Однако главные толки и нарекания вызывала позиция вице-губернатора, когда возникали какие-то конфликты в деревне. Он терпеливо пояснял сослуживцам, что наэлектризованные смутными и противоречивыми слухами об освобождении крестьяне легко возбудимы и только злонамеренные люди могут это игнорировать. Его нисколько не удивляло и не возмущало, например, что уже летом 1858 года крестьяне не выказывали никакой охоты унавоживать землю «на том основании, что неизвестно, где чья земля будет».

А как-то, разгорячившись, вице-губернатор даже произнес фразу, которую в местном обществе передавали с таким испугом, как будто весть о конце мира:

— Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... очень, слишком даже будет!

И добро бы это были слова, но Салтыков хладнокровно возбуждал уголовные дела против помещиков, истязавших своих крепостных.

В свое время в «Русском вестнике» Егорьевская мануфактура братьев Хлудовых удостоилась восторженного панегирика. Корреспондент писал о «мирном убежище прядильного искусства», которое «заслуживает полного сочувствия, поддерживая многочисленные бедные семейства не простым подаянием, но платою за труд, всегда облагораживающий, всегда благодетельный».

Но уже в 1858 году Салтыков поднял шум на всю Россию по поводу сделок Хлудовых с помещиками, которые продавали им своих крестьян накануне реформы 1861 года в полную кабалу.

Презрительно и брезгливо отзывался он об «удалом» поведении недавнего хозяина губернии, за которым крепостники чувствовали себя как за каменной стеной.

«Усмирение» Новосильцевым мифических мужицких бунтов получило печальную известность и в конце концов стало одной из причин его увольнения.

Будущие высказывания щедринских градоначальников могут нам порой показаться «плагиатом» с новосильцевских предписаний:

«Исправник... рано утром распорядится заготовить 1 воз розог, и непременно воз... Исправник через понятых делает молча приготовление к наказанию, не входит ни в какие разговоры с Мурминскими мужиками и в особенности должен их стращать... Если бы мужики вздумали приготовить хлеб-соль, исправнику не мешать, но молча улыбаться. Вероятно, начальник губернии (то есть сам пишущий: Новосильцев! — *А. Т.*) прикажет все опрокинуть и разбросать и тогда начнет распоряжаться».

«...Право, подчас подумаешь, что это в насмешку выдуманная пародия или сочинение человека, совсем спятившего с ума», — говорилось по этому поводу в «Колоколе».

И новосильцевские инструкции отнюдь не оставались на бумаге! В селе Деднове жителей секли по два-три раза, потом нагих и босых (в двадцатиградусный мороз) водили перед согнанным на площадь народом, где, разумеется, были и женщины, и еще напоследок по часу и более выдерживали в снегу на коленях. Затем доблестно справившийся с этой задачей стрелковый батальон на несколько дней разместили по избам, чтобы хозяева поили и кормили своих палачей.

Теперь же «благородному» рязанскому сословию приходилось только со вздохом вспоминать о новосильцевских походах. Салтыков почти неизменно становился на сторону мужиков.

«Бедная Рязань! Настали и для нее бироновские времена!» — сочувствовал некий чиновник Васильев злоключениям своих тамошних знакомцев, былых сослуживцев, которые описывали ему салтыковские поступки «самыми черными и кровавыми красками»: мол, если бы не заступничество добряка губернатора, «давно перевешал бы всех».

Но если новый вице-губернатор, вскоре получивший кличку

«вице-Робеспьер», порой и в самом деле хватал лишку в своих крутых расправах со взяточниками и бездельниками, это во многом объяснялось ужасающим положением, которое он обнаружил в этой провинции.

Само назначение Салтыкова туда было непосредственно связано с результатами министерской ревизии, вскрывшей такое изобилие всевозможных злоупотреблений и беззаконий, что, по энергичному выражению Михаила Евграфовича, вятское плутовство по сравнению с этим выглядело совершенно добродушным.

И чем больше вникал приезжий в запущенное и запутанное делопроизводство, тем более это начинало напоминать знаменитое евангельское сошествие во ад. Только томились в этой преисподней совсем не реальные грешники, нуждавшиеся в милостивом снисхождении к их действительным проступкам и заблуждениям, а по большей части совершенно безвинные, низведенные до полнейшего бесправия крестьяне и прочая «мелкая сошка».

...Пытаясь хоть в какой-то мере воссоздать тогдашние труды и дни Салтыкова, современный исследователь с ужасом и болью перелистывает пожелтевшие страницы канцелярских «дел» о помещичьих злодеяниях, страницы, по выражению известного биографа сатирика — С. А. Макашина, «как бы политые сукровицей с поротых мужицких спин и слезами крестьянских женщин», а временами натыкается на зловещие «вещественные доказательства», например припечатанный сургучом сверток с большой прядью волос, «собственноручно» вырванных представителем «благородного сословия» у «подлянки» — восемнадцатилетней дворовой девки.

Будто под мрачными сводами застенка, раскатывается на этих страницах разъяренный возглас чинящего расправу: «Я убил кучера, и то мне никто шапки не сшиб, а уж тебя-то не забить!», сладострастно ведется счет ударам, удовлетворенно попыхивает трубочка, которую покуривают, наслаждаясь кровавым зрелищем (можно сечь на одну трубку, на две, на три, когда жертва уже не стонет и не вопит, а лежит в беспамятстве — если вообще еще дышит).

...И они еще жаловались, что с ними по-бироновски поступают!

Да ведь «вице-Робеспьер» собственной властью не мог насильника даже под суд отдать, не представив доклада министру и не получив царского соизволения!

А Ланской, которому император уже жаловался на салтыковские реляции (очень уж мрачный тон! прямо невозможно читать!), еще подумает и подумает, прежде чем огорчить монарха очередной бумагой:

«27 сего сентября в 3-м часу пополуночи, в губернском городе Рязани, в саду чиновницы Колосовой, были усмотрены два дворовых мальчика отставного майора Вельяшева, Иван 14-ти и Гаврило 12-ти лет, окровавленные, с разрезанными горлами, но еще живые.

Из сделанного мною... дознания оказывается, что означенные мальчики сами покусились на свою жизнь и что побудительною

причиною этого покушения было жестокое обращение с ними живущей у г. Вельяшева полковницы Кислинской, которая за всякую безделицу беспощадно их наказывала. В самый день покушения было приготовлено для наказания мальчиков шесть пучков розог за то, что они не стерли с мебели пыль...»

Катит, по-прежнему катит по губернии (да и не по всей ли России?) отнюдь не картинная гоголевская птица-тройка, а прозаический новосильцевский «непременный» воз розог, и выходит сухой из воды после трехлетнего судебного разбирательства Кислинская, и успешно противоборствует «покорнейшей» просьбе вице-губернатора не ссылать в Сибирь целую крестьянскую семью ее владелец — генерал Засецкий (не от глагола ли «засечь»? и не родня ли бравому генералу скромный московский полицмейстер с не менее выразительной фамилией — Сечинский?!).

Нет, у салтыковского сошествия во ад совсем иной конец, чем в евангелии! Пусть, прослышав о вице-губернаторском заступничестве, на него все еще уповают забитые, сеченные, замордованные, их жены и дочери, которым грозит «постельная барщина», — общая ярость помещиков и губернских крючкотворов против «красного» чиновника нарастает.

Сначала он не говорит об этом в письмах, сообщая, что в особенности от выходок крепостников страдает автор одного из проектов освобождения крестьян — «старец Кошелев, которого все здесь считают бунтовщиком и ненавидят до смерти».

Но вот появляется упоминание о княгине Черкасской: «Эта баба — самая гадкая во всей Рязанской губернии, а здесь довольно-таки гнусных баб. Она на нас беспрестанно ябедничает, что возмущаем крестьян».

А через полгода Салтыков лаконично извещает П. В. Анненкова: «Представьте себе: меня хотели было судить за демократизм».

В довершение всего в Рязань был назначен новый губернатор, сын тогдашнего министра государственных имуществ М. Н. Муравьева. Последний не стяжал еще своей будущей славы палача, но уже служил превосходным зеркалом настроений правящих кругов, которые понемногу оправлялись от растерянности и подумывали о возвращении к старым методам управления. Этот «высокопревосходительный хамелеон» быстро менял окраску.

«В 1857 году, — вспоминал служивший в министерстве государственных имуществ Н. В. Шелгунов, — не было такого доклада, уничтожающего старое, с которым бы Муравьев не согласился, но уже в 1859 г. он стал обнаруживать какую-то попятность».

Муравьев-сын был тем самым яблочком, которое, по пословице, недалеко от яблони падает. Приглядевшись к нему, Салтыков вывел заключение, что «главное основание всех его действий — неуважение к чужой мысли, чужому мнению и чужому труду».

Черта была не только наследственная («Муравьев, — описывает Шелгунов одну из своих бесед с министром, — сказал, что

от меня он требует только фактов, а выводы сделает сам. Ему даже выводы показались посягательством на его власть»), но и родовая, свойственная всему стилю бюрократического управления. Не терпели возражений ни граф Панин, министр юстиции, возглавивший после смерти Я. И. Ростовцева Редакционные комиссии по выработке Положения 19 февраля 1861 года, ни «либералы» братья Милютины.

Да и сам «освободитель» не был исключением.

«Безграничная власть и предания отца, — писал об Александре II Б. Н. Чичерин, — заставляли его смотреть на независимость мысли и характера, как на беспокойное и вредное начало, которого следует остерегаться. Он охотнее видел вокруг себя людей податливых и удобных, то есть пошлых».

Столкновение Муравьева с Щедриным было неизбежно.

«Это паша, утопающий в сладострастии и безнаказанном произволе. Кичась честию быть сыном министра, он управляет губерниею на полном крепостном праве», — писалось о Муравьеве не в салтыковских письмах и не в герценовском «Колоколе», а... в донесении местного жандармского офицера своему начальству, когда тот, наконец, полностью раскусил губернатора, поначалу обворожившего его своей обходительностью.

Все рязанское «светское общество» перебывало у нового начальника, и можно не сомневаться, что многочисленные жалобы на вице-губернатора убедили Муравьева в том, что он получит мощную поддержку в борьбе со своим литераторствующим подчиненным.

И вскоре, к восторгу крепостников, губернатор открыто заступился за помещика Серебрякова, по чьему приказу забили насмерть крестьянина, которого подозревали в краже нескольких мер овса с господского тока.

Салтыков направил министру внутренних дел свое «особое мнение», но оно было признано незаконным.

«Нашла коса на камень», — злорадствовали в гостиных.

Михаил Евграфович засыпал письмами своих петербургских знакомых, упрашивая их похлопотать, чтобы его убрали от «одного из сукиных детей Муравьевых». Он даже на деланно-любезный вопрос самого губернатора, не желает ли Салтыков, чтобы тот походатайствовал о какой-либо для него награде, напрямик ответил, что величайшей для себя наградой почел бы перевод в какой-нибудь другой город.

И Муравьев, со своей стороны, об этом постарался. Ему надоели колючие насмешки, которыми, как доходило до губернаторского слуха, сопровождал Михаил Евграфович многие его поступки и промахи. Совсем не нравилась ему и популярность Салтыкова среди молодых, способных служащих.

Услужливые люди рассказывали Муравьеву, что, когда вице-губернатор появлялся в городском саду, вокруг него собирался кружок знакомых, а поблизости — на скамейках, прислонясь к деревьям, застенчиво укрывшись в кустах, — располагались люди,

не спускавшие глаз с Михаила Евграфовича и жадно прислушивавшиеся к его словам.

— Как соловья слушают! — возмущались рассказчики, опасливо поглядывая на багровеющее лицо губернатора.

И после того как Салтыкова выпроводили из Рязани, слух Муравьева терзали мимоходом оброненные словечки: «Ну, это до Салтыкова было... Это Салтыков завел...»

Но все это были цветочки по сравнению с тем, когда в журналах, частью еще в бытность Салтыкова в Рязани, появлялись очерки и рассказы, подписанные Н. Щедриным.

С какой ненавистью и ужасом узнавало себя в этом литературном зеркале благородное дворянство — и не только Рязанской губернии! — с которого безжалостно обдирались павлиньи перья мнимого великодушия!

«Итак, мы условились единодушно и заранее, что откупа — мерзость, взяточничество — мерзость, казнокрадство — мерзость, ябедничество — мерзость, а крепостное право — une chose sans nom[1]. Но, господи, что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших, что за соленый вкус ощущается на языке, когда он лепечет заповедное вступление к предстоящей речи: «господа! нет сомнения, что предмет, нас занимающий, заслуживает искреннего нашего сочувствия!» «Черта с два, искреннего!» — думаем мы в это самое время, и поверьте, что для нас было бы во сто крат приятнее, если бы заставили нас проглотить ежа, нежели выдавить из себя эту простую, невинную фразу».

Щедрин как нельзя более ясно говорил, что все либеральные затеи правительства вынуждены обстановкой.

Пустив крылатое словечко о переживаемом времени — «эпоха конфуза», он предостерегал тех, кто увлекался радужными иллюзиями:

«Наш конфуз — временный; наш конфуз, в переводе на русский язык, означает неумение. Мы конфузимся, так сказать, скрепя сердце; мы конфузимся и в то же время помышляем: «ах, как бы я тебя жамкнул, кабы только сумел!» От этого в нашем конфузе нет ни последовательности, ни добросовестности; завтра же, если мы «изыщем средства», мы жамкнем, и жамкнем с тем ужасающим прожорством, с каким принимается за сытный обед человек, много дней удовлетворявший свой аппетит одними черными сухарями».

В этих очерках и рассказах (впоследствии вошедших в сборники «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы») впервые сказались поразительная чуткость Салтыкова к истинному содержанию той или иной исторической минуты, его бестрепетное, чуждое всякого «утешительного обмана» проникновение в самую суть происходящего — качества, обернувшиеся в ту пору трагической прозорливостью.

Еще недавно он был занят замыслом «Книги об умирающих».

---

[1] Вещь, которой названия нет (*фр.*).

«...Как Вы находите мою мысль относительно «умирающих»? — спрашивал он 17 декабря 1857 года в письме к И. С. Аксакову. — Разумеется, эти умирающие еще совершенно живы и здоровы, но я предположил себе постоянно проводить мысль о необходимости их смерти и о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурачка».

Не правы, разумеется, были бы те, кто подумал бы, что Салтыков возрадовался раньше времени, тщетно поджидая скорой смерти здоровехоньких недругов народных. Любимому герою сказок, с вызовом принимающему пренебрежительную кличку Иванушки-дурачка, под которой, как золотое кольцо под тряпицей, прячутся удаль, сметка и сердечность, тоже ведь почти всегда приходится пройти долгий путь, прежде чем он добьется удачи!

«Необходимость» исторической смерти крепостников и «четырнадцатиголового змия поедучего» — как называл приятель Салтыкова И. В. Павлов русское чиновничество, разбитое на четырнадцать разрядов (классов), — совсем не давала ручательства насчет каких-либо конкретных сроков, когда она могла бы осуществиться.

Точно так же и убежденность, что возрождение страны зависит только от народа, отнюдь не означала, будто это великое дело в силах совершить тогдашние труженики, в огромном большинстве своем — темные крестьяне, привыкшие к бесцельности сопротивления властям и способные лишь на эпизодические вспышки слепого, отчаянного гнева.

Далеко-далеко было до осуществления наяву того сна, который видит автор в очерке «Скрежет зубовный»: «ветхие старцы» (все те же умирающие) идут «от миру прелестного, от жизни прелюбезныя в страну преисподнюю», а Иванушка садится за стол «судить да рядить».

Точнее говоря, его усаживают по приказанию начальства (еще не изжитая надежда на такую историческую возможность!).

Видимо, предугадывая длительность агонии обреченного общества и не желая хоть в какой-то мере плодить вредные иллюзии на этот счет, Салтыков совершенно отказался от своего замысла об «умирающих».

Его рассказ «Развеселое житье», напечатанный в 1859 году в «Современнике», ведется от лица дворового крестьянина Ивана, который в результате горьких обид стал разбойником, и завершается тремя снами героя.

Лютой ненавистью горит сердце Ивана к изломавшему его жизнь барину Семерикову. Этот помещик становится в сновидении героя воплощением всего жизненного зла и несправедливого уклада жизни:

«Недавно сплю я и вижу, будто передо мной Семеричище-горынчище стоит. Стоит это преогромный такой, и вширь, и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать, да вперед рваться, чтобы то есть жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня

всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошевеливаться да поколыхиваться; ну, качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь!.. Уж куда хорош этот сон!»

Не знаешь, чего здесь больше — горькой ненависти или бессилья, которое тешится упоенной мечтой о поистине сказочном, внезапном поражении врага.

«Уж куда хорош этот сон!» — недоверчиво вздыхает сам рассказчик. И словно чтобы оттенить его заведомую фантастичность, два следующих сна оказываются сугубо реалистическими и рисуют вполне правдоподобный конец самого разбойника:

«И другой еще сон я видел: прихожу будто я в град некий, и прихожу не один, а с товарищами — такие приятели есть, сотскими прозываются...

Третий видел я сон: стою я на месте высокиим, и к столбу у меня крепко-накрепко руки привязаны...»

Таковы сладостное упование — и жестокая явь.

Новое болезненное столкновение с жестокой явью последних лет крепостного права, со злобными судорогами отживших порядков — вот что, пожалуй, объясняет ту, ныне ошарашивающую остроту и непримиримость, с которой Салтыков отнесся к новым романам Гончарова и Тургенева.

Первую часть «Обломова» (впоследствии сильно измененную автором) Щедрин в письме к Анненкову просто разнес за «избитость форм и приемов», не поскупившись на самые жестокие оценки:

«Бесспорно, — писал он П. В. Анненкову, — что «Сон» — необыкновенная вещь... зато все остальное что за хлам!»

Обстоятельная неторопливость гончаровской манеры письма просто из себя выводила человека, поглощенного и издерганного бесконечной «войной нервов», наполнявшей его рязанские дни. (Любопытно вспомнить, что столь же раздраженно отозвался о другом произведении Гончарова этой поры — «Фрегат «Паллада» — Герцен, язвительно — и несправедливо — упоминавший о его «длине и вялости».)

О «Дворянском гнезде» Салтыков высказывался более дипломатично — тем более, что одно из его предыдущих писем, где Михаил Евграфович обидчиво заподозрил Тургенева в литературном «генеральстве», Анненков показал Ивану Сергеевичу (Щедрин не без натужливого юмора признавался, что, когда узнал об этом, у него «личико... несколько покраснело»).

Сначала Салтыков кается в том, что ничего не может сказать о романе, кроме общих мест: после чтения тургеневских вещей легко дышится, легко верится, тепло чувствуется, подымается нравственный уровень...

«Прозрачные, будто сотканные из воздуха образы» тургенев-

ского романа и восхищают, и — похоже — одновременно раздражают его:

«Я давно не был так потрясен, но чем именно не могу дать себе отчета».

«Отчет» этот, объяснение двойственности испытанного сатириком чувства можно искать в одной более поздней щедринской статье — «Напрасные опасения».

Воздав должное «блестящим» типам, созданным писателем, автор полагает, что они привлекли внимание публики (явно имея в виду дворянскую публику) потому, что «принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была знакома».

«Она, — продолжает Салтыков развивать свою мысль, — видела в этих типах саму себя, да, пожалуй, еще в таких праздничных одеждах, о которых знала только понаслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили никаким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества».

Сам Салтыков на своем административном поприще по большей части сталкивался отнюдь не с Лаврецкими, и в некоторых мимолетных обмолвках его тогдашних писем чудится тайная укоризна создателю «блестящих типов»:

«Надо быть вдали от гадостей этой жизни, чтобы достойно воспевать их... Пора мне расстаться с добрыми малыми провинции, которые на языке порядочных людей называются бездельниками и мерзавцами».

По щедринской сатирической «табели о рангах» Лаврецкий, конечно, ходит в байбаках и бездельниках, а его изящный оппонент Паншин — просто в мерзавцах.

И знай Салтыков, что вскоре после публикации «Губернских очерков» Тургенев не без кокетливой позы заявил Василию Боткину: «Я удаляюсь; как писателя с тенденциями заменит меня г. Щедрин (публике теперь нужны вещи пряные и грубые)...», — он бы только сумрачно усмехнулся: что поделать! Чтобы очистить авгиевы конюшни крепостнической России, и впрямь требуется выгребная лопата. «...У нас на Руси художникам время еще не приспело», — заметил он в том же письме Анненкову.

Слухи о переводе Салтыкова в Тверь то возникали, то стихали с начала 1859 года, и он сам давно был не прочь там обосноваться.

Он часто проезжал через Тверь — то в Ермолино, имение матери, с которой его связывали уже не столько родственные узы, сколько денежная зависимость, то к родителям жены — во Владимир, то из Петербурга в Москву, то из Рязани в Петербург. Оказавшись в Твери, он неизменно навещал Алексея Михайловича Унковского.

Вот с кем всегда можно было душу отвести и вволю наговориться! Некрасивое, заметно изрытое оспинами лицо Унковского очень красили умные, часто вспыхивавшие юмором глаза. Речь была проста, манеры сдержанны. И по первому впечатлению никак

нельзя было предположить, что этот, небольшого роста, аккуратно причесанный человек уже несколько лет представлялся многим тверским — да и не только тверским! — дворянам таким чудовищем, что когда в одной компании вздумали поднять за него тост, кто-то вознегодовал:

— Почему же тогда не выпить за здоровье Пугачева?!

Чем не приятель вице-Робеспьеру?

Сама биография Алексея Михайловича многократно «пересекалась» с салтыковской: родились в одной губернии, учились в Московском дворянском институте, а затем и в Лицее, бывали у Петрашевского...

Правда, младший (Унковский) в 1844 году был исключен из Лицея, своеобразно опередив старшего, поскольку уже тогда пострадал за «сочинительство» — за либретто комической оперетты «Поход в Хиву», где высмеивались весьма влиятельные лица, повинные в неудаче этой военной акции.

По-настоящему бывшие лицеисты сошлись уже после возвращения Салтыкова из Вятки, когда у обоих был за плечами немалый житейский опыт. Что касается Унковского, он успел побывать помощником столоначальника в Московском главном архиве Министерства иностранных дел, затем после смерти отца освободил своих дворовых людей, а крестьян перевел на легкий оброк (и, конечно же, соседи-помещики «хором все решили так, что он опаснейший чудак»). А «чудак» не унимался — и стал уездным судьей, грозой взяточников и крепостников, а затем, несмотря на противодействие самого губернатора, был избран предводителем дворянства.

«Отца» губернии можно было понять! В своем звании Унковский выглядел поистине белой вороной — наподобие рязанского вице-губернатора. Он открыто водил дружбу с недавно возвратившимися декабристами (например, с Матвеем Муравьевым-Апостолом) и петрашевцами (особенно с Европеусом). Возглавив местный комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, он вместе с группой своих единомышленников разработал один из наиболее демократических проектов решения аграрного вопроса. Активно выступал он и за широкую реформу суда и администрации.

Стремясь ослабить сопротивление помещиков, Унковский доказывал, что будущая реформа принесет им свои выгоды при условии, если они всерьез займутся хозяйством, отбросив тот «стиль», который в одном из рассказов этих лет Щедрин иронически охарактеризовал следующим образом: «Разве по хозяйству распорядишься, так и тут больше рукой покажешь...»

(Таков был один из маскировочных приемов писателя для изображения рукоприкладства; героиня рассказа «Госпожа Падейкова» допрашивает возмечтавшую о воле дворовую девку Феклушку, «предварительным телодвижением дав ей почувствовать разницу между действительностью и утопией».)

Хотя в развернувшейся борьбе Унковскому пришлось пойти

на существенные уступки, результат работы тверского комитета расшевелил помещичье осиное гнездо.

«Так, кажется, Унковский кончил, что и ума не приложишь, — жаловалась мать Салтыкова старшему сыну Дмитрию 9 марта 1859 года. — Депутатское большинство восстало против дворян. По идее их, они люди не для блага, а для худа отечеству».

Унковского обвинили в поощрении «самой гибельной анархии», в «насильственных мерах», которыми он якобы действовал в комитете, и даже... во взяточничестве.

Последнюю клевету разоблачить удалось легко, но тут же подоспело новое осложнение. Один из бывших петрашевцев, А. И. Европеус, резко выступил против правительственного циркуляра, которым запрещалось обсуждать крестьянский вопрос на дворянских собраниях. Возбужденное его блестящей речью собрание направило Александру II адрес помимо воли губернатора.

Ответ был получен вскорости: Унковского отрешили от должности, а затем по доносу о якобы готовящемся в Твери «перевороте» (то есть переизбрании его предводителем!) Унковский был отправлен в Вятку, Европеус — в Пермь.

Таково было личное распоряжение царя. Правда, администрация была сильно сконфужена, когда вскрылась полная вздорность обвинений и герценовский «Колокол» высмеял действия правительства. Но по устоявшейся привычке «виноватых» все-таки некоторое время подержали в ссылке. Вице-губернатора Иванова, думавшего отличиться обнаружением «волнений», не только не наказали, но перевели на ту же должность в Рязань. Больше того, «за усердие к службе» он получил тысячу рублей наградных.

Его место занял бывший рязанский «вице-Робеспьер».

«Устроились мы довольно сносно, хотя и не так привольно, как в Рязани», — писал Салтыков брату.

Вскоре после вступления в должность Салтыков стал свидетелем посещения Твери царем и его братьями в августе 1860 года. Во время царского пребывания в Твери разыгрался любопытный эпизод.

Царь изволил спросить у Михаила Евграфовича, откуда он родом и давно ли в Твери служит. Это послужило сигналом для того, чтобы и другие августейшие особы сочли своим долгом «обласкать» Салтыкова. Когда окончился обед в честь «высоких гостей», к Михаилу Евграфовичу подошел адъютант с объявлением, что великие князья желают, чтобы писатель им представился.

— Сейчас?

— Нет, через несколько времени, я тогда приду за вами.

Происшедшую дальше сцену Салтыков очень любил рассказывать знакомым:

— Ну, через полчаса действительно пришел и пригласил «проследовать»... Я проследовал, встал на указанном месте перед дверями. Он оглядел меня, как будто желая убедиться, все ли у меня в порядке... Через минуту двери растворились, и вошел Константин. Как только он увидел меня, остановился, взбросил в глаз

монокль, кивнул мне головой. «А!» — говорит. Я представился ему, разумеется, по «форме» — как вице-губернатор. Он выбросил монокль из глаза, с необыкновенной ловкостью опять взбросил и снова «А!» сказал.

— Здешний дворянин?

— Здешний дворянин, ваше высочество.

— А! Читал ваши очерки, восхищался вашим остроумием.

«Ну, — думаю, — читал так читал, восхищался так восхищался...»

Опять монокль туда-сюда путешествует...

— Вы недавно здесь вице-губернатором?

— Недавно, ваше высочество.

— Все еще пишете?

— Все еще пишу...

— А! Очень рад. Пишите, пишите...

Кивнул головой, повернулся — и двери перед ним сами растворились: они к этикету приучены.

Уже от этого разговора Михаил Евграфович опешил: ведь его собеседник стяжал славу величайшего либерала и чуть ли не главного вдохновителя «эры реформ»!

Но тут подоспел великий князь Николай, и... произошел точь-в-точь такой же обмен вопросами и ответами.

За каких-нибудь полчаса перед Салтыковым продефилировали «первые люди» России во всей своей красе.

Чем дольше затягивалась борьба за формы и меру уступок, которые помещики по необходимости должны сделать, тем более накалялась атмосфера в деревне, тем охотней прислушивались крестьяне к слухам о близкой «свободе», тем напряженнее становились их отношения с «господами».

«Правда ли, что 30 сентября подписана свобода крестьян? — спрашивал один из священников Калязинского уезда Тверской губернии в частном письме. — У нас опять все заволновалось. Уж делали бы что-нибудь решительно; а то все волнения и смуты. Посмотрите, то там, то здесь да и щелкнут помещика».

Тем временем «господа» не дремали и спешили обеспечить себя на будущее.

Однажды, отправившись к жениным родичам, Салтыков с удивлением обнаружил вместо большой владимирской деревни... ржаное поле: оказывается, владелец, уездный предводитель дворянства, воспользовался своим «правом» сослать крестьян в Сибирь без суда и следствия, присвоив их имущество.

Во Владимире взволнованные очевидцы рассказывали, как понуро тянулись эти сотни мужиков, причитающих баб и ревущих ребятишек через весь город, над которым долго еще висела пыль, поднятая скорбной процессией.

Случившееся было Салтыкову не в диковинку; тверские помещики тоже усердствовали по этой части; более «гуманные» старались переселить крестьян «на песочек», захватывая возделанные многолетним трудом земли.

И хотя «землекрады» (как окрестил таких помещиков «Колокол») вскоре почувствовали, что у нового вице-губернатора несговорчивый нрав, Салтыкову было трудно противиться этому денному грабежу. Его записки и решения обжаловались, аннулировались, залеживались в Сенате и потом оставлялись без последствий «по истечении законного срока».

Салтыков все больше убеждался, что даже те дворяне, которые щеголяли своим человеколюбием и либерализмом, начинали действовать как откровенные крепостники, лишь только дело касалось их имущественных интересов.

«Еще Некрасов и Салтыков, — писал впоследствии В. И. Ленин, — учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...»[1].

Салтыков и раньше подозревал, что многие надрывают себе горло либеральными руладами лишь из желания усладить слух начальства, которому эти песни сейчас по вкусу.

«...Нынче, посмотрю я, — размышляет подьячий в «Губернских очерках» не без авторского сочувствия, — все разговором занимаются и всё больше насчет бескорыстия, а дела не видно и мужичок — не слыхать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего».

Многозначительно выглядела и компания «в новом вкусе», которую сметливый городничий собрал для приезжего ревизора:

«Партию для его высокородия он уже составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сертуков, окружной начальник, молодой человек, образованный и с направлением; асессор палаты, Кшепшицюльский, тоже образованный и с направлением, и наконец той же палаты чиновник особых поручений Пшикшецюльский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по скольку угодно».

Ноздреву «по обстоятельствам» приходится глядеть этаким Лафайетом, либеральничающий «Русский вестник» стал любимым чтением Чичикова... Да что говорить о лицах мифических! Профессор Баршев, который еще недавно с бесстрашием безнаказанности ополчался в Московском университете против всякого вольнодумства и воспевал кнут, ныне беззастенчиво объясняет, что при прежнем государе позволительно было выставлять только эту сторону вопроса, а теперь позволительно и о гуманности поговорить.

Золотые слова сказал профессор! Салтыков прямо как подслушал его и возвел в перл создания драгоценную обмолвку угодливого тупицы:

«Что заставило нас заменить наше прежнее необузданное молчание столь же необузданною болтовнею?..

Ближайшие исследования дают повод думать, что первою и

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 43.

главное побудительною причиною было то, что нам *вышло* позволение говорить, подобно тому, как *выходят:* отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить?.. Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильно ослушанию воле начальства?»

Прочитав подобные строки, нельзя было не задуматься о поразительном несоответствии громко заявляемых *новых* целей *старым* средствам, пускавшимся в ход для их достижения. И читатель справедливо начинал подозревать, что эта правительственная практика — не случайная оплошность, что как от отдельных деятелей, столь же усердно служивших николаевским порядкам, так и от всего государственного аппарата, по-прежнему опирающегося на дворянство, трудно ожидать подлинной энергии в деле реформы.

Отвечая одному из рыцарей, которые встали на защиту дворянства, «обижаемого бюрократией», В. К. Ржевскому, Щедрин насмешливо заметил:

«Где взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства, — это тайна, разгадку которой следует искать в трущобах сердец ноздревских».

Мнимая противоположность взглядов «бюрократии» и поместного дворянства, ретроградов и либералов, как туман, скрадывала истинную картину борьбы, где люди, казавшиеся своим противникам «стрррашными ррревол-юционерами», на самом деле сердобольно помогали им обойти топкое место.

Щедрин, как и Чернышевский, считал, что убеждения этих противников расходятся всего на какой-то миллиметр:

«Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы — понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию, с другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованьи... Скажу одно: если гнаться за определениями, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградной либералией, а вторую — либеральною ретроградией!»

Консерваторы желали как можно меньшим поступиться, либералы пуще всего остерегались поспешности.

«Русское общество, почувствовавшее свободу после долгого гнета, шаталось, как узник, из мрачной темницы внезапно выпущенный на свет божий! Его надобно было успокаивать, а не возбуждать, под опасением вызвать сильнейшую реакцию», — солидно объяснял самый консервативный из либералов, профессор Б. Н. Чичерин, причины своего выступления против «возбуждающих» статей «Колокола», а его братец с похвальной откровенностью добавлял, что «Россия просто просит палки».

И Чичерин еще негодовал на жаркие поцелуи, которые он вскорости начал получать за свой «Обвинительный акт» против

Герцена! Обрадованные консерваторы искренне восхищались: он так складно выразил их заскорузлые мысли, что их и признать-то сразу было трудно в элегантном словесном одеянии.

«Сколько будет обмороков у людей от непривычки к свежему воздуху!» — печалился и другой историк, С. М. Соловьев, и размышлял о «зле свободы», когда, освобожденные от «зла опеки», крестьяне, наверное, станут меньше работать.

Приди ему в голову это высказать печатно в ту же пору, он сразу стал бы не менее известен, чем его ученый собрат. Ведь именно на тему о будущей гибели России, которую из-за крестьянской лени ожидают голод и мор, ораторствовали во всех дворянских комитетах и собраниях: разбегутся, дескать, алчные мужики по городам в поисках денег, зарастут поля лебедой и осотом!

Воспользовавшись сообщением в английской газете о недовольстве вест-индских плантаторов леностью негров, «Современник» язвительно раскрыл неприглядную подноготную этих мрачных пророчеств:

«...На деле оказывается, что эти негры готовы работать самым усердным образом там, где дают им плату, вознаграждающую труд, и не слишком охотно берутся за работу на сахарных плантациях только потому, что тут не дают им порядочной платы... Какой ужас! Человек не хочет жертвовать для вашей выгоды своим временем в убыток себе! Этот человек ужасен! Тут поневоле припомнишь изречение одного старинного путешественника об орангутанге: «Сие животное столь свирепо, что защищается, когда его хотят убить!..» — Сии люди столь ленивы, что хотят работать за хорошую плату».



«По случаю манифеста не было выпито ни единого штофа, потому что разочарование было всеобщее и полное». Ю. Самарин

IV

5 марта 1861 года царственные обитатели Зимнего дворца и их приближенные вздрогнули от гулкого выстрела. Через несколько напряженных минут выяснилось, что это с крыши скинули снежную глыбу.

Часом позже все были встревожены воскресным колокольным звоном: не набат ли?

Выехавший на прогулку Александр II сидел в коляске бледный как полотно, несмотря на то, что негустая толпа народа нестройно кричала «ура», стоя в снегу, перемешанном с грязью.

У всех ворот торчали дворники. Многие благоразумные купцы позакрывали магазины. На перекрестках белели объявления ге-

нерал-губернатора о царском манифесте 19 февраля, «дарующем» волю крестьянам; вокруг толпились люди: слышались голоса грамотеев. По временам чтение перебивалось недоуменными вопросами или даже бранью:

— Черт дери эту бумагу! Два года — как бы не так, стану я повиноваться!

«Сегодня объявлен в Петербурге и Москве Манифест об отмене крепостного состояния, — заносил поздно вечером в свой дневник П. А. Валуев, тогда управляющий делами Комитета министров. — Он не произвел сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение слышавших и читавших преимущественно остановилось *на двухгодичном сроке,* определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. «Так еще два года!» или «Так только через два года!» — слышалось большею частью... на улицах».

В угрюмом молчании слушали крестьяне хитросплетенные словеса манифеста в церквах: им предстояло еще долгие годы нести прежние повинности и выплачивать выкуп за землю, которую они справедливо считали своей.

Известный славянофил, принимавший горячее участие в подготовке реформы, Юрий Самарин писал, что «по случаю манифеста не было выпито ни единого штофа, потому что разочарование было всеобщее и полное».

Ретивые администраторы не задумались, однако, *сочинить* несуществующее народное ликование. Каким простодушным образом это иногда делалось, можно видеть из того, что владимирский гимназист Николай Златовратский (будущий писатель), зайдя к своему приятелю, сыну чиновника, застал его за странным занятием.

«Перед ним, — вспоминает Златовратский, — лежала стопка чистой почтовой бумаги, а рядом с ней другая, в которую он складывал уже каллиграфически написанные им какие-то письма, размером от 10 до 20 строк. «Не хочешь ли помочь? — спросил он меня. — ...отцу наказано от начальства написать несколько сот благодарственных к царю-освободителю писем от имени крестьянских волостей по поводу манифеста... Ну, так понимаешь: очень просто — отец вот сочинил несколько образцов, а мне велел переписывать и, чтобы не все выходили уж очень одинаковы, поручил даже вносить и свои небольшие изменения или просто переставлять слова и фразы, только чтобы без смысла не вышло... Ну, вот тебе бумага, вот список волостей с буквы М... Качай!..»

Проработав с час в помощь товарищу, я, уходя, спросил его: «Что ж, будут их крестьянам читать на сходах?» — «Ну, вот... еще канителиться!.. Прямо целой кипой отправят в Петербург — и шабаш!»

С бо́льшим стилистическим разнообразием, но ту же, в сущности, работу исполняли угодливые или глупо-доверчивые публицисты и литераторы, в изображении которых счастливые россияне

беспрерывно обнимались и нехрипнущими голосами славили «царя-освободителя».

Посмотри: в избе, мерцая,
Светит огонек;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;
И с трудом, от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя, —

сюсюкал Аполлон Майков. А в гостиной графа Блудова московский историк Михаил Погодин читал столь же слащавую прозаическую «Грамотку», где говорилось, будто в России отныне уже нет никаких сословных различий и что, если завтра крестьянин захочет стать министром, никто и ничто ему не помеха.

Даже видавшие виды петербургские сановники поеживались, а один из них, улучив минуту, процедил другому:

— Заставь Мишку любезничать, он лоб расшибет...

Уже в апреле «мужички», столь радостно и смиренно, по мнению Майкова, слушавшие манифест, поднялись и в пензенских вотчинах Уварова и в казанском селе Бездна. Изверившиеся, отчаявшиеся, как за последнюю соломинку схватившиеся за слух о том, что подлинный царский указ «спрятали» помещики, пензенцы под красным флагом стояли против регулярных войск с беззаветной отвагой, невиданной со дней Бородина. И падали под выстрелами, последними судорожными движениями как будто гладя так и не доставшуюся им землю.

Гремели выстрелы и в Бездне, где крестьянин Антон Петров читал крестьянам «манифест», какой должен был написать, по их убеждениям, царь, если бы все было по справедливости.

«Замечательна неизменность некоторых приемов бунтующего народа, — философически заносил в свой дневник новый министр внутренних дел Валуев, прочитав доклад о подавлении волнений в Бездне с царской резолюцией: «Не могу не одобрить действий гр[афа] Апраксина». — Со времен стрелецких бунтов, сквозь Стеньку Разина и Пугачева по 1861 год одни и те же черты. Опирание зачинщиков на царские имена, обвинение властей в подложных указах, систематическое заглушение каким-нибудь «cry» [1] увещаний начальников, быстрый упадок духа при энергическом употреблении силы и т. п.».

Эти черты, которые царский министр отмечал с удовлетворением и облегчением, наполняли горечью сердца подлинных друзей народа.

В 1859—1862 годах Чернышевский вел в «Современнике» обозрение иностранных политических новостей. Это позволяло

---

[1] Криком (*англ.*).

ему прозрачно касаться аналогичных событий в самой России, размышлять о сходных исторических процессах и подмечать их закономерности.

Оспаривая радужные надежды на скорый распад Австро-Венгерской империи после ее войны с Францией в 1859 году, публицист «Современника» утверждал, что понесенное австрийцами поражение было не настолько тяжелым, чтобы полностью отрезвить народ. Естественно, что любой вдумчивый читатель примеривал этот вывод к последствиям Крымской войны для России.

«Разве в массах распространилось ясное убеждение, что подобный порядок дел неизбежен при существовании габсбургского дома? — писал Чернышевский, явно подразумевая под «габсбургским домом» монархический образ правления вообще. — Вовсе нет».

Разрозненность крестьянских восстаний весной 1861 года также не была полной неожиданностью для человека, внимательно следившего за отчаянной борьбой Гарибальди в Италии, когда за ним неотступно следовали весьма небольшие отряды, а десятки тысяч людей после недолгой вспышки энтузиазма расходились по домам.

Щедрин познакомился с Чернышевским, по-видимому, в конце 1857 или в начале 1858 года.

Взаимный интерес друг к другу боролся в них обоих с явной настороженностью. Моложавый чиновник в аккуратном вицмундире министерства внутренних дел, с упрямым, немного мальчишеским выражением лица, нетерпеливо вслушивался в какую-то неестественно оживленную, пересыпанную прибаутками и остротами, подчас довольно натужными, речь знаменитого критика. Чернышевский все время посмеивался, похохатывал и на того, кто мало его знал, производил в общем скорее неприятное впечатление.

Салтыкова раздражала эта беглая и несерьезная манера вести разговор, в которой он мог подозревать недоверие к нему, человеку, занимавшему довольно высокий административный пост.

Даже когда речь шла о злобе дня, собеседники продолжали как бы зондировать друг друга: что предпочтительней — монархия или республика, или, наконец, монархия, обставленная демократическими учреждениями? И ежели остановиться на последней форме, то какой тип монарха ей мог бы соответствовать, — ну, разумеется, теоретически?

— Как вы смотрите на великую княгиню Елену Павловну? Все-таки либералка, приятельница Милютина, еще бог весть когда по его проекту своих крестьян освобождала...

То ли взаимное мороченье головы, то ли прощупыванье: насколько решительно настроен собеседник, где кончается взаимопонимание и начинается несогласие.

Вскоре отношения еще более осложнились. Июльским утром 1861 года вместе с очередной почтой тверскому вице-губернатору прямо в кабинет принесли революционную прокламацию «Великорусс». После того как Салтыков изобличил тверского жандарм-

ского полковника Симановского в корыстолюбии, ему приходилось опасаться какой-либо ловушки от злопамятного представителя Третьего отделения. И теперь Салтыков заподозрил явную провокацию: содержание письма вряд ли могло остаться тайной для жандармского ока.

Отправившись к губернатору, графу П. Т. Баранову, Михаил Евграфович показал ему полученные прокламации и доверительно сказал, что полагал бы нужным просто сжечь их, никого о случившемся не уведомляя во избежание ненужных разговоров. Салтыков рассчитывал не только на личную честность Баранова, а и на то, что вряд ли он после истории с Унковским захочет снова обращать внимание на какие-либо «подозрительные симптомы» в своей губернии.

На случай же доноса о «сокрытии» прокламации Михаил Евграфович заручался авторитетным свидетелем.

От первой прокламации осталась горстка пепла, но в сентябре по тому же адресу прибыло десять экземпляров «Великорусса № 2». Салтыков снова прибег к прежнему средству, не зная, что губернаторам уже разослан секретный циркуляр Валуева; в случае появления прокламаций предписывалось «немедленно представлять в министерство (внутренних дел. — *А. Т.*) отбираемые экземпляры, в тех самых конвертах, в каких они были получены».

На этот раз Баранов не осмелился перечить воле начальства. И хотя отправленный им конверт был уже далеко не первым в «коллекции», собравшейся в Третьем отделении, но то, что Салтыков сам представил «по начальству» прокламации, чрезвычайно возмутило Чернышевского, который тяжело переживал арест одного из распространителей «Великорусса» — В. А. Обручева.

Собственно, только из рассказа огорченного Салтыкова и узнал кружок «Современника» о его причастности к этой истории. Салтыков примчался в Петербург объясняться и был встречен крещенским холодом своего прежде безмерно разговорчивого знакомца. С большим трудом удалось ему доказать, что в его действиях была своя логика и что он никак не мог думать, чтобы авторы прокламации распространяли ее столь наивным способом.

И все же эта история, окончившаяся гражданской казнью и ссылкой Обручева в Сибирь, разумеется, не укрепила отношений Щедрина с «Современником».

Характерно, что много лет спустя, работая над биографией своего покойного соратника, Чернышевский записал, что Салтыков «близок к Добролюбову не был и, по всей вероятности, был враждебен после его возвращения из-за границы» (Добролюбов вернулся в Петербург в начале августа 1861 года, а Обручев был арестован 4 октября).

Салтыков был очень дружен с вернувшимися из ссылки Унковским и Европеусом (последний в эпизоде с прокламацией горячо защищал Михаила Евграфовича перед Чернышевским). Эта троица оказалась вдохновительницей серьезного оппозиционного движения среди тверских мировых посредников, в задачу которых

входило урегулировать взаимоотношения помещиков с крестьянами.

Неугомонный вице-губернатор выступил в «Московских ведомостях» 11 июня 1861 года со статьей «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу».

В это время либералы славили «царя-освободителя» и осуждали «неблагодарных» крестьян.

«...Добродушный русский народ, который, по словам Погодина, встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно, начинает в разных местах проявлять свое вековое невежество и грубое непонимание закона и права, — записывает в свой дневник А. В. Никитенко. — Вчера опять тамбовский помещик рассказывал мне, что у него в имении тоже были сцены неповиновения властям: «Не хотим работать, и дай нам земли, сколько хотим». Опять принуждены были призвать солдат для растолкования им, что работать должно и что земля не вся их».

Как солдаты «растолковывают» непонятливым и невежественным крестьянам пользу правительственных мероприятий, Салтыков знал еще со времен Вятки и, оказавшись на посту вице-губернатора, всеми силами противился экзекуциям и посылке воинских команд в села, где солдатам разрешалось резать для своих котлов крестьянскую скотину и т. д.

«Я пытался усовещевать его, — писал Михаил Евграфович о губернаторе, графе Баранове, — подал даже формальную бумагу с доказательствами нелепости его действий... С тех пор Баранов встречается со мною и краснеет; краснеет и посылает команды».

В своей статье он весьма недвусмысленно обнаруживает, на чьей стороне его сочувствие. Высмеивая обвинения в «неблагодарности», Салтыков — за своей полной подписью — дал язвительную оценку произведенной реформы:

«Конечно, было бы приятно и весело слышать, что крестьяне, выслушав эту весть, оделись в синие армяки, а крестьянки в праздничные сарафаны, что они вышли на улицу и стали играть хороводы, что, проиграв кротким манером до вечера, спокойно разошлись себе по домам и заснули сном невинных, с тем чтобы на другой день вновь благонравно приняться за исполнение старых обязанностей. Но, увы! как ни соблазнительна подобного рода идиллия, едва ли, однако ж, она возможна на деле».

Что бы ни писали литературные холопы вроде Погодина, реформа требует от крестьян исполнения старых обязанностей, — яснее выразиться было невозможно.

А далее тверской вице-губернатор высказывается уже совсем «неожиданно», ставя под сомнение правильность намеченных в манифесте мер:

«Законодательство 19-го февраля на два года оставило крестьян, относительно отбывания господских денежных и смешанных повинностей, в том же положении, в каком они были прежде. Мера эта, очевидно, допущенная в видах устранения замешатель-

4*

ства в помещичьих хозяйствах, может дать повод к превратным толкованиям и в некоторых (конечно, немногих) личностях возбудить желание остаться хоть на время на прежней почве крепостного права».

Замечательно подчеркнуто здесь пристрастие к охране именно помещичьих хозяйств, которым руководствовалось правительство и которое заранее дает возможность «господам» («конечно, немногим», — иронически расшаркивается автор перед цензурой) по-прежнему драть с «освобожденных» семь шкур.

Любопытно, что знаменитый термин «превратные толкования», служивший обычно для обозначения революционных, социалистических теорий, здесь едко переадресован.

В другой статье — «Где истинные интересы дворянства?» — Салтыков предложил, чтобы помещики тоже платили государственные подати и земские повинности пропорционально количеству оставшейся у них земли, то есть выступил против сословных прав дворянства. В той же статье говорилось о необходимости немедленного выкупа земли общими силами государства, а не одних крестьян.

В декабре 1861 года собрался съезд тверских мировых посредников, а в начале следующего года — чрезвычайный губернский съезд дворянства, где приверженцы Унковского и Европеуса после острой борьбы добились принятия крайне оппозиционного обращения к царю.

В этом адресе, в составлении которого, видимо, принял участие и Салтыков, манифест 19 февраля был объявлен неудовлетворительным, провозглашалась необходимость немедленного выкупа, отказа дворян от своих привилегий и созыва «собрания выборных от всего народа без различия сословий».

Еще до начала работы дворянского съезда, 20 января 1862 года, Салтыков, который, находясь в отпуске, тем не менее остался в Твери, неожиданно подал в отставку. Он мотивировал свою просьбу домашними обстоятельствами и крайне расстроенным здоровьем. Однако быстрота, с которой она была удовлетворена, наводит на мысль, что отставка была вынужденной.

Правительство не без основания подозревало, что Салтыков не только сочувствовал, но и содействовал тверским «бунтовщикам». Недаром министр юстиции граф Панин так наставлял обер-прокурора, направленного расследовать происшедшее:

«...Вы найдете средства разузнать повернее, частным образом, кто тут может быть еще из дворян, кто были подстрекателями; они есть и легко найдутся, например: Щедрин...»

Панин ненавидел Щедрина еще со времени «Губернских очерков».

Тогда из его происков ничего не вышло, но граф Виктор Никитич ощущал, что теперь дело вполне могло обернуться иначе. Ланской и Милютин в угоду рьяным консерваторам уже сами получили отставку. Тверские мировые посредники, заявившие, что они намерены в своей деятельности следовать не правитель-

ственному «Положению», а решению своего съезда, были посажены в Петропавловскую крепость. Одиночные вспышки крестьянских бунтов погасали одна за другой. Студенческие волнения в Петербургском университете, разразившиеся осенью 1861 года, тоже улеглись, а ведь университет недаром казался многим чем-то вроде политического барометра.

Та нестойкость недавнего общественного подъема, которую, каждый по-своему, подметили Чернышевский, Добролюбов и Щедрин еще в разгар всеобщего опьянения либеральными разглагольствованиями, теперь начинала ощущаться многими.

Характерную эволюцию проделывал, например, редактор газеты «Наше время» Николай Филиппович Павлов. Сначала — антикрепостнические повести, громкие речи о наступивших с воцарением Александра II новых временах. Как остроумно высмеивал он тогда стремление ограничиться заменой «плохих» чиновников «хорошими», которые, дескать, подадут своей честной службой пример остальным! «Нужно только побольше гг. Надимовых, которые *в себе показывали бы образец,* — язвительно писал он про ходульного героя пьесы Соллогуба «Чиновник», — другие станут подражать образцам, как это всегда водилось в истории, пленятся красотами добродетели, и все уладится к общему удовольствию... Нет, приглашенье исправиться и действие примером принадлежат к идеям той нежной эпохи, когда думали, что стоит дать ребенку пропись с добродетельными изречениями и ребенок, узнав, что терпения корень горек, а плоды его сладки, вырастет непорочен и будет терпелив».

Но вот Николаю Филипповичу пришлось столкнуться с недовольством собственных крестьян в Рязанской губернии, и он немедленно запросил самого решительного вмешательства властей, вплоть до того, что потребовал высечь даже семидесятилетнего «смутьяна».

Естественно, что, оказав господину Павлову услугу, власти захотели от него ответной. Он не нашел в себе силы отказать настойчивым благодетелям и в один прекрасный день стал редактором газеты, находящейся на содержании у правительства. Впоследствии остроумный поэт В. С. Курочкин прозрачно намекнул в своем сатирическом журнале «Искра» на продажность павловской газеты:

Купить ее очень легко,
Зато уж читать невозможно.

Куда более элегантно, сохраняя видимость независимости и самостоятельности, совершил поворот на новый курс другой «либеральный» издатель — Катков. Вслед за Чичериным он все чаще стал заводить речь о том, что «в наше время нужно несравненно более мужества, чтобы противодействовать увлечениям общественного мнения, чем потворствовать ему...». В истерически-кликушеском тоне он писал, что «несколько господ, которым нечего делать, несколько человек, неспособных контролировать

свои собственные мысли, считают себя вправе распоряжаться судьбами народа с тысячелетнею историей».

«Бедный тысячелетний народ, за что тебе такое унижение?» — возглашал он, становясь в позу защитника народных интересов, а осмелев, во всеуслышание заявил даже: «Мы не отказываемся от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек...»

Сказано — сделано: в июне 1862 года «Московские ведомости» открыли злобную кампанию против Герцена и его друзей.

В разных направлениях работала мысль людей, которые были в действительности озабочены судьбой миллионов русских тружеников.

Салтыков с Унковским и Европеусом пытаются осуществить издание нового журнала «Русская правда», целью которого считают «утверждение в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельного же сознания естественно проистекающих отсюда прав».

Пусть народ, рассуждают они, встанет на ноги, соберется с силами, избавится от наиболее неблагоприятных условий, мешающих ему сегодня, а уже потом задумывается об отдаленных идеалах общественного устройства.

Этому мешает, по их мнению, не столько противодействие «лагеря стариков», сколько «недостаток единодушия и полное отсутствие дисциплины в различных оттенках партий прогресса, образовавшихся в последнее время в русской литературе и русском обществе».

«Русскую правду» хотят издавать в Москве, где живет Унковский, которому министр внутренних дел запретил вести крестьянские дела в суде как чересчур страстному «мужицкому адвокату». Удобно это и Салтыкову: он только что купил под Москвой имение Витенево.

Внимательно перечитывает Чернышевский проект программы журнала, присланный ему Салтыковым с просьбой высказать свои замечания и посильно сотрудничать в «Русской правде». После смерти Добролюбова Николай Гаврилович особенно нуждается в союзниках; Некрасов прошлой осенью, вернувшись с охоты, уныло сказал: «Ничего, батенька, в деревне не будет, и не ждите», — и захандрил; зато молодые сотрудники «Современника» публицист Г. З. Елисеев и критик М. А. Антонович таинственно перешептываются и носятся с фантастическими планами:

— Николай Гаврилович имеет влияние на студентов, пусть найдутся из них триста охотников, нападут на Гатчину, захватят наследника и, имея его заложником, потребуют от царя конституции.

Николай Гаврилович невесело посмеивался в ответ на приставания заговорщиков. А прочитав прокламацию, которую выпустил от лица «Молодой России» московский кружок Заичневского, уже не на шутку рассердился.

Превосходно! Значит, существует Центральный революционный комитет, видать, располагающий огромными силами, раз он грозит всем, кто не присоединится к революции, что они будут рассматриваться как враги и «всеми способами» истребляться! Отлично! Самый распрекрасный способ действий — мистификация, преувеличиванье своих сил, да еще запугивание, угрозы вместо убеждения. Как соскучилась по нему Россия! Да такими аргументами можно лишь оттолкнуть колеблющееся общество! Тут каждый шаг обдумываешь, а являются люди — причем, наверное, хорошие, восторженные люди, из тех, кто бестрепетно всходит на эшафот, — и с самыми лучшими намерениями компрометируют дело.

Вот Салтыков осторожен, это действительно. Но что за этой осторожностью? А вдруг это начало попятного движения? Вот уж и «отдаленные идеалы» отступают на второй план. У Антоновича все просто; он сразу выпалит: ренегатство! Это, конечно, тоже не довод. Авторы письма не без основания указывают на вынужденную «скромность» своей программы:

«Мы имеем полный повод думать, что время, в которое мы живем, как нельзя более благоприятно для осуществления тех скромных целей, которые мы себе предположили» — то есть неблагоприятно для иных...

В свое время Николай Гаврилович подумывал о тактическом союзе со всеми противниками крепостничества: приветствовал «Русскую беседу» и успехи «Русского вестника», изъявлял удовлетворение, что журнал «Библиотека для чтения» перешел в руки Дружинина, хотя тот был яростным противником литературных взглядов Чернышевского.

«...спор возможен только об отвлеченных и потому туманных вопросах, — писал он тогда. — Как скоро речь переносится на твердую почву действительности... коренному разногласию нет места... все хотят одного и того же».

Это, конечно, похоже на программу «Русской правды», но ведь с тех пор, как он написал эти слова, прошло без малого шесть лет и глубокие трещины раскололи предполагавшийся союз.

На что уж, казалось, близкий человек — Герцен, но как жестоко разошлись они с покойным Добролюбовым, когда тот высмеял обличительные корреспонденции и рассказики, наводнившие русскую печать после «Губернских очерков» и изображавшие главным злом всего лишь нерадивых и корыстолюбивых чиновников! Пришлось ехать в Лондон, резко говорить с недавним кумиром Добролюбова и расстаться во многом несогласными. Любопытно, что сам Щедрин оказался на стороне «Современника» и написал очерк «Литераторы-обыватели», где с неслыханной резкостью определил возможный результат соединенных усилий мелкоплавающих обличителей: прежняя дырявая российская изнанка «заменится, хотя и неизящною, но зато несокрушимою подкладкой из арестантского холста».

«Извините меня, Корытников, — обращается он к своему герою-корреспонденту, — но мне кажется, что вы скользите по

поверхности; вы только подозреваете, что есть где-то, в окрестностях ваших, болото, но где оно и какого оно свойства — это тайна, которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть». Все герои обличительной литературы, которые казались ей ответчиками, в толковании Щедрина оказывались теми самыми производными персонажами, о которых в пословице сказано: «было бы болото, а черти будут».

А разве с одним Герценом развела жизнь за последнее время? Года два назад на заведенных у Чернышевского вечерах собиралось самое разнообразное общество: молодые и старые литераторы, ученые, профессора университета и военной академии, офицеры, врачи. А теперь «журфиксы» опустели, и жена очень этим огорчается.

Сам Щедрин недавно напечатал в «Современнике» очерк «К читателю», где требовал не раздавать рукопожатий направо и налево:

«Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже брезгливость, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем».

Разумеется, вряд ли Щедрин является единоличным творцом программы журнала; можно даже предположить, что места, которые противоречат его собственным очеркам, суть результат компромисса с Унковским или другим тверским либералом, пожиже, Головачевым, или прекраснодушным бывшим петрашевцем, поэтом Плещеевым.

Что ж, во всяком случае, Николай Гаврилович напишет Щедрину о своих сомнениях, а, может быть, даже встретится с ним, тем более что в редакции «Современника» лежит новый очерк его — «Каплуны», тоже вызывающий замечания.

Рядом с веселыми «каплунами настоящего», которые охотно мирятся с действительностью, в этом очерке возникают угрюмые «каплуны будущего». Они брезгливо взирают на современность, не дающую почвы для осуществления их «готовых идеалов»: прикосновенье к нынешней жизни, дескать, может только замарать честного человека; надо замкнуться в своих идеалах и жить будущим.

«Но ведь надо же понять, — восклицает автор, — что запереться — значит добровольно обречь себя на нравственное и политическое самоубийство, значит добровольно отказаться от всяких надежд на осуществление идеалов. Очевидно, что это плохая услуга даже тому делу, которому мы претендуем служить. Как бы ни было прекрасно будущее, но не сделается же оно само собой, но и оно должно быть результатом соединенных усилий».

В поисках жизненного дела Щедрин допускает даже «воровской образ» действий, разыгрывание «роли ложного друга» по отношению к торжествующему злу. И как ни приучен Чернышевский к всевозможным изворотам мысли в предвиденье цензурных

препон, но на этот раз авторская мысль сама по себе не отличается четкостью и может дать повод для кривотолков.

«Мне кажется, что Вы придаете «Каплунам» смысл, которого они не имеют, — оборонялся Щедрин в ответном письме (29 апреля 1862 года). — Тут дело совсем не об уступках, а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства. Эту же самую мысль я провел в имеющейся у Вас программе предполагаемого нами журнала».

Чернышевский убедил-таки Щедрина сделать в «Каплунах» некоторые исправления, но потом очерк был запрещен цензурой.

Испокон веку свирепствовали на Руси пожары. Свежие пепелища сопровождали Салтыкова по дороге в Вятку; наталкивался на недавние следы опустошающей стихии И. С. Аксаков. «...Во Владимире... видел только пепелище после пожара, от которого сгорело 32 дома, — писал он родным. — ...Тут же, кстати скажу, что выгорела Корсунь, вся; сгорел Алатырь, и в Самаре сгорело также около ста или более... домов».

Огнебоязнь дошла до того, что в 1849 году правительство запретило пользоваться спичками. «Знающие люди» пытались совладать с пламенем, бросая в него крашеные пасхальные яйца; ретивые градоначальники секли «дерзких критиканов», осмеливавшихся подавать им советы во время тушения пожаров. А огонь гулял себе да гулял по русским городам и селам.

«Судно наше причалило к городу, — рассказывала Л. П. Шелгунова о своем посещении Самары, — еще местами дымившемуся. Это была громадная черная площадь с торчащими кое-где изразцовыми печами».

Доведенные до отчаяния дворовые жгли своих господ. Сосланный в Саратов историк Костомаров был свидетелем, как в 1854 году стала поджигательницей девочка, зверски избитая помещицей.

Четыре года спустя царский поезд, возвращавшийся из Петербурга в Москву, долго проезжал через местности, сильно пострадавшие от летних пожаров и кое-где еще продолжавшие гореть. Даже в Петербурге благодаря обилию деревянных домов и отсутствию водопроводов огонь был довольно частым бедствием.

«О саратовских пожарах мы прочли в газетах несколькими днями раньше, чем услышали от Вас, — пишет Н. Г. Чернышевский родным 16 августа 1860 года. — ...У нас в начале августа также были многочисленные пожары, тем более странные, что погода в это время стояла уже дождливая».

Пожары, вспыхнувшие в столице в конце мая 1862 года, были необычайно сильны. Однако ущерб от них далеко уступал тем бедствиям, какие принесла русскому обществу развязанная правительством кампания против «поджигателей». Опрометчивые обмолвки прокламации, изданной «Молодой Россией», грозившей прави-

тельству революционным террором, позволили реакции свалить вину на революционеров. Всюду возникали и услужливо подхватывались прессой слухи о якобы пойманных поджигателях. Народу усердно внушалось, что пожары — дело рук студентов, выступающих якобы в защиту крепостного права.

В разгар пожаров на Мытной площади состоялась публичная гражданская казнь В. А. Обручева. Из толпы, окружавшей эшафот, на «преступника» обрушился град угроз и оскорблений: озлобленные, напуганные, лишившиеся последнего имущества люди отводили душу, требуя, чтобы вместо ссылки на каторгу ему тут же отрубили голову, или отстегали кнутом, или хоть повесили на позорном столбе вниз головой как государева ослушника. Дикий взрыв хохота раздался на площади, когда на Обручева надели арестантскую одежду и шапку, спускавшуюся ниже глаз.

Сцепив руки, Чернышевский молча слушал рассказ очевидцев. Он знал, что на этом дело не остановится.

Правительство получило долгожданный повод для выступления «на защиту общественного спокойствия». Механизм реакции был Николаю Гавриловичу достаточно хорошо известен:

«В самом деле, чего нельзя оправдать под предлогом охранения порядка, и какие меры из всех, кажущихся стеснительными в глазах просвещенного человека, не представляются нужными для охранения общественной безопасности людям менее просвещенным? Реакция всегда являлась для поддержания общественной безопасности».

Со всех сторон раздаются требования строжайшего следствия, причем газеты правительственного толка уже высказываются о его результатах как о деле решенном. «Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана», — утверждает московское «Наше время» и даже передает слухи о том, что обсуждается, не ввести ли пытки при следствии о поджогах.

Бумаги, захваченные при аресте мнимых поджигателей, подвергаются самому пристрастному толкованию. Запись в дневнике одной гувернантки: «Пожар имеет в себе что-то революционное. Он смеется над собственностью, нивелирует состояния» — обрадовала следователей как драгоценная находка, и «поджигательница» была сослана в Холмогорский женский монастырь. Естественно ждать, что такая придирчивость будет перенесена и на литературу, которая и без того не могла жаловаться на недостаток цензорского внимания.

Нетрудно предсказать, что, получив широкие полномочия для «предотвращения беспорядков», власть не будет торопиться отказываться от них даже тогда, когда обстоятельства изменятся. К этому выводу Чернышевский пришел, изучая труды историков, будь они даже такие умеренные, как Б. Н. Чичерин; жизнь почти каждого народа доказывала, что «власть стремится к всегдашнему удержанию объема, приобретенного по поводу скоропреходящих обстоятельств».

При виде сгущавшихся туч лагерь «прогрессистов», и прежде разнородный и непрочный, заметно поредел. Трусливо спеша укрыться от заходящей грозы, либеральные дезертиры скорбно покачивали головами и во всем винили «Современник» и Чернышевского, которые заняли, дескать, такую крайнюю позицию, что напугали, ожесточили правительство и столкнули его с пути реформ на путь реакции. Это Чернышевский сбил Россию с пути правильного, законного развития и снова вызвал в ней господство произвола! — зловеще вещал Б. Чичерин, сетуя, что «разумный консерватизм исчез, нигде не найдя опоры», и сменяется надвигающейся реакцией. Как давно раскусил Николай Гаврилович этих слепцов, кажущихся самим себе хитрецами!

«Реформаторы, надеющиеся обратить реакционеров в прогрессистов, думают, что именно только вражда революционеров, а не инстинкт собственных выгод восстановляет реакционеров против реформ, и за то преследуют революционеров, как людей, вредных делу реформы».

В пору погордиться тем, с какой точностью выражали эти слова, написанные три года назад о Европе, нынешнее положение вещей в России. Но неужто история для большинства навсегда останется неразрезанной книгой, по которой не учатся и из-за этого снова и снова попадают в беду? Неужто это какой-то порочный круг?

Как из него вырваться? Как достучаться до народа? Прокламацией «Барским крестьянам...», где крестьян предостерегают от напрасного распыления сил и советуют им ждать сигнала? Но какова-то будет ее судьба после того, как она, наконец, сойдет с типографского станка этого жалкого и... странного Всеволода Костомарова? (Чернышевский еще не подозревает, что имеет дело с провокатором.)

Кто подаст сигнал, когда думающие об этом люди еще только собираются в кружки, еще спорят о методах, еще робко вербуют сторонников, а противник оправился от недавней растерянности и уже трубит сигнал к наступлению? Не проиграна ли эта битва до ее начала? После недавних вспышек крестьянство то ли приуныло, то ли поуспокоилось, присматриваясь к тому, чем обернется реформа: авось хуже не будет.

Большая война не проиграна. И в России и в Европе — нигде вся народная масса еще не принимала самостоятельного, деятельного участия в истории. Это неисчислимые резервы, но когда-то подойдут они к полю сражения? А пока авангард погибает. Издание «Современника» и родственного ему журнала «Русское слово» приостановлено. Шахматный клуб, место писательских сборищ, и воскресные школы закрыты.

Его собственная судьба, видать, тоже решена.

— Такой талантливый! — сокрушался в разговоре с кем-то государственный секретарь Бутков. — Притом такое влияние на молодежь. Правительство, конечно, не может терпеть этого.

И поздно ночью 7 июля в квартире Чернышевского появляется

приземистый, с изрытым оспой, корявым лицом жандармский офицер. Это поистине историческая личность — полковник Ракеев. Какая честь, или как там поется у Беранже? Господин Ракеев сопровождал гроб Пушкина в Святые горы, он производил обыск у поэта М. Л. Михайлова, сосланного в Сибирь за составление революционной прокламации, — знаток, покровитель, так сказать, литературы. Маленькие светло-серые зрачки, почти слившиеся с воспаленными от трудов белками, зорко оглядывают позднюю компанию.

— Милости прошу, — с насмешливым покашливанием приглашает его в свой кабинет Чернышевский, раскланиваясь с засидевшимися гостями. Они снова увидят его лишь издали, через два года, когда Николай Гаврилович взойдет на эшафот, чтобы над ним совершили обряд гражданской казни перед отправкой в Сибирь.

В тот же вечер был арестован и Николай Александрович Серно-Соловьевич, эта «живая прокламация», как его метко окрестили, — один из организаторов тайного общества «Земля и воля».

«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно пора с ним разделаться», — ликует великий князь Константин, славившийся своим «либерализмом».

Что же делает бывший тверской вице-губернатор, находившийся с Некрасовым и Чернышевским в не столь уж дружелюбных отношениях, когда над кружком «Современника» и самим журналом разразилась такая беда, когда вчерашние либералы одобряли правительственные меры, как это сделал К. Д. Кавелин, вполне уверовавший в существование поджигателей и писавший Герцену, что аресты его не удивляют и не кажутся ему возмутительными?

Осенью в «осиротевшей» редакции крамольного журнала, составившейся из Некрасова, Антоновича, Елисеева и Пыпина, появляется новый сотрудник.



«...Толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорощень его! хорошень его!»
М. Е. Салтыков-Щедрин «К читателю»

V

«1862 год совершил многое, — вспоминал Щедрин через несколько лет, — одним он дал крылья, у других таковые сшиб». У одних «вытянулся язык в целую версту» и превратился в нечто вроде осьминожьего щупальца, тянущегося к намеченной жертве; у других он начал явным образом присыхать к гортани.

Еще в 1861 году были возможны наивные увещевания не пользоваться полемическими приемами, которые могут повлечь за собою в условиях России политическое обвинение противника.

«Вы с вашим христианским православным воззрением имеете изъясняться прямо, смело, вразумительно. А Чернышевский должен будет перед вами лавировать, увертываться, — укоризненно пи-

сал Н. И. Костомаров издателю славянофильской газеты «День» И. С. Аксакову. — Для вас доступно всякое оружие, для него — нет! Если же вы начнете развертывать все папильотки, в которые завернуто то, что подается им почтеннейшей публике, то результат выйдет тот, что Чернышевского посадят в крепость либо сошлют в Вятку, как проповедника безбожия, социализма, революции, а вам дадут орден за разоблачение зловредного учения».

Однако консервативная пресса чем дальше, тем больше избавлялась от остатков стыдливости, смело вызывая противников на «открытое ратоборство», лицемерно возмущаясь тем, что они медлили принять «благородный вызов», чтобы не попасть в ловушку.

Со всех сторон обставленные цензурными запрещениями, подстерегаемые многочисленными, чересчур внимательными «читателями», прогрессивные русские литераторы оказались в трудном и опасном положении. Многие поколебались или, во всяком случае, отступились от продолжения печатной разработки насущнейших вопросов жизни. Салтыков же едва ли не в эту пору, подстегиваемый яростным желанием не уступить поля боя напирающей реакционной своре, кинулся в самую гущу схватки. Можно было подумать, что именно это и предрек ему священник, крестивший новорожденного младенца Михаила, сказав:

— Воин будет!

То, как прорывался он сквозь цензурные путы, невольно заставляло вспомнить рассказ про узника, который смиренно попросил водицы испить, а потом нырнул в принесенный ковшик, да и был таков.

На самом же деле трудно даже себе представить, чего ему стоили эти схватки с цензурой. С горьким юмором говорит он о том, что писательская мысль всегда должна развиваться с оглядкой, «чтобы ни один слишком любознательный читатель не мог сказать: а-а! да ты вот откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому читателю ответить: нет, ты клевещешь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю!»

В первом же вышедшем после восьмимесячного перерыва номере «Современника» (№ 1—2 за 1863 год) Салтыков выступил и под своим обычным псевдонимом «Н. Щедрин», и под фамилией «К. Гурин», и как автор нескольких статей, заметок и рецензий, оставшихся без всякой подписи.

По отзыву Гончарова, в течение всего этого года щедринские статьи были «цветом», украшением журнала. Даже часто ожесточенно полемизировавший с сатириком на страницах «Времени» философ Николай Страхов замечал, что «если кто читался из петербургских писателей и публицистов, так именно г. Щедрин» и что «щедринские фельетоны имели в тот достопамятный год величайший успех».

Начиная публикацию периодических очерков «Наша общественная жизнь», Щедрин сразу же встал на защиту молодого поколения, которое обвинялось в том, что оно заражено предосу-

дительными теориями. После появления в 1862 году романа Тургенева «Отцы и дети» реакционеры восторженно подхватили словцо «нигилист», равносильное в их устах «революционеру», «смутьяну» и «цинику». Сам автор нашумевшей книги был поражен, когда, вернувшись из-за границы, услышал от знакомого генерала:

— Что это ваши нигилисты делают — Петербург жгут!

Лишь немногие из радикально настроенных литераторов, вроде Д. И. Писарева, не видели в Базарове клеветы на молодое поколение, прощая автору неточности и преувеличения за то, что нарисованный им характер все-таки привлекал к себе силой и последовательностью убеждений.

Большинство негодовало на неприглядное, по их мнению, изображение Базарова; в значительной мере это произошло потому, что эксцентрические поступки и высказывания тургеневского героя реакционная журналистика широко использовала для компрометации всего прогрессивного лагеря, материалистического мировоззрения, тяготения молодежи к естественным наукам и т. п.

Салтыков тоже негодовал на Тургенева, считая появление его романа «страшной услугой» реакции и находя вполне естественным, что его печатал именно катковский «Русский вестник».

Сатирика раздражала бестолковая смерть Базарова от заражения крови: «...такого рода люди погибают совсем иным образом, — утверждал он в статье «Современные призраки» (1864 год). — Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей».

«Случай» на языке Щедрина — это вмешательство в человеческую жизнь «случайного» (то есть не признаваемого им законным и лежащего на жизни тяжелым бременем) порядка вещей. Это «волшебное» исчезновение человека из своей квартиры и водворение в Вятку, Пермь, Сибирь.

Спустя несколько лет, упомянув о Тургеневе в одном из писем, он едко переиначил известные стихи:

Сей старец дорог нам; он жив среди народа
Священной памятью...
Шестьдесят второго года.

«Стиха не выходит, но верно», — заметил он в заключение.

В «Нашей общественной жизни» Салтыков ловко парировал удары, которыми осыпали передовую молодежь консервативные журналисты, испускавшие нескончаемые вопли об угрожающих обществу «нигилизме» и «мальчишестве»:

«...«Благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова фармазон и вольтерьянец. Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись как назвать;

теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты...»

Неотступная логика автора вела читателя к выводу: разглагольствования о вреде «нигилизма», «отрицательного направления» порождены недовольством, что «отрицатели» обнаруживают гнилость существующих порядков.

Щедрин и сам проделывал ту же работу. Его статья «Современные призраки» доказывала бессодержательность и лицемерие многих «краеугольных камней» господствующей морали.

«Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми, — писал Щедрин. — Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности».

«Современные призраки» даже в более либеральные времена не могли бы появиться в печати, но сатирик опубликовал в «Современнике» очерк «Как кому угодно», где ему удалось высказать квинтэссенцию своих мыслей, нарисовав картину дворянской семьи, в которой под личиной семейного согласия царят взаимное отчуждение и ненависть:

«Все эти лица смотрят на природную связь, их соединяющую, как на что-то горькое, почти несносное; все только и ждут минуты, когда можно будет эту связь порвать! А между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенички: что, такое союз семейственный? Марья Петровна ответит: как, батюшка, уж ты этого-то не понимаешь! Сеничка же скажет: семейственный союз — это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень!»

Разумеется, подобное стремление к анализу истинного содержания «незыблемых» понятий не могло быть одобрено в самодержавном государстве: кто его знает, на чем остановится мысль сочинителя, вдруг он от семьи — этого «зерна союза гражданского» — перейдет к самому государственному древу и поставит под сомнение искренность согласия между «отцом народа» и его «любящими детьми»? В писаниях Щедрина начальству всюду чудятся намеки, острая мысль. И за ней, как за шмелем-Гвидоном в пушкинской сказке, гоняются цензоры.

Все кричат: «Лови, лови
Да дави ее, дави...»

Черт ее знает, настоящая это лошадь или какой-то проклятый оборотень в одной из статей Щедрина:

«А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» — беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке Мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и

ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?)...

Лошадь — животное глупое и легковерное. Сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения...»

До чего здесь все подозрительно: и эпитет «обожаемый», который в газетах постоянно соседствует со словом «монарх», и неуместный по отношению к глупому животному пафос, и странное выражение «всякого рода извозчики»...

Провожаемая долгими подозрительными взглядами, добирается мысль к читателю, а там, словно очутившись после мороза в тепле, начинает сбрасывать с себя сковывающую ее одежду и является в своем подлинном обличии.

Ненависть к «отрицанию» — это стыдливый псевдоним мыслебоязни вообще, ненависти застоя к тому, что угрожает его нарушить. Послушать ретроградов, так это «мальчишки» и «нигилисты» породили все то зло, которое на самом деле только при их помощи общество и осознало как зло. Клевещут на «нигилистов» и вчерашние либералы, отступники, с завистью и недоброжелательством ощущающие в «мальчишках» утраченные ими самими задор и жажду справедливости.

«Под этим словом, — писал Щедрин о «мальчишестве», — подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста!..»

Не только здесь, но и во всей хронике «Наша общественная жизнь» писатель изобличал и осыпал сарказмами этих «близнецов», издававших сначала «Русский вестник», а с 1863 года и газету «Московские ведомости». Борьба с ними была очень опасной, потому что с началом польского восстания 1863 года Катков полностью порвал даже со своим прежним трусливым либерализмом и стал, по собственному выражению, «государственным сторожевым псом, охраняющим достояние хозяина и чующим, если в доме что-нибудь не ладно». И действительно, ожесточенный, захлебывающийся, остервенелый лай понесся со Страстного бульвара, где находилась редакция «Московских ведомостей».

Как ищейка, которой нужно только раз втянуть запах преследуемого, чтобы кинуться в погоню, Катков не затруднялся чтением статей своих противников. Он довольствовался слушанием их в пересказе, просил отчеркнуть те или иные пункты и знакомился только с ними. После этого он ночью с остановившимся взглядом диктовал статьи секретарю, и временами казалось, что у него на губах клубится пена, как у бешеной собаки. В такие минуты с его уст слетали особенно забористые выражения о «вольноотпущенных сумасшедшего дома» — Герцене с Огаревым — и о «не менее диких явлениях во внутренней русской литературе».

Помещики читали его со все возрастающим восторгом: еще бы, ведь «Московские ведомости» утверждали:

«Повсюдный опыт свидетельствует, что земское дело должно находиться в руках значительных собственников, поставленных так, чтобы они могли быть представителями всех сословий земства».

Выставляя себя независимым публицистом, Катков дозволял себе даже своего рода грубость, точнее говоря — «лесть в виде грубости», как ядовито подметил Щедрин. Он то и дело бил в набат и укорял правительство в... попустительстве революционерам, поджигателям, нигилистам.

Польское восстание позволило ему развернуться во всем блеске своего погромного дарования.

Катков изображал происшедшее как результат ослабления власти и под рукой намекал на необходимость усилить административный нажим и в России:

«Да, когда над этим краем тяготела строгая и крепкая рука, он был спокоен; стесненный во всех отправлениях своей общественной жизни, в своем языке, в своих национальных обычаях, управляемый вооруженной силой, без всяких видов на национальную самостоятельность, он был спокоен...»

Он кривлялся и гаерствовал, бесстыдно уверяя, что «только сами поляки виноваты в том, что русские, скрепя сердце, принуждены биться с ними, чтоб отбиваться от них, и властвовать над ними, чтобы спасаться от их властолюбия».

Он злобствовал по поводу сочувствия, которое вызвала неравная борьба повстанцев у революционеров разных стран, и рисовал людей, готовых отправиться на помощь полякам, как каких-то наемных ландскнехтов; им якобы «решительно все равно, за кого бы ни сражаться, лишь бы только против общественного порядка».

Катков провозгласил необходимость «организации патриотизма», в елейных тонах распространяя сообщения о манифестациях населения в поддержку действий против Польши, пугал обывателей вздорными сообщениями о польских интригах внутри России и намекал на причастность к этим интригам прогрессивной русской журналистики.

Его намеки подхватывал и развивал Леонтьев, названный одним из современников «художником клеветы». Этот маленький горбун с четырехугольным бледным лицом обладал бульдожьей хваткой. Холодные карие глаза впивались в противника, ища в его натуре, жизни, интимных отношениях что-либо позволяющее забросать его грязью, а жесты, которыми Леонтьев сопровождал трудно идущие изо рта слова, походили на движенья лап паука, расправляющего клейкую паутину.

«Придет время — не «отцы» так «дети» оценят тех трезвых, тех честных русских, которые одни протестовали — и будут протестовать против гнусного умиротворения, — писал Герцен Тургеневу в 1864 году. — Наше дело, может быть кончено (речь идет

о падении популярности «Колокола». — *А. Т.*). Но память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, — останется... Мы спасли честь имени русского...»

По справедливости Герцен должен был бы разделить эту заслугу со Щедриным, который, несмотря на все цензурные препоны, как только мог противился шовинистическому разгулу, захлестнувшему русское общество.

Когда появилось верноподданническое заявление от имени московских студентов, Щедрин, лишенный возможности прямо высказать свое отношение к нему, пустился на хитроумный разбор языка, каким оно было написано.

Авторы заявления возвещали, что им «дорога честь и величие России», а Щедрин делал невиннейшее грамматическое примечание:

«...Следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют два понятия отдельные, а потому и относящееся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе».

Это был явственный намек на то, что «честь» страны совсем не совпадает с ее «величием», понимаемым в смысле могущества самодержавной империи.

Процитировав пространный и велеречивый отрывок, начинавшийся словами: «Всякий поднимающий меч на Россию есть враг ее, враг Русского народа...», Щедрин рекомендовал заменить его одной фразой: «как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам его императорского величества».

«Это будет ясно, вразумительно, и при том нисколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить», — писал Щедрин, «ясно и вразумительно» говоря, что польские повстанцы — совсем не враги русского народа.

Конечно, многие подобные ухищрения предотвращались цензурой; она изъяла, например, из майского раздела «Нашей общественной жизни» за 1863 год отрывок, посвященный неразумному желанию турецкого султана (то есть русского царя) удержать некие бесплодные (для него) «скалы в Европе», жители которых с ним на ножах. Однако иногда цензуре формально не к чему было придраться, и тогда, скажем, в статье «Драматурги-паразиты во Франции» можно было прочесть о некоем австрийском журналисте, чьи рассуждения о Венеции, пытающейся освободиться из-под ига Австрии, совершенно совпадали с катковскими.

Страстное слово в защиту борцов за свободу пробивалось к сердцу многих читателей.

«Я бы хотела теперь быть полячкой и с чистой совестью от всего сердца биться за родную землю», — записывает в дневнике Елена Андреевна Штакеншнейдер, а о «Современнике» отзывается прямо-таки с нежностью: «Отрадный журнал. Единственный не портящий кровь. Единственный честный, единственный добрый».

Польское восстание не оказалось полностью бесплодным.

Чтобы предотвратить движение крестьянства, царское правительство поручило Н. А. Милютину провести в Польше аграрную реформу более кардинального свойства, чем это было в России.

Но для русского общества результаты польского восстания были того же рода, что и последствия революции 1848 года, услышав о начале которой историк С. М. Соловьев озабоченно предрек: «И достанется же нам из-за этой революции!»

«Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, — писал Щедрин, — но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратимое прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...»

Говоря о «фальшивом и бесплодном направлении», Щедрин имел в виду бесстыдную спекуляцию на патриотических чувствах, с которой он впервые по-настоящему столкнулся во время Крымской войны.

Попытка отождествить интересы русского народа с интересами царизма и правящих классов, выдать официальную прессу за голос народа; патриотическое горлопанство, стремление заглушить любое критическое замечание воплями о бесплодном критиканстве — все это вызывало желчную отповедь Щедрина.

«Поднимается общий гвалт, — писал он в статье «Драматурги-паразиты во Франции», рикошетом задевая и своих собственных противников, — являются публицисты, которые знать ничего не хотят; являются беллетристы, которые знать ничего не хотят; все сыты, все накормлены, все пляшут, потому что нет ниоткуда отпора, потому что высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон...»

Всякое исследование, которое затрагивало какие-либо неприглядные стороны русской истории, государственной жизни, народного быта, объявлялось оскорбительным для народной чести, а самое бесстыдное, белыми нитками шитое, но соответствующее видам начальства голословное утверждение встречало благосклонный прием.

Министр внутренних дел П. А. Валуев желал, чтобы литература говорила не минорным, а мажорным тоном, и отзывчивые чиновники, сочинявшие обзор «различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие», не преминули отметить, что «в произведениях Щедрина нигде не заметно никакого *идеала* и ничего положительного».

Изничтожая Герцена, «независимый» Катков тоже возмущался чисто отрицательным характером критики отечественных порядков... и в то же время обвинял издателя «Колокола» в желании устроить в России пробу своих социалистических теорий!

Все, что еще недавно кичилось самостоятельностью и выставляло на вид оттенки во мнениях, теперь, как будто влекомое центробежной силой, сливалось в одну неприглядную массу.

Вчерашний эмансипатор Кошелев, враждовавший в качестве славянофила с «англоманом» Катковым, теперь совсем в духе «Московских ведомостей» обрадованно хлопал себя по ляжкам:

— А Муравьев хват! Вешает да расстреливает, дай ему бог здоровья!

В 1862 году либеральный публицист «Отечественных записок» С. С. Громека еще чувствовал себя головой выше Каткова, писавшего о Герцене, «комфортабельно проживающем за морями»: «Он не пойдет в Сибирь; но зато он будет встречать и провожать рукоплесканиями этих бедных актеров, которые разыгрывают его штуки на родине...»

Но не прошло и года, как Громека обратил катковский прием против «Современника»:

«О, как легко говорить и писать о самопожертвовании и как трудно выполнять самому написанное!.. Пред нашими глазами юноши, полные жизни, сотнями плетутся по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири, — а мы, спокойно покушав у Палкина, утешаем свою совесть тем, что эти жертвы — неизбежное явление во время поднимающейся волны событий».

Нужды нет, что Чернышевский томится в Петропавловской крепости, что Добролюбов в могиле, что Михайлов, автор статей о женском вопросе, «разглагольствованием» о котором возмущается Громека, на каторге, откуда уже не воротится, как и Н. Серно-Соловьевич, что на каторге и Обручев! «О, как легко говорить и писать о самопожертвовании...»

В «Нашей общественной жизни» Щедрин несколько раз иронизировал по поводу того странного положения, в которое поставили себя русские консервативные и либеральные публицисты:

«Все они, в сущности, желают одного и того же, и в то же время все без изъятия враждуют между собой. Все желают, чтобы Россия благоденствовала, чтобы доверие между управляющими и управляемыми не прерывалось, чтобы правда царствовала в судах, чтобы войска были победоносны и чтобы журналы, в которых они принимают участие, приобретали все больше и больше подписчиков...»

Трудно было ехидней охарактеризовать истинно верноподданнический характер этих «идеалов», которые подразумевали и подавление польского восстания «победоносными войсками», и полное согласие между «управляющими» помещиками и «управляемыми» крестьянами, и собственную выгоду (увеличение числа подписчиков).

Любопытно, что эта пародия на громкие фразы в какой-то мере могла послужить образцом для болтовни, которой докучает всем помпадур Митенька Козелков («Она еще едва умеет лепетать».).

«Вы поймите мою мысль, — твердит он. — Я чего желаю? Я желаю, чтобы у меня процветала промышленность, чтоб священ-

ное право собственности было вполне обеспечено, чтоб порядок ни под каким видом нарушен не был и, наконец, чтобы везде и на всем видна была рука!»

Находя десятки поводов для споров о каком-нибудь «ничтожном фестончике», высмеянные Щедриным журналисты симулировали общественную активность, на самом деле все более суживавшуюся. Ожесточение же их друг против друга часто бывало совершенно непритворным. Это во многом объяснялось их конкуренцией между собою.

Совершенно иной характер носила ожесточенная полемика, вспыхнувшая в 1864 году между «Современником» и близким ему по направлению журналом «Русское слово», в особенности между Щедриным и Антоновичем, с одной стороны, и критиками Д. Писаревым и В. Зайцевым — с другой.

Приступая к ведению «Нашей общественной жизни», Щедрин обещал в ней делом ответить на интересующий читателя вопрос, очистился ли «Современник» постом и молитвой, то есть облагоразумился ли журнал после временного прекращения.

Действительно, уже первые хроники Щедрина обнаруживали намерение журнала следовать по прежнему пути, хотя и с неминуемыми мерами предосторожности: «все нас к. тому призывает, — иронизировал автор, — и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году (то есть не подвергаться новым запрещениям. — *А. Т.*), и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства».

Постоянные подписчики «Современника» встречали в статьях Щедрина рассуждения и даже отдельные выражения, явственно напоминавшие сказанное Чернышевским.

«А вы думали, что пройдете осенью по Невскому от Аничкова моста до Адмиралтейства и не замараетесь?» — саркастически вопрошает хроникер своего приятеля Ваню Колобродникова, который чуждается самой мысли о необходимости компромиссов. И это живо приводило на память слова Чернышевского о том, что история — это не тротуар Невского проспекта.

Намеренно ли подчеркивал таким образом Михаил Евграфович свою солидарность с арестованным руководителем журнала или же он, наоборот, из опасения цензорских придирок сам убрал бы эти невольные совпадения, если бы заметил их, — несущественно. Важнее, что многие мысли Чернышевского Щедрин разделял.

Это не мешало ему сохранять по некоторым вопросам весьма самостоятельную позицию, вызывавшую и внутри редакции и вне ее упреки в отступлении от заветов Чернышевского.

В отличие от таких сотрудников «Современника», как критик М. А. Антонович, Щедрин отнюдь не считал для себя обязательным неотступное следование «прежним курсом» в резко изменившихся условиях.

Явственно обозначившийся спад крестьянских волнений, крушение либеральных иллюзий, тяжелые удары, обрушенные правительством на передовую интеллигенцию при полнейшем попусти-

тельстве общества, — все это терзало Щедрина и погружало его в мучительные раздумья о дальнейших судьбах России.

Он не раз решительно протестовал против попыток изобразить народ полностью разделяющим официальную точку зрения на происходящие в России и Польше события. Он знал истинную цену инсценированным народным манифестациям, богослужениям и адресам. Слыша вопли о том, что все русское общество «составляет единое целое с царем-батюшкой», Щедрин резонно замечал:

«Употребляя слово «общество», мы получаем право разуметь под ним только ту часть общества, которая имеет возможность заявлять о своем существовании какими-нибудь действиями, а отнюдь не ту, которая находится на степени резерва, на действительную службу еще не призванного...»

Действия самого народа казались ему единственно прочным основанием истории; он вспоминал события 1612 года, когда народ выгнал со своей земли интервентов, и недвусмысленно намекал, что этой же силе в конечном счете, а вовсе не «внешнему прогрессу» (то есть царскому соизволению и бюрократической «инициативе») обязана своим появлением крестьянская реформа.

И для читателей эти мысли Щедрина звучали как подтверждение высказываний Чернышевского, писавшего, например, что исход политической борьбы во Франции 1830 года, виднейшими деятелями которой казались поначалу королевская власть, роялисты и либералы, «был решен внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, — вмешательством народа».

«Часто мы думаем, что этой силы совсем нет, на том только основании, что она редко и сдержанно проявляет себя», — писал Щедрин, имея в виду исторические будни.

Однако больше, чем кто-либо из людей, примыкавших к «Современнику», он остерегался возлагать какие-нибудь надежды на народ в ближайшем будущем.

Тяготевшая над народом социальная пирамида в сильнейшей степени придавила, измяла в людях чувство собственного достоинства и способность к сопротивлению, застращала угрозой экзекуций и ссылок, следовавших за волнениями и бунтами.

Уже в «Губернских очерках» промелькнула трагикомическая фигура просителя, являющегося к начальству за разрешением... дать сдачи обидчику. В последующих же рассказах и очерках Щедрина стал складываться образ города Глупова, сначала бывший «коллективным» псевдонимом многих русских городов, но затем начавший принимать все более фантастически-обобщенные очертания и делаться олицетворением народной пассивности и потворства насилию.

В очерке «К читателю», которым Щедрин открыл свою книгу «Сатиры в прозе», нарисована сцена расправы с человеком, ослушавшимся неразумного распоряжения и нарушившим предписанные правила на глуповском перевозе через реку. Лишь только ослушник завидел направляющегося к нему «дантиста» (словечко,

пущенное Гоголем для определения человека, вершащего зубодробительную расправу), он «не пустился наутек, как можно было бы ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности».

И мало того, что лодочник не пытался избежать наказания и самим видом своим как бы подзадоривал «дантиста» на расправу. Люди, которые сами не раз испытывали крепость начальственных кулаков, видевшие ничтожность вины и ужас наказания, оказались на стороне своего врага!

«...Толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! хорошень его!» — неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» — вторила она мерному хлопанью кулаков». Этот страшный крик мерещился Щедрину все эти годы, когда один за другим всходили на «позорный» эшафот, шли на каторгу и в тюрьмы люди, пытавшиеся помочь народу.

Забыть об этом обстоятельстве, сделавшем массу равнодушным свидетелем гибели заступников за нее, — значило отвернуться от действительности, не желая вынести из исторического опыта необходимых выводов.

Исследовать же это обстоятельство — значило войти в прямое столкновение с официальной доктриной, утверждающей, что народ безраздельно предан и представляет гранитную опору трона, и со славянофильскими теориями, которые, несмотря на свою мнимую оппозиционность, в свою очередь укрепляли эту версию. Иван Аксаков в свое время, давая объяснение Третьему отделению насчет своего образа мыслей, писал про царя, что «народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия (конституционного свойства. — *А. Т.*) только нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы руки действующим». «Арбузными корками» славянофильского учения, по выражению Щедрина, пробавлялись и журналы «Время», а затем «Эпоха». Душой этих изданий был Ф. М. Достоевский, утверждавший, что «всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании», сыграет в русском обществе роль нейтральной почвы, где «все сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски...».

Уже с этой стороны можно было ожидать множества словно из-под земли встающих врагов, готовых вступиться за «честь» русского народа, намекнуть на тлетворное влияние Запада, сказывающееся в самой мысли заподозрить, будто в русском народе происходит нечто неладное.

«Сколько есть таких явлений, к которым подойти нельзя, в справедливости которых невозможно сомнения заявить, именно

потому только, что самое поименование их без особенно восторженных эпитетов, самое намерение объяснить их считается уже преступлением и возбуждает остервенение в людях, в сущности весьма невинных и безответственных», — иронизировал Щедрин в «Нашей общественной жизни».

Однако опасность подстерегала его и с другой, неожиданной стороны. *Пассивность* народа, сказавшаяся и в судьбе разрозненных бунтов, приводила к естественному пересмотру прежней тактики революционных демократов, надеявшихся на народный *подъем.* Сам Чернышевский перед арестом и в ссылке искал выхода из создавшегося тупика, сознавая разлад между утопическими надеждами и народной апатией. Приоткрывая эту совершавшуюся у него в душе драму, Николай Гаврилович писал в 1862 году:

«Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящею ее причиною — недостатком общности в понятиях между собою и людьми, для которых работаешь; признать эту причину было бы слишком тяжело, потому что отняло бы всякую надежду на успех всего того образа действия, которому следуешь; не хочешь признать эту настоящую причину и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить которые легче, чем переменить свой образ действий».

Уже находясь в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, стойкий революционер Н. А. Серно-Соловьевич ухитрился в 1864 году отправить письмо Герцену и Огареву, в котором говорится:

«На общее положение взгляд несколько изменился. Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому — прийти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже, и приняться вбивать сваи».

Лишенный всякой возможности высказаться яснее, Серно-Соловьевич явно разумел под почвой страну в ее нынешнем состоянии, в частности, не развитый, не подготовленный к борьбе за свои права народ. Первый слой фундамента — реформы буржуазного свойства, вынужденно «дарованные» правительством; второй — более высокая ступень преобразований, о которой мечтали передовые люди России. Вбивать сваи — значит начать исподволь готовить «почву», народ, для восприятия в дальнейшем революционных идей.

Мысль об опасности, беспочвенности преждевременных расчетов на революцию повторяется в письме еще раз:

«Дитя будет, но должно созреть. Это досадно, но все же лучше иметь ребенка, чем ряд выкидышей».

Однако определенная часть последователей Чернышевского, в особенности М. А. Антонович, не без влияния трагической судьбы, постигшей учителя, понимала верность его заветам как почти религиозное благоговение перед всем, что он когда-либо утверждал и писал.

Желчного Салтыкова раздражала поза этаких душеприказчиков

Чернышевского, которую он ощущал в поведении Антоновича и Елисеева, относившихся к другим как к «непосвященным» и «не осененным благодатью». Происхождение же их обоих и А. Н. Пыпина из духовного сословия позволяло ему рисовать вовсе комические сцены внутреннего быта «Современника».

— Придешь в редакцию, — повествовал он знакомым, странно подергивая и ворочая шеей, будто его теснил тугой воротничок (друзья давно заметили, что этот жест почти всегда предшествует какой-либо остроте), — и вот появляются Пыпин, Елисеев и Антонович, точно из алтаря в обедню выходят с «дарами».

Тревога за дальнейшие судьбы демократического движения побудила Щедрина высказать на страницах того же «Современника», где появилась написанная Чернышевским в крепости книга «Что делать?», свое серьезное неудовольствие некоторыми сторонами романа.

Еще в «Каплунах» говорилось: «Я не только не отрицаю идеалов, но даже нахожу, что без них невозможно дышать, и за всем тем не могу, однако, признать, чтоб мне следовало жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которого мне некуда деть...»

Теперь же в иных мотивах романа, особенно в «четвертом сне Веры Павловны», Салтыков видит свидетельство того, как «мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками...»

Размышляя о задачах литературы, Щедрин писал:

«Окончательные выводы, к которым, по самой природе своей, неудержимо и настоятельно стремится человек, достаются нелегко, потому что требуют материала вполне выработанного и установившегося. А где же взять этого выработанного материала, когда он на каждом шагу дополняется и изменяется новыми вкладами и когда эти дополнения заключаются не в одних только подробностях и мелочах, но в появлении целых новых сфер жизни, целых новых общественных слоев, доселе ничем не заявлявших о своем существовании? Понятно, что при таких условиях всякое поползновение создать что-либо целое и гармоническое должно сопровождаться постоянною неудачей...»

Итак, определение идеалов, к которым следует стремиться в условиях «перевернувшегося» старого уклада, выхода на сцену «новых общественных слоев» — разномастной русской буржуазии, и гадательной позиции народных масс, требует предварительной работы.

Щедрин понимает естественность возникновения утопий будущего, какие нарисовал Чернышевский в снах своей героини Веры Павловны:

«Человек, которого мысль на каждом шагу встречает себе отпор, и даже не отпор, а простое и бездоказательное непризнание, весьма естественно все глубже и глубже уходит в нее и, не будучи в состоянии, вследствие неприязненно сложившихся обстоятельств, поверить ее на живой и органической среде, впадает в преувеличе-

ния, расплывается, создает целую мечтательную обстановку и в конце концов мысль совершенно ясную, простую и верную доводит до тех размеров, где она становится сбивчивою, противоречащею всем указаниям опыта и почти неимоверною».

Но картины будущего общества в «Что делать?» казались Щедрину не только художественно слабыми, «сантиментальной идиллией будущего», но и отвлекающими от главного содержания произведения «некоторой произвольной регламентацией подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных».

Больше того, Щедрину было досадно, что празднично изображенные сцены общего труда, не имея никакого реального соответствия в жизни, могут быть в читательском представлении уподоблены «балетному» изображению жизни русского мужика в идиллических описаниях патриархального быта.

Заставлять людей уповать на «молочные реки в кисельных берегах» без представления о том, какими буреломами предстоит к ним продираться, казалось скептически настроенному Щедрину неверным.

Он опасался, что этими своими сторонами роман такого популярнейшего литературного деятеля, как Чернышевский, может усилить «гадливое отношение к действительности», не дающей скорой возможности для претворения столь отдаленных идеалов. А это отношение к окружающей жизни и без того ощущалось в известных слоях интеллигенции, потерявших одних своих вождей и оставленных другими, постаравшимися забыть свои недавние либеральные высказывания. В таком настроении равно заключались возможности и полного отказа от какой-либо деятельности, не обещающей скорого и эффективного результата, и всяческих авантюр, игнорирующих реальность.

Салтыкову казалось, что в статьях «Русского слова» ощущалось «понижение тона»: он не без тревоги прислушивался к призывам «скромно служить науке», которые могли быть восприняты как проповедь отказа от активной борьбы с царящим злом.

Между «Современником» и «Русским словом» закипела полемика, в которую активно ввязался Антонович.

Вряд ли кому-нибудь из участников этого спора можно отдать пальму первенства. Вынужденные недомолвки сочетались в ней с действительной неясностью мысли, искавшей выхода из трудной исторической ситуации. Стремясь определить верную тактику, каждый из участников полемики с излишней подозрительностью относился ко всему, что отличалось от его собственной программы, и обрушивал тяжкие удары на «отступников».

Салтыков ядовито предостерегал публицистов «Русского слова», что они могут очутиться в лагере Каткова.

А они, в свою очередь, изображали Щедрина либеральничающим сановником, облачившимся в «модный» костюм Добролюбова, который ему не по росту и то и дело обнаруживает золотое шитье мундира.

Чрезвычайной едкостью отличалась статья Писарева о «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах». Смех Щедрина — это «цветы невинного юмора» (таково было заглавие статьи), совершенно безобидный и даже любезный тем, кого сатирик, по видимости, обличает. Смех ради смеха, нечто вроде искусства для искусства.

Писарев не увидел истинного содержания, которое Щедрин стремился вложить в образ Глупова. Находясь вместе с Зайцевым во власти своего представления о Щедрине как об отставном и «будирующем» вице-губернаторе, талантливейший критик потратил много пыла на развенчание писателя. По его мнению, Щедрин и не старается «поосмотрительнее обдумать вопрос, отчего это глуповцы спят таким глубоким сном».

«Смеяться над безобразием глуповца все равно, что смеяться над уродством калеки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка», — сурово отчитывал он Щедрина.

Действующие лица рассказов и очерков кажутся Писареву «мертвецами, выкопанными из могил нарочно для того, чтобы повеселить читателя». В полемическом запале критик полностью игнорировал то, что многие произведения Щедрина, написанные в «эпоху конфуза», заключали в себе трезвое предостережение о возможности скорого наступления реакции.

«...Мы возродимся, — пророчествует глуповский (жандармский, как явствует из текста рассказа «Наш губернский день») полковник при слухах об упразднении корпуса жандармов: — в мундирах ли, без мундиров ли, но мы возродимся — это верно! Конечно, сначала все это будет как будто под пеплом, а потом оно потеплится-потеплится да и воспрянет настоящим манером!»

Нет, на этот раз уже не Щедрин, а Писарев поторопился похоронить «умирающих»! Недаром в февральской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 год, которая появилась одновременно со статьей «Цветы невинного юмора», Щедрин употребил многозначительное выражение «заживо схороненное крепостное право», а Герцен в годы реакции писал о встающей из могилы николаевщине!

Как это ни парадоксально, но критик, который усматривал в книгах сатирика желание «поразить своим пером прошедшее, чтобы сделать приятный и любезный сюрприз настоящему», временами сам оказывался в путах примирения с действительностью. В конце его статьи нарисована идиллическая картина: при помощи естествознания «всякого рода капиталисты... выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности мира, который их окружает», и «поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою»; это живо напоминает рассуждение Достоевского об общей почве, на которой — опять-таки при помощи образования — сливаются все различия и сословия.

Но даже в разгар запальчивой, полной перехлестов полемики (Щедрин, в свою очередь, не скупился на удары) и у него и у критика из «Русского слова» оставались очень важные точки соприкосновения.

Оба указывали на трудность критической оценки действий революционно настроенной молодежи и на решительное отличие их собственной критики ее от «слепого и ожесточенного отрицания некоторых свирепствующих старцев» (Писарев).

В это же время Щедрин не раз жестоко схватывается с Достоевским.

Последний весьма высоко ставил «Губернские очерки». Говоря о способности русского народа «с беспощадной силой выставлять на вид свои недостатки» и быть порой даже несправедливым к самому себе «во имя негодующей любви к правде, истине», Достоевский писал:

«С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма». Многие типы и выражения из «Губернских очерков» будут впоследствии не раз встречаться в статьях Достоевского.

Однако некоторые, по виду — дифирамбические отзывы Достоевского о щедринской книге заставляли вспомнить поговорку: «на язычке — мед, а под язычком — лед»:

«Помним мы, — писал он в 1860 году, — появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться! Говорят, что в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было...»

Похоже, что уже здесь сквозит легкий намек то ли на особенную удачливость, то ли даже на какую-то ловкость «восхваляемого».

«С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, — читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? — вспоминает Достоевский и снова мимоходом замечает: — Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались».

Новая подсказка читателю — о том, не мелка ли дичь, на которую так счастливо охотится сатирик!

«Но всего более, — читаем далее, — нас поразило то, что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру... как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех».

Как все здесь спестрилось, как сказал бы Гоголь!

Будущие исследователи творчества Достоевского будут отмечать, что «замечание о благотворности для другого бывшего петрашевца — Щедрина временного отрыва от петербургской жизни

автобиографично, соотнесено с собственной судьбой Достоевского».

Вспомним, что и сам Щедрин называл вздором все писанное им до «Губернских очерков».

Но все-таки, пожалуй, в этой, звучащей как-то болезненно-иронически характеристике куда больше желания не только рассчитаться с собственными книжными, оторванными от «почвы» реальной жизни увлечениями, с близостью к петрашевцам, этому, по позднейшему выражению Щедрина, «безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд», но и уязвить Салтыкова за происшедшие в нем перемены.

В противовес собственной мучительной эволюции, а скорее даже — решительному внутреннему перевороту, они кажутся Достоевскому следствием «легкости в мыслях необыкновенной» или беспринципной расчетливости.

Поразительно! Неоднократно обвиняемый в измене прежним убеждениям, он сам действует тем же оружием и неожиданно сходится с Писаревым в обвинениях сатирика в переменчивости убеждений, в безыдейном комизме и даже перещеголял его грубостью (в одной из его памфлетных статей сатирик Щедродаров уподоблен «шавке, лающей и кусающейся»).

«Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современник», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?» — пишет Достоевский в 1863 году. «Из тона Каткова он перешел в тон Добролюбова, — иронизирует Писарев в 1864 году — ... служил в «Русском вестнике», служит теперь в «Современнике»; удовлетворял прежде одним требованиям, теперь так же хорошо и отчетливо удовлетворяет другим...»

«Вообще в «Современнике» как будто начинается опять искусство для искусства. Новая похвальная струя, — предвосхищает Достоевский один из обвинительных пунктов статьи Писарева. — ...Вы (то есть Щедрин. — *А. Т.*) — натура по преимуществу художественная, и все, что вы ни делаете в литературе, более ничего как искусство для искусства».

«Да, Щедрин, вождь нашей обличительной литературы, с полной справедливостью может быть назван чистейшим представителем чистого искусства в его новейшем видоизменении», — вторит ему Писарев.

Примечательно, что в статье «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» Достоевский не без удовольствия процитировал отрывок из «Цветов невинного юмора».

И все же Щедрин, набрасывая одну из полемических статей, провел отчетливую грань между «стрижами» (как он окрестил Достоевского и его журнальных сотрудников за «смирное поведение») и человекообразными, под которыми он разумел публицистов «Русского слова»:

«Человекообразные все-таки пользуются бо́льшими шансами

относительно возможного развития, нежели стрижи и т. п., и, следовательно, со временем и сами собой могут понять то, чего теперь не понимают».

Как ни несправедлива уничижительная оценка Достоевским Щедрина, но, рисуя возмущение старых сотрудников журнала «Своевременный», когда Щедродаров начинает высказывать непривычные для них мысли, он тонко уловил или воспроизвел по слухам возникший в редакции «Современника» разлад.

«Где же практический смысл? — негодует Щедродаров. — Вы против жизни идете. Не мы должны предписывать законы жизни, а изучать жизнь и из самой жизни брать себе законы. Вы теоретики!»

Примечательно, что далее Достоевский влагает в уста внутриредакционных оппонентов своего «героя» возмущенный возглас: «Да это целиком из „Времени"»!

Что это? Просто ли ехидное уличение в «заимствовании» чужих (самого Достоевского) мыслей? Или, как это ни покажется на первый взгляд странным в таком яростном споре, трезвое указание на то, что у обоих сражающихся есть очень существенная точка соприкосновения — решительное неприятие «головных» теорий, навязываемых действительности? (Вспомним высказанное Салтыковым в статье о Кольцове неприятие отношения к людям как к некому «подопытному» материалу для экспериментов!)

Достоевский подметил и неудовлетворенность Салтыкова тем художественным уровнем порой публиковавшихся в «Современнике» произведений, с которым его сотрудники охотно мирились, если само «гражданское направление» автора было им по душе.

«И что такое «гражданская слеза»? — насмехается Щедродаров над стихами, восхищающими коллег. — Да ведь они только пишут, что льют ее, а мне давай настоящую... Я уважаю того, кто действительно льет ее, — но моду на гражданские слезы не стану уважать потому только, что тут написано словечко „гражданские"».

Конечно, тут Достоевский делает героя памфлета и рупором для высказывания своих собственных претензий к «направленческой» литературе, и все же щедродаровские филиппики явно родственны некоторым действительным высказываниям его прототипа. Так, в письме Анненкову Салтыков сетовал на «художников наших», которые «никак не могут форму покорить»: «После Тургенева против этих художников некоторое остервенение чувствуешь».

Пусть это было сказано задолго до описываемых событий, однако и в дальнейшем Салтыков не раз давал волю подобному «остервенению», доходя до чрезвычайно резких оценок произведений, с которыми ему приходилось иметь дело как редактору («Роман Решетникова — такой навоз, который с трудом читать можно»).

И та болезненная острота, с которой Салтыков реагировал на памфлет Достоевского, во многом объясняется тем, что последний угодил в «болевую точку».

«Щедродаров (Щедрин), — говорилось в ответе сатирика, который ему не удалось опубликовать, — представляется тут в самом уморительном виде: он то отстаивает свои убеждения, то покоряется какой-то таинственной силе, над ним тяготеющей, то вновь возмущается против насилия и т. д. Представьте себе, в самом деле, человека, который имеет свои убеждения — хи-хи! представьте себе человека, который, обладая известными убеждениями, считает, однако ж, полезным и своевременным до известной степени и при известных условиях подчинять их убеждениям идущих с ним рука об руку в общем умственном труде — ха-ха! представьте себе, наконец, этого самого человека, который, несмотря на необходимость уступки, все-таки тяготится ею — хо-хо!»

Можно было бы красиво уподобить себя этакому Прометею, прикованному к журнальной скале и терзаемому коршунами-противниками.

Но Салтыкову если и приходило на ум какое-либо сравнение, то никак не с героем древнего мифа, а с той, виденной в детстве дворовой девчонкой. Скала оборачивалась навозной кучей, терзали чужие, допекали «свои», — а руки были связаны и действительной цензурой, и «домашней», которая даже на памфлет ответить помешала: как можно выносить сор из избы, выдавать внутрижурнальные несогласия, заявлять свое «особое мнение»!

«Раскол в нигилистах» выходил совсем не опереточного свойства, несмотря на все его скандальные подробности.

Салтыков оказался стоящим один против всех. Его позиция, даже в тех статьях, которые пробились сквозь «внутреннюю» цензуру журнала, явно противоречила надеждам на скорые перемены, надеждам, которые все еще питали отнюдь не только зеленые юнцы, по слухам, засылавшие к Некрасову своих депутатов с категорическим требованием убрать из редакции человека, дерзнувшего критиковать роман Чернышевского и поднять руку на другого их кумира — Писарева.

Салтыков трезво предупреждал о том, что будет «если мы к... простодушному поселянину приступим с соображениями чисто практическими насчет беспечального житья» (то есть с призывом к революции, становящейся из теории непосредственным, практическим делом):

«Он так привык думать, что все сие (т. е. существующий строй. — *А. Т.*) так должно быть, как оно есть, и что все сие должно лежать именно на нем, что даже не задумается над вашими соображениями, да и разговаривать, пожалуй, не станет, а просто пожалуется».

Это горькое предсказание буквально исполнилось десять лет спустя во время знаменитого «хождения в народ», когда многие «поселяне» сразу же «жаловались» — доносили на самоотверженных пропагандистов.

Отказывая Салтыкову в публикации этой, последней статьи из цикла «Наша общественная жизнь», где содержались эти «пессимистические», на взгляд «консистории», слова, ее члены в своем кругу в сердцах сравнивали сатирика с тем персонажем русских сказок, который невпопад веселился на похоронах и плакал на свадьбе.

Салтыков же вспоминал вполне реальную историю о том, как его скуповатая родительница требовала, чтобы ей взамен умершего священника подобрали такого, чтобы не потребовалось перешивать риз.

Он-то был убежден, что еще придется кроить и кроить.

Знать бы — как?!

Впоследствии он признавался себе, что, воспрепятствовав помещению последней статьи цикла, осточертевшая консистория в определенном смысле оказала ему огромную услугу. Дело в том, что он и сам не удержался от соблазна предложить новую «выкройку».

По его проекту, те, кто будет вести «войну» во имя будущего, должны делиться на «инициаторов», «людей мысли» и «чернорабочих», «нижних чинов мысли», которые «ни больше, ни меньше, как строгие и точные исполнители чужих планов и намерений».

Ближайшие годы показали, какими опасностями чревато подобное разделение, которое было вполне «оригинально», независимо от Салтыкова, — и страшно — претворено в жизнь Нечаевым.

Тщетно Салтыков апеллировал к Некрасову: «...мне совершенно необходимо видеться с Вами и поговорить обстоятельнее — писал он ему в начале октября 1864 года. — Ибо тут идет дело об том, могу ли угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича... Когда я поступал в редакцию, Вы говорили, что необходимо придать журналу жизни, и так как это совершенно совпадало с моими намерениями, то я и отнесся к делу сочувственно. Надо же дать мне возможность вести это дело».

Трудно сказать, на чьей стороне в редакционной междоусобице был сам поэт в глубине души. Но он, величайший тактик, по-видимому, решил, что в обстановке всеобщего недовольства сравнительно новым сотрудником поддерживать Салтыкова нерасчетливо, невозможно.

Мало было студенческих депутаций, — уж и в «Русском слове» появилась редакционная статья, где, правда, говорилось, что этот журнал не смешивает «уважаемых... сотрудников «Современника» с чужой овцой, попавшей в их круг» (то есть, разумеется, со Щедриным), но слышалась и прямая угроза «союзному» изданию: «Что сходит с рук какой-нибудь «Занозе» (тогдашний юмористический журнал невысокого пошиба. — *А. Т.*), то едва ли сойдет в таком журнале, как «Современник»; и мы еще раз предупреждаем его, что есть границы унижения, за которыми возвратить прежнее сочувствие уже будет нелегко...»

Во всяком случае, один, по старой памяти обратившийся к са-

тирику осенью по журнальным делам автор вспоминал, что «из разговора... понял, что какая-то черная кошка пробежала между Салтыковым и „Современником"»: «Он, — продолжает Н. Н. Мазуренко, — объявил мне, что отказался от заведования беллетристическим отделом и последний передан в заведование Антоновичу».

В заключительной же книжке журнала за 1864 год можно было прочесть следующее письмо в редакцию:

«Милостивый государь
Николай Алексеевич,

Оставляя Петербург, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого Вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции.

Примите уверения и проч.
М. Салтыков».

Щедрин снова стал чиновником Салтыковым: обратившись за протекцией к министру финансов М. Х. Рейтерну, знакомому ему по лицею, он в ноябре 1864 года был назначен председателем пензенской казенной палаты. Это превращение далось ему нелегко: по воспоминаниям современников, он уже как бы стыдился своего чиновничества.

«...Дела мои до того гадки, — жаловался он в письме к П. В. Анненкову, — что я собственно для того, чтобы не видать их, уезжаю в Пензу 2-го или 3-го буд[ущего] месяца. А как туда ехать противно — не можете себе представить».

В довершение всего Салтыков испытывал постоянное давление матери. Она добивалась от сына уплаты старого долга, преследуя Михаила Евграфовича как заправская кредиторша. Она отравила ему даже отдых в подмосковном имении Витенево: пронюхав о предстоящем отъезде сына, она не постеснялась возбудить перед петербургской полицией вопрос о том, чтобы его задержали в Петербурге.

Бежит, бежит возок по большому московскому тракту, оставляя позади маленькие, занесенные снегом городки.

Когда лицеистом Салтыков «баловался» стихами, то напечатал в «Современнике» «Зимнюю элегию»:

Как скучно мне! Без жизни, без движенья
Лежат поля, снег хлопьями летит;
Безмолвно все; лишь грустно в отдаленье
Песнь запоздалая звучит.

Мне тяжело. Уныло потухает
Холодный день за дальнею горой.
Что душу мне волнует и смущает?
Мне грустно: болен я душой!

Я здесь один; тяжелое томленье
Сжимает грудь; ряды нестройных дум
Меня теснят...

Тогда, двадцать с лишним лет назад, это во многом было преувеличением, подражанием, слабым отзвуком знаменитых пушкинских строк («По дороге зимней, скучной... Скучно, грустно...»).

Теперь же наивные вирши об угасающем дне, окрестном глухом безмолвии, о чьей-то запоздалой песне в отдалении внезапно обретали иной смысл, начинали казаться горестной аллегорией происходящего.

А одиночество, тяжелое томление, «ряды нестройных дум» уже и вовсе не были юношеской позой.

Подымая голову от кипы бумаг, Салтыков встречался глазами с царем, чей портрет висел в простенке его кабинета между высокими окнами, выходившими на Соборную площадь Пензы.

Александр Николаевич, казалось, глядел на него с насмешливым участием: экая, право, тоска — эти финансы, расширение системы налогов на торговлю и промыслы, введение единства касс! Поражаюсь, как можно во всем этом разобраться без специальной-то подготовки... Впрочем, не смею мешать, милостивый государь!

Когда в тридцатые годы пушкинского друга, поэта Вяземского определили сначала в департамент внешней торговли, а затем в Государственный заемный банк, он горестно занес в записную книжку:

«Что в этих должностях, в сфере этих действий есть общего, сочувственного со мною? Ровно ничего. Все это противоестественно, а именно потому так быть и должно, по русскому обычаю и порядку. Правительство наше признает послаблением, пагубною уступчивостью советоваться с природными способностями и склонностями человека при назначении его на место. Человек рожден стоять на ногах: именно потому и надобно поставить его на руки и сказать ему: иди! А не то, что значит власть, когда она подчиняется общему порядку и течению вещей».

Но если Вяземского «стояние на руках» в конце концов надломило, Салтыков и тут «извернулся».

Со своей редкостною способностью быстро схватывать существо дела и ориентироваться даже в малознакомой области он не только быстро навел порядок во взимании пошлин, но, сколь ни ограничена была теперь сфера его действий, все-таки сумел «поддержать» свою давнюю репутацию «красного чиновника».

В губернском гербе красовались три снопа — пшеничный, ячменный и просяной. Этакие три кита, на которых стояла пензенская экономика...

Не было только поставивших их крестьян, этих истинных атлантов, чьими трудами от века держалась губерния.

Зато на их долю приходились все новые поборы, из них торопились выжать выкуп за землю, которой их «облагодетельствовали».

И вот тут-то Салтыков вновь доказал, что его слова: «Я не дам в обиду мужика!» были не просто красивой фразой. Самым тщательным образом проверял он правильность взыскания выкупных

платежей и недоимок, не раз обнаруживая «исчисленные неправильно».

Его пытались уломать, прозрачно намекали, что не грех бы и «порадеть родному человечку» — своему брату дворянину, помещику, между тем как к нему-то Салтыков как раз подобного расположения не проявляет. На что похоже!

Но Салтыков или бурно взрывался, только что не выгонял ходатая из кабинета, или становился особенно ядовито вежливым, что поделаешь, — закон! Вот, не угодно ли взглянуть на зерцало?

Золотой двуглавый орел, восседавший на трехгранной пирамиде, казалось, приосанивался от такого редкого со стороны хозяина кабинета внимания (в недобрую минуту Салтыков честил его «вороньим пугалом») и строго взирал на посетителя, которому только что напомнили значившиеся здесь же, на зерцале, слова из Петровского указа:

«Всуе законы писати, когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть, и зело тщатся всякие мины чинить под фортецию правды».

Посетитель ретировался, но в глазах его читалось: вот ужо и под тебя мину подведут! И после нескольких подобных визитов было трудно дышать, как в жаркие дни на Соборной площади, когда ветер поднимал огромные тучи пыли и сухого конского навоза.

На службе Салтыков по-прежнему сталкивался с авгиевыми конюшнями русского бюрократизма, с его взяточничеством, малограмотностью, канцелярской канителью.

«...я весь погряз в служебной тине, которая оказывается более вязкою и засасывающею, нежели я предполагал. Гаже и беспорядочнее здешней казенной палаты невозможно себе представить», — возмущается Салтыков в письме к П. В. Анненкову 2 марта 1865 года. Он, разумеется, запамятовал, что семь лет назад таким же образом жаловался на Рязань («Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти», — в письме к В. П. Безобразову).

Правда, губернатор Александровский основал свою карьеру на делах почти уголовного свойства, однако Салтыков явно «привередничал», жалуясь на то, что ему не везло с начальниками и вечно приходилось сменять места службы (Тверь — Рязань; ныне Пенза, потом Тула и снова Рязань).

«Кн[язь] Гагарин и Чевкин бессовестно настаивают на назначении губернатором сына первого, только что спасенного от суда во внимание к отцу за прежние вице-губернаторские грехи», — записывал в свой дневник Валуев. Вообще министр внутренних дел часто приходил в ужас от своих подопечных.

«У меня были разные лица, между прочим, пермский губернатор Лошкарев, один из неспособнейших и пустейших губернаторов, а таковых, увы, немало». «Вечером вчера был у меня новый московский ген[ерал]-губернатор. Сдается, человек хороший,

спокойный, но Скалозуб, произведенный в полные генералы», — это в устах Валуева уже почти похвала.

Впрочем, с не меньшим ядом отзывался он о министрах и прочих государственных деятелях:

«Озираешься, как бы ощупываешься, чтобы убедиться, что все это действительно так, что это наяву, не во сне, и что это атмосфера нашей государственной жизни, область нашей государственной деятельности, условия настоящего и семена будущего. ...Мало надежды на лучший ход нашего управления. Удивительно, как все держится».

Можно себе представить, какие «хорошие и милые» аттестации раздавал своим новым пензенским знакомым Салтыков. «Воскресший» в прежней силе губернский жандарм, подполковник Глоба, быстро учуяв интерес своих столичных хозяев к новому председателю казенной палаты, тщательно подбирал и коллекционировал меткие словечки Салтыкова. Он не оставил без внимания даже поведение его жены Елизаветы Аполлоновны, — и как бы посмеялся сатирик, узнав, что его легкомысленная супруга, оказывается, тоже разлагает губернское общество, «проповедуя в обществе безбожие и смеясь над дамами, соблюдающими посты и посещающими церковь»!

Со священным ужасом заносит на свои скрижали Глоба, что Салтыков хулит Каткова, который со времени польского восстания превратился в помещичьего кумира. «Московские ведомости» читало все «образованное общество», и неподписавшиеся на них уже одним этим своим поступком вызывали к себе подозрительное отношение. А Салтыков говорил про своего былого издателя крайне непочтительно.

Однажды Салтыков прочитал знакомым фантастический рассказ о пензенском губернаторе, которого он заставил летать по воздуху и ругаться нехорошими словами. Услышав об этом, Александровский перестал кланяться с сочинителем, а подполковник Глоба сильно сокрушался, что не может подробно изложить содержание крамольной вещицы в своих рапортах. Председатель казенной палаты уверял даже, будто теперь при встрече он читает в жандармских глазах умильную просьбу:

— Ваше превосходительство, заставьте за вас бога молить! Одним бы глазком поглядеть!

Впрочем, Салтыков вскоре великодушно вознаградил Глобу за упущенное «удовольствие».

4 апреля 1866 года в петербургском Летнем саду неизвестный выстрелил в царя и промахнулся.

Покушавшийся скрывал свое истинное имя. Однако полиция дозналась, что в Знаменской гостинице уже несколько дней пустует шестьдесят пятый номер. Обыскав его, нашли небрежно разорванный конверт с адресом некоего Ишутина. Привезенный из Москвы Ишутин признал в стрелявшем своего двоюродного брата — Дмитрия Каракозова.

Вместе с Каракозовым в полицию угодил мастеровой с туповатым лицом, оказавшийся в момент выстрела рядом. Перепуганный, что его сочли соучастником, он не мог сначала дать ни одного ответа на допросе, покуда не понял, что нежданно-негаданно оказался в роли царского спасителя.

Кто-то из царской свиты уверял, будто Осип Комиссаров успел отвести руку Каракозова в сторону: в его лице, дескать, сам народ спас царя! Прочие свидетели не прекословили, а один из следователей сказал в интимном кругу, что подобный подвиг можно было бы даже... изобрести: выдумка простительна, если она полезна для организации общественного мнения.

И снова, как во время польского восстания, — адреса, телеграммы, молебны, банкеты... Даже сам Валуев начал раздражаться этой шумихой вокруг «чудесного» спасения государя и «новоявленного Сусанина».

«Пересол разных верноподданнических заявлений становится утомительным, — заносит он в дневник 26 мая. — Местные власти их нерассудительно возбуждают канцелярскими приемами. Так, могилевский губернатор разослал эстафеты, чтобы заказать адресы от крестьян».

Следственную комиссию возглавил М. Н. Муравьев. «Вешатель», как его прозвали после 1863 года, обещал доискаться до истинных виновников преступления.

Члены кружка, организованного в Москве Ишутиным, были арестованы, но реакции, рупором и в то же время науськивателем которой служили все те же «Московские ведомости», этого было мало.

Каракозовское дело позволило Каткову выйти из затруднительного положения, в которое его поставила стычка с П. А. Валуевым, намеревавшимся прибрать к рукам влиятельную газету. Теперь он сразу взял высокую ноту, ставя себе в заслугу свои давние нападки на прогрессивные круги и сводя счеты с противниками.

Публицист «Современника» Юлий Галактионович Жуковский иронизировал в начале года, что Каткову мерещатся уже не «мальчики кровавые», а «стриженые барышни с разрывной гранатой в кармане». После покушения Каракозова издатель «Московских ведомостей» сумел повернуть насмешку в похвалу своей прозорливости.

«Это сказано почти накануне 4 апреля, — зловеще напоминал он по поводу слов Жуковского. — Да, действительно, мы видели если не разрывные гранаты в карманах стриженых барышень, то, по крайней мере, тесную связь всего нигилизма с делом государственной измены в России».

И либералы вроде Никитенко перепуганными голосами повторяли по подсказке «Московских ведомостей»:

«Наши демагоги большею частью космополиты. Они затевают всякие смуты в России не для России, а во имя всемирной социалистической революции».

Распалившемуся Каткову казалось, что даже Муравьев дейст-

вует недостаточно энергично и не разоблачает до конца подоплеку покушения Каракозова.

— Нельзя же было мне отыскать то, чего не осталось и следов, — огрызался уязвленный Вешатель.

По городу поползли слухи, что он заказал десятки виселиц и даже гробов, что Каракозова пытают, не дают ему спать. Те, кто собрался посмотреть на казнь «кровавого злодея», увидели маленькую бессильную фигурку, которую солдаты волочили, как куклу.

Были арестованы издатель «Русского слова» Г. Е. Благосветлов, критик В. А. Зайцев, философ П. Л. Лавров, сотрудники «Современника» Г. З. Елисеев, В. А. Слепцов, поэты В. Курочкин и Д. Минаев. И все, кто не мог похвастаться совпадением своих убеждений с Катковым, ежечасно ждали своей очереди, пересматривали и жгли книги, рукописи, письма. Страх разрастался: при встрече с выпущенными из-под ареста знакомыми кое-кто стремительно переходил на другую сторону улицы.

Под влиянием зловещих воплей рептильной прессы даже совершенно неповинные люди, по свидетельству современника, начали колебаться: действительно ли они ни в чем не виноваты и не были ли они «объективными», «моральными» соучастниками покушения.

Влиянию Муравьева приписывали отставку «недостаточно энергичного» министра просвещения А. В. Головнина и назначение графа Д. А. Толстого. Царский рескрипт указывал направление деятельности нового министра: искоренение «стремлений и умствований, дерзновенно посягающих на... религиозные верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и уважение к установленным властям».

Эти слова как будто прямо целили в замыслы вроде щедринских «Современных призраков».

Салтыков и без того не радовался возвышению однокашника по Царскосельскому лицею. В свое время Д. А. Толстой подал такую реакционную записку против проекта освобождения крестьян, что даже Александр II, выйдя из терпения, написал на ней: «Это - не мнение, а пасквиль, доказывающий недоброжелательство или незнание дела».

Самой черной реакции придерживался Толстой и теперь. «Что граф благоговел перед «Московскими ведомостями» — это было уже известно, — записывал А. В. Никитенко. — Он, не обинуясь, высказывает перед ними род сыновней почтительности и готовности во всяком случае руководствоваться их авторитетом и, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, говорит: *учитель так сказал».*

Впрочем, Толстой был вовсе не оригинален в своих убеждениях. Сам Александр II, посетив Москву в июне 1866 года, виделся со своим «верным псом» из «Московских ведомостей» и благосклонно сказал ему:

— Сохрани священный огонь, который есть в тебе.

Естественно, что Катков, как он ликующе оповестил читателей, «преисполнился новой бодрости, пережив минуты, которые

бросили радостный отблеск на его прошедшее и в которых он находит благодатное возбуждение для будущего».

Тяжелые предчувствия овладели Салтыковым, когда он узнал о покушении Каракозова. Он вообще много и мучительно размышлял над тем, допустимо ли прибегать к насилию, пусть даже с самыми лучшими намерениями. Выстрел же в Летнем саду позволял реакционерам оправдать любые свои гонения на общество и литературу.

Несмотря на свое расхождение с большинством редакции «Современника», Салтыков по-прежнему принимает близко к сердцу все происходящее в журнале. Весь тон его писем к Некрасову обличает не только союзника «Современника», но человека, страстно заинтересованного в успехе журнала.

Поворчав насчет цензуры «духовной консистории», при мысли о которой ему неохота за что-либо приниматься, он тут же прибавляет:

«Кстати (! — *А. Т.*): не желаете ли, чтобы я написал хорошие и милые рецензии на романы: «Некуда», «В путь-дорогу» и «Марево»? Я напишу».

Так, припомнив о реакционных романах «Некуда» Лескова и «Марево» Клюшникова, Щедрин тут же готов подвергнуться «консисторской» цензуре, чтобы только высказаться по поводу антинигилистических произведений.

«И зачем Антонович так плодит?» — досадует он в том же письме на многословные статьи, из-за которых он «утешается» «Современником» лишь «в весьма ограниченной степени».

Когда критик Скабичевский вбежал к Некрасову с вестью об аресте Г. З. Елисеева, тот побелел как снег, на лице его был написан ужас человека, который увидел неминуемую гибель. Не свою — журнала.

Пытаясь спасти «Современник», свое детище, Некрасов пошел даже на унижение, написав стихи в честь Муравьева и Комиссарова.

— Уж лучше бы он нам веревку для виселицы свил, — с болью сказал, услышав об этом, один из членов ишутинского кружка.

Допытываясь у знакомых сановников, на каких условиях возможно продолжение журнала, Некрасов узнал, что считается недопустимым сотрудничество Антоновича и Жуковского. Он готов был пойти и на это, но 28 мая 1866 года состоялось высочайшее повеление о закрытии «Современника» и «Русского слова».

Воцарившуюся вокруг атмосферу впоследствии охарактеризовал Некрасов. В стихотворной пьесе «Медвежья охота» он, по видимости, писал о событиях конца сороковых годов, но явно использовал и более свежие «краски»:

...с *каким зловещим тактом*
Мы неудачу сторожим!
Заметив облачко над фактом,
Как стушеваться мы спешим!
Как мы вертим хвостом лукаво,
Как мы уходим величаво

В скорлупку пошлости своей!
Как негодуем, как клевещем,
Как ретроградам рукоплещем,
Как выдаем своих друзей!
Какие слышатся аккорды
В постыдной оргии тогда!
Какие выдвинутся морды
На первый план! Гроза, беда!
Облава — в полном смысле слова!..
Свалились в кучу — и готово
Холопской дури торжество,
Мычанье, хрюканье, блеянье
И жеребячье гоготанье —
А-ту его! а-ту его!..

Строки, полные негодования, боли, омерзения и — стыда...

Даже Достоевский «подал голос» в пользу катковской газеты:

«Вы не поверите, с каким восторгом читаю я теперь «Московские ведомости», — писал он самому редактору и высказывал ему «самую сердечную признательность, самое горячее уважение за правду и за прекрасную деятельность... особенно в эту минуту», хотя в дальнейшем и пытался робко заступиться за «русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек», за «энтузиазм к добру и чистоту их сердец», которые «так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы».

Последнее произведение Щедрина, опубликованное в «Современнике», — очерк «Завещание моим детям» — начиналось воспоминанием о том, как бабушка Татьяна Юрьевна говаривала: «Не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши!»

«Бывали случаи, — вздыхает рассказчик, — смерть хочется нагрубить, так бы, кажется, и отрапортовал, да вспомнишь Татьяну Юрьевну, укусишь язык и смолчишь. Много-много, что заплачешь».

Два долгих года после этого пришлось Щедрину буквально следовать совету Татьяны Юрьевны — не печатать в журналах ни строчки: да и в какой журнал мог он пойти со своим крамольным товаром?

К его словам и так подозрительно прислушивался вездесущий Глоба. В сердцах Салтыкову случалось проговариваться. Так, он весьма едко отозвался о возведении Комиссарова в дворянское звание. Глоба был начеку, и на послужной список крамольного сановника упала новая тень. «Иметь эту личность в виду», — пометил на рапорте Глобы ставший шефом жандармов граф Шувалов.

Каракозовский процесс придал Глобе особую энергию: ведь и сам Каракозов, и Ишутин, и многие другие участники кружка — Странден, Ермолов, Юрасов, Петерсон — были пензенцами, учились кто в местной гимназии, кто в дворянском институте. Судьи интересовались, кто из учителей оказал на них «развращающее»

влияние, а придурковатый принц Ольденбургский выпытывал, не было ли среди пензенских педагогов Чернышевского.

Робкие провинциалы не без страха припоминали своих былых однокашников и знакомцев, другие же метали громы и молнии против «опозоривших» губернию заговорщиков.

— И кто только берется их защищать на суде? — негодовали в Дворянском собрании.

Вряд ли они знали, что в свои наезды в Петербург Салтыков виделся с одним из адвокатов, возбуждавших это негодование. Его давний приятель по лицею и тоже «кандидат в Пушкины» Виктор Павлович Гаевский защищал едва ли не самого подозрительного, по мнению судей и «Московских ведомостей», подсудимого — Ивана Александровича Худякова.

Щуплый и болезненный Худяков казался многим главной пружиной заговора. Правда, он не верил в то, что цареубийство принесет пользу, но Каракозов виделся с ним по приезде в Петербург и брал у него деньги, на которые потом купил пистолет. Ишутин же уверял, что именно Худяков сообщил ему о существовании Европейского революционного комитета (имелся в виду I Интернационал) и что он называл себя представителем какой-то значительной партии в Петербурге.

Худяков ездил за границу, посещал там Герцена и Огарева, а также некоторых эмигрировавших членов «Земли и воли». Шпионы доносили, что он дружит с Елисеевым, от которого, по многим показаниям, исходила мысль освободить Чернышевского, поддержанная ишутинским кружком.

Но сам Худяков только однажды сделал неосторожное признание и тут же схватил предательский листок бумаги, пытаясь проглотить его. Жандармы чуть не разорвали ему рот. После этого Худяков в отличие от малодушничавших ишутинцев твердо стоял на своем.

Драгоценная для следствия ниточка безвозвратно оборвалась, и от этого Худяков вызывал у судей и катковской своры особую ненависть.

Гаевский с возмущением говорил на суде о статьях «Московских ведомостей», напечатанных еще до следствия; они как бы заранее рекомендовали сделать из его подзащитного главного вдохновителя покушения. Нужна была немалая смелость, чтобы дать такой отпор Каткову и насмешливо заявить, что редактору «Московских ведомостей» по его политической подозрительности всюду мерещатся революция и измена. Это звучало почти как повторение мнений закрытого «Современника»!

Искусно построенная речь Гаевского произвела большое впечатление даже на судей. Сам Худяков считал, что только энергия защитника спасла его от петли.

И Салтыков в Пензе вступился за одну из жертв той шпиономании, которая обуяла Россию в это время. Директор пензенских народных училищ уволил учителя, который, по словам доносчика, пожалел о неудаче каракозовского покушения. Узнав об этом,

Салтыков взял проштрафившегося к себе на службу, сделав вид, будто не знает об истинной причине увольнения.

Однако долго выжить в Пензе было невозможно.

— Дай другую губернию! Не могу больше с этим мерзавцем служить! — заявил Салтыков о своем желании расстаться с Александровским Рейтерну.

В Тулу, куда его перевели на ту же должность, он прибыл накануне Нового года и первое время, казалось, угомонился, даже мирно играл с губернатором М. Р. Шидловским в пикет.

Однако эта идиллия продолжалась недолго. Мало того, что Шидловский во всю жизнь либерального словечка не сказал; он привык вмешиваться в дела губернских учреждений и посылать форменные доносы в Петербург на всех неугодных ему чиновников. Даже там выходили из себя и требовали не обременять министерство внутренних дел напрасной перепиской. Однако он не унимался. Своими беспрерывными жалобами на казенную палату он вынудил сменить предшественника Салтыкова, весьма дельного чиновника.

Вскоре посыпались доносы и на Салтыкова, тем более что он со свойственной ему решительностью пресекал все вмешательства губернатора и посылаемых им чиновников. «Личные объяснения его со мной отличаются такою резкостью, что я вынужден избегать их», — жаловался Шидловский Рейтерну. Поведение Салтыкова шло вразрез не только с желаниями самого Шидловского, но и с намерениями правительства, которое как раз в эту пору увеличивало власть губернаторов.

В завязавшейся борьбе каждый из противников действовал своими средствами. Салтыков заручился поддержкой Щедрина, который написал фантастический рассказ о том, как у губернатора была фаршированная голова, как предводитель дворянства, плотоядно обонявший соблазнительный запах, не выдержал и съел ее, из-за чего пришлось соорудить новую голову с незамысловатым органчиком, способным издавать одну-две фразы, не больше. А Шидловский обратился сначала к П. А. Шувалову, а затем и к самому царю, посетившему Тулу, с заявлением, что просит избавить его от «беспокойного» управляющего.

И Салтыков снова попал в Рязань, где была свежа память о нем как о вице-губернаторе. Старожилы губернских учреждений предупреждали, чтобы новички не составляли себе мнения о Салтыкове на основании его вспыльчивости и резкости. Подчас сами его выговоры носили комический характер, а потеряв терпение иметь дело с каким-либо бестолковым чиновником, «свирепый» управляющий... озабоченно приискивал ему выгодное местечко.

Из уст в уста передавался рассказ о том, как Салтыков вызвал «запьянцовских» отставных чиновников для разбора старых дел, чтобы дать им хоть какой-то заработок, а когда они, несколько остыв к порученному занятию, принялись пить в самой канцелярии, юмористически напустился на них со словами:

— Вы все здесь дебоширите, смотрите у меня... республиканцы!

Однако соверши Салтыков на службе все двенадцать подвигов Геракла, он бы все равно не смог снискать себе благоволения петербургских сановников. Рязанский губернатор Болдарев запомнился сослуживцам лишь блестящими зубами и хорошим французским произношением, а в историю попал впоследствии лишь в качестве уголовного преступника. Но он оказывался всегда правым, когда его споры с новым подчиненным доходили до Петербурга. Салтыков мог сколько угодно доказывать, что Болдарева за глупость в губернаторы поставили. Рейтерн был с ним в душе согласен, но министру финансов уже надоело выгораживать своего неугомонного протеже.

В апреле 1868 года министр внутренних дел Тимашев и шеф жандармов Шувалов отменялись письмами по поводу донесения Болдарева «о противодействии, оказываемом ему в успешном управлении вверенной ему губерниею некоторыми из служащих в Рязани лиц». Список этих «лиц», разумеется, открывался именем Салтыкова.

Шувалов, человек с маленькими медвежьими глазками и непомерным честолюбием, не забыл, как Салтыков поспорил с ним по вопросу о реформе полиции в конце 50-х годов. В представленном царю докладе шеф жандармов аттестовал управляющего рязанской казенной палатой как «чиновника, проникнутого идеями, не согласными с видами государственной пользы и законного порядка».

Решено было не только удалить Салтыкова из Рязани, но и воспретить ему впредь занимать какие-либо государственные должности.

14 июня 1868 года служебная карьера «красного» чиновника закончилась отставкой, хотя ради соблюдения приличий ему были пожалованы чин действительного статского советника и пенсия в тысячу рублей.

Трудное время... После закрытия «Современника» и «Русского слова» российская журналистика, по выражению Шелгунова, «походила на утлый челн, получивший пробоину».

Смолк и «Колокол», а между самими Герценом и Огаревым исчезло прежнее взаимопонимание.

«Даже те связи, которые длились всю жизнь, — поддаются», — печально отмечал Герцен еще в 1864 году и писал старому другу:

«...когда я вижу, что единственный человек, который с 1826 шел в унисон со мной или я — с ним, теряет масштабы и переносит свои желания на действительность (то есть принимает за нее свои желания. — *А. Т.*)... — то я уверяю тебя, Огарев, что есть отчего бежать из полка».

«Еще один кончил», — отзывается Лев Толстой о Тургеневе, новый роман которого — «Дым» — ему решительно не понравился.

И, может быть, нечто подобное думает о Салтыкове, похоже, пережившем период своей бурной известности после «Губернских

очерков». Щедринская публицистика яснополянскому отшельнику в это время чужда.

Да и не одному Толстому представляется, что лучшее у Салтыкова уже позади, что публицист в нем побеждает и оттесняет художника. Так, по выражению П. В. Анненкова, писавшего о «Сатирах в прозе», автор «до излишества предается искушению растолковывать читателю каждое явление и каждый приводимый им факт с одной постоянной точки зрения, на которой незыблемо утвердился».

Верные замечания перемешаны тут с неверными.

Как избежать «растолковывания» — хотя бы потому, что опасные идеи и их апостолы совсем не всегда предстают, выражаясь щедринским слогом, в полном умственном и нравственном неглиже? Напротив, многие из них склонны к словесной маскировке, когда, по пословице, на язычке мед, а под язычком лед.

«Хорошие слова» (на эзоповом щедринском языке — это слова, несущие новые, гуманные, просветительные идеи) нередко становятся добычей тех, кто не смеет выступать против них прямо и «обдумывает, как бы... примоститься к «хорошему слову», «усыновить его». Писатель не уставал объяснять читателям, какой искаженный смысл приобретают в таких случаях эти слова.

Ловкое жонглирование словом «общество», например, вызывало «невинное» щедринское замечание: «Мы представляем себе «общество» чем-то вроде многоэтажного здания, в котором признаки жизни замечаются только в бельэтаже... а всё, что обитает в так называемых подвалах и чердаках, без всяких разговоров полагается неживущим».

Щедрин (а точнее — выступающий от его имени рассказчик) с мнимым огорчением скажет впоследствии об одном из самых проницательных персонажей: «Самое отрадное явление, от которого все публицисты приходят в умиление, он умеет ощипать и сократить до таких размеров, что в результате оказывается или выеденное яйцо или пакость». Но подобной разоблачительной силой обладает и его собственное слово, беспощадно обнажающее подлинную суть явлений и показывающее читателю «настоящую, ненасурмленную (ненакрашенную. — *А. Т.*) действительность».

Молнии щедринского сарказма ярким светом озаряют истинные мотивы действий и поступков, казалось бы, прочно задрапированные всевозможными изворотливыми и эффектными словами. «Для того, чтобы всех очаровать, нужно — не то, чтобы лгать, а так объясняться, чтоб никто ничего не понимал, а всякий бы облизывался», — комментирует он речи одного из своих героев.

Да, растолковывать Щедрин и впрямь охотник. Только вот «незыблемой» приверженности какой-либо предвзятой идее, стремления «подогнать» под нее «каждое явление и каждый факт» у него нет и в помине.

При всей несхожести характеров и судеб склад щедринского ума напоминает герценовский, охарактеризованный самим Александром Ивановичем как раз в эти годы следующим образом:

«Я иногда откровенно завидовал людям, браво идущим вперед, не выходя к перебору начал, не обращая вниманья ни на другой грунт, ни на перемену среды, ни на ряды событий, хотя многие из них заступали в импассы (тупики. — *А. Т.*), в которых они тонули дальше и дальше, боясь приостановиться из чувства чести и ложного стыда...

Мне всегда мешало раздумье... Одни складываются с молодых лет в попы, проповедующие с катехизисом веры или отрицанья в руках, — они призывают себе на помощь все средства и все силы, даже силу чудес, для вящего торжества своей идеи. Другие этого не могут — для них голая, худая, горькая истина дороже декорации, для них ризы, облачения, драматическая часть дела смешны, а *смех* — ужасная вещь. Я никогда не мог поступить ни в какую масонскую или другую ложу, боясь своего смеха».

Быть может, применительно к себе самому Герцен даже несколько сгустил краски, рисуя не просто свой характер вообще, а именно свою предсмертную усталь, разочарование в надеждах, которые долго питал, в близких, в друзьях, в «племени младом, незнакомом» новой русской эмиграции. Это, так сказать, последняя фотография, от которой уже не так далеко и до посмертной маски, в которой не узнать былую кипучесть и искристость Искандера.

Салтыков же при своем желчном темпераменте мог бы подобным образом охарактеризовать себя в самый разгар своей деятельности. Слова эти помогают понять, почему он не состоял ни в какой «ложе» и своим резким, неуместным «смехом» порой скандализировал даже ближайших союзников, начинавших подозрительно коситься на этого «фармазона».

«Голая, худая, горькая истина» властно подступала ему к горлу, и ее избыток торопился излиться, не особенно смущаясь формой, а подчас и вовсе расплескивался в саркастических монологах и словесных шаржах, остававшихся достоянием лишь частных писем да памяти собеседников.

Можно было закрыть «Современник» и расставить повсюду цензурные рогатки, но мощь щедринской мысли, сила фантазии и сатирических обобщений подспудно нарастали и были лишь временно скованы и внешними обстоятельствами, и погружением писателя в служебные дела.

Поразительно подходят к этому моменту в жизни Салтыкова слова, сказанные в ту пору Львом Толстым совершенно о другом писателе (Фете):

«Поток ваш все течет... Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и, ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса».



VI

— Новый адрес Некрасова слыхали, а?

— Нет, а что?

— В том же доме, только этажом выше. Переехал к Краевскому.

Острословы всячески изощрялись по поводу «странного брака» между бывшим редактором «Современника» и владельцем «Отечественных записок» Краевским. (В доме, принадлежавшем Краевскому, поэт жил с 1857 года.)

Тут было что вспомнить! Двадцать лет назад Краевский рвал и метал, когда, став во главе «Современника», Некрасов и Панаев

перетянули от него главную и нещадно эксплуатируемую силу — Белинского.

«Ни одна статья гг. Белинского, Панаева и Некрасова не будет напечатана в «Отечественных записках» до тех пор, пока этот журнал издается нами», — возвещал журнальный коршун, обнаружив побег истерзанного им Прометея, дотоле прикованного горькой денежной зависимостью к «скале», как именовал Белинский журнал Краевского.

Со своей стороны, «Современник» не оставался в долгу и не упускал случая лишний раз обличить беспринципного литературного дельца.

«...Если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос» (также издававшейся Краевским. — *А. Т.*), — иронически писал Щедрин в 1863 году, — тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень (известный французский республиканец. —*А. Т.*). И напрасно Андрей Александрович Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел, — я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александровича...»

Андрей Александрович и на этот раз блеснул пресловутой «стойкостью» и охотно позабыл не только свою клятву насчет Некрасова, но и пропасть, разделявшую их взгляды. Перед его глазами маячили внушительные цифры подписчиков на прежний некрасовский журнал (7125 в 1861 году, и даже в клонящемся к закату «Современнике» 1865 года от 6000 до 4600, в то время как «Отечественные записки» с трудом наскребли около двух тысяч!), соблазняла перспектива сладостной стрижки купонов, поскольку Некрасов становился полновластным, хотя и негласным, редактором.

На худой конец Андрей Александрович всегда мог выйти сухим из воды, свалив всю вину на редактора с его запятнанным прошлым.

Некрасов отлично понимал эти расчеты и все-таки шел на то, чтобы пополнять и без того уже немалый капитал Краевского: ни попытка воскресить «Современник», предпринятая от имени вдовы его владельца П. А. Плетнева, ни расчеты получить в свое распоряжение через подставных лиц газету «Неделя» не удавались. Даже в праве состоять *гласным* редактором «Отечественных записок» поэту отказывалось до самой смерти.

Пришлось и Салтыкову с Елисеевым примириться с мыслью иметь Краевского компаньоном, хотя Михаил Евграфович сначала об этом и слышать не хотел.

Охотно и радостно потянулись в журнал прежние сотрудники «Современника», вдосталь хлебнувшие лиха после его закрытия: прозаик Глеб Успенский, критик А. М. Скабичевский...

На обеде у Некрасова чуть ли не рядом со Щедриным оказался его недавний противник и хулитель Писарев, несколько смущенный столь неожиданным соседством.

Оно оказалось недолгим не только за обедом, но и в самом

журнале: не успел Салтыков обосноваться в Петербурге, как Писарев утонул.

Кое-кого из своих прежних сотрудников Некрасов недосчитывался.

При первых же запросах по поводу перехода журнала в его руки Николаю Алексеевичу пришлось убедиться, что условие, предъявленное Третьим отделением еще в канун закрытия «Современника», остается в силе. Антонович и Жуковский заранее исключались из числа будущих редакторов журнала.

Некрасов опасался, что такая же участь может вскорости постичь Салтыкова и Слепцова, «...насколько они обнаружатся благонадежными, покажет только время», — писал он в декабре 1867 года.

Предстояли тягостные объяснения с обоими прежними сотрудниками. Оба они имели о себе самое преувеличенное понятие, особенно с тех пор, как статья «Вопрос молодого поколения» вызвала шумный судебный процесс против Жуковского.

В знак солидарности с Жуковским отказался от участия в редакции и Пыпин.

Некрасов старался втолковать своим бывшим сотрудникам, кто виноват в происшедшем. «Администрация смотрит все еще на Ваше имя с ужасом и заставляет нас перепечатывать страницы, где встречается фраза, упоминающая Ваши статьи», — писал он Жуковскому.

Но к его объяснениям отнеслись недоверчиво, тем более что многие либералы возопили о перемене убеждений Некрасова, без которой, дескать, он не смог бы войти в соглашение с «презренным» Краевским. Возможно, что бывшие сотрудники сочли доводы Некрасова пустыми отговорками, а Антонович в особенности болезненно воспринял, что в новую редакцию «Отечественных записок» вошел Щедрин и что — после жестокой полемики «Современника» с «Русским словом» — Некрасов пригласил в сотрудники Писарева. Все это казалось ему явным свидетельством политиканства и беспринципности: отставляя от дела «верных учеников Чернышевского», редакция открывает двери настежь перед людьми, подозрительными по своим взглядам! Трудно было Антоновичу забыть и колкости Щедрина, и всенародное объявление Писарева, что ведущий критик «Современника», каким считал себя Антонович, — всего-навсего «лукошко российского глубокомыслия», и то, что Елисеев его тоже «недооценивал», порой предпочитая его статьям щедринские.

Обиженные Антонович и Жуковский решили, что их «святой долг» — вывести на чистую воду «плутни» Некрасова и предостеречь доверчивых читателей, которые будут наивно считать «Отечественные записки» преемником «Современника».

В 1869 году они выпустили книгу «Материалы для характеристики современной русской литературы». В ней, по определению председателя петербургского цензурного комитета, доказывалось, что «хотя Некрасову долго удавалось пользоваться в нашей журна-

листике знаменем коновода либерального направления, но впоследствии сделалось очевидным, что этот либерализм был напускной и что его литературной деятельностью всегда руководил денежный расчет».

Книга эта, где в своих «святых» целях авторы использовали откровенные сплетни, вызвала удовольствие не только в цензурном комитете, но и среди всех, кто недолюбливал передовую русскую журналистику и демократическую литературу.

«...Если хотите узнать всю подноготную современной нам литературы, прочтите брошюрку Антоновича «Материалы для характеристики современной русской литературы», — писал П. А. Вяземский. — Вот исповедь и донос самые назидательные».

В апреле в «Вестнике Европы» были опубликованы тургеневские «Воспоминания о Белинском». Прежний друг, разошедшийся с «Современником» из-за тяготения Некрасова к Чернышевскому и Добролюбову, теперь приписывал Николаю Алексеевичу двусмысленную роль по отношению к Белинскому, которого он якобы «постепенно и очень искусно устранял» от участия в журнале.

Грянул гром и из навозной кучи: князь Владимир Мещерский, «молодой человек весьма ограниченных способностей и с весьма большим тщеславием», как его аттестовал Валуев, прочел в семье П. А. Вяземского, а затем и напечатал пьеску «Десять лет из жизни редактора журнала», метившую в некрасовский «Современник». Редакция журнала выглядела в ней как притон поджигателей, которые не скрывают радости от возникновения Апраксинского пожара 1862 года и сожалеют, что не выгорел весь Гостиный двор.

Все это создавало очень напряженную обстановку для новой редакции «Отечественных записок».

Разрешение Некрасову хотя бы негласно издавать журнал отнюдь не было со стороны правительства в лице П. А. Валуева знаком снисхождения к «проштрафившемуся» редактору.

Более гибкий, чем многие из его коллег-министров, Петр Александрович давно пришел к той мысли, что «управлять исключительно при помощи следственных комиссий и жандармов невозможно» и что Россия «молчать по-прежнему... уже не способна». Отыскивая пути привлечения общества на сторону правительства, он пытался как-нибудь незаметно изменить «минорный» тон литературы на «мажорный», заставить ее петь по-своему. Тут в ход шли и денежные субсидии, и угроза дамоклова меча карательной цензуры, и даже «дружеские» советы «в интересах самого журнала». Сыграли свою роль и жалобы некоторых консервативных или умеренных журналистов вроде И. Аксакова, А. Краевского и В. Скарятина на то, что крутые меры против нигилистической печати привлекают к ней внимание и даже создают ей ореол мученичества.

Что касается «Отечественных записок», то, по свидетельству одного из цензоров, Валуев «находил более удобным сосредоточить бродячие литературные силы бывшего «Современника» в одном

журнале, полагая, что в противном случае они разбредутся по другим изданиям, что поставит в еще большее затруднение цензурное ведомство».

Хотя введение новых цензурных правил 1865 года и освободило ряд изданий от предварительного просмотра, Главное управление по делам печати с благословения Валуева практиковало частные сношения с редакторами, которые бы пожелали заранее узнать возможную правительственную реакцию на то или иное произведение.

Стремясь получить в свои руки журнал, Некрасов в переговорах с влиятельным членом совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстым выразил готовность подвергнуть свое издание этой негласной цензуре.

Валуев и его преемник Тимашев лелеяли надежду, что таким образом они получат серьезную возможность контролировать направление «Отечественных записок».

Но Некрасов, чувствуя себя в положении коменданта осажденной крепости, под стены которой предпринят тайный подкоп, сам начал вести подземные ходы, чтобы обрушить на противников мину, заготовленную против него.

Еще будучи в «Современнике», он завел ряд полезных знакомств. Его соседи за карточным столом или товарищи по охоте только диву давались при мысли, что этот азартный игрок и неделями пропадавший в лесах и болотах стрелок может редактировать столь серьезный журнал. А Некрасов всегда был рад объяснить, что он к журналу давно охладел и ведет это дело скорее по привычке и, конечно, не без выгоды.

«Головорез карточного стола», по выражению Тургенева, он пристрастился к игре еще в то страшное семилетие (1848—1855), когда в закупоренной николаевским режимом России его поэтический талант рисковал так и пропасть под спудом (писать «в стол» Некрасов органически не мог). Потом же он часто использовал свое излюбленное занятие для того, чтобы свести компанию с «нужным» человеком и даже «ненароком» проиграть ему.

Холодными арбенинскими глазами наблюдал он за попадавшимся в расставленные сети чиновником, любезничал с ним, подбивал писать в журнал и щедро платил, как, например, Ф. М. Толстому за музыкальную критику.

Создавая такого рода непринужденные отношения, оказывая разнообразные услуги, редактор «Отечественных записок» делал довольно трудным соблюдение чисто официального тона в случаях, когда ему приходилось обращаться к тем же людям с деловыми просьбами по журналу.

Он играл на естественно возникавшем у них чувстве неловкости, выражал сочувствие их нелегким обязанностям и исподволь подсказывал им аргументы, которыми можно было оправдать потачки тем или иным статьям «Отечественных записок».

Сама обстановка редакции дышала миром и больше походила на убранство помещичьего дома средней руки, чем на «притон ни-

гилистов». Письменный стол уживался здесь с бильярдом, вместо бюстов или портретов красовались чучела птиц и зайца-русака, словно демонстрируя, к чему больше привязано сердце «редактора поневоле», и черный пойнтер со скучающим видом бродил по комнате, как будто в ожидании скорого отъезда хозяина.

Некрасов казался куда более в своей стихии как радушный хозяин роскошного пиршества или за карточным столом, хвастающий тремя убитыми наповал медведями.

Только ближайшие сотрудники догадывались о той внутренней гадливости, с которой он якшался со своими «заклятыми друзьями» цензорами, и о напряжении, какого требовали его дипломатические маневры. Николай Алексеевич как-то признался, что, пока решалась судьба одного из номеров журнала, его нервы «были прогнаны сквозь строй».

А когда речь о том, что он вообще вытерпел от цензоров на своем веку, зашла однажды в лесу у костра, то собеседник Некрасова был потрясен выражением его глаз: так глядит на приближающихся охотников смертельно раненный медведь.

Но он выдавал себя редко. Скрытность и выдержка позволяли ему безупречно разыгрывать принятую на себя роль.

Щедрин же с большим трудом выносил ту долю редакционного «гостеприимства», которая приходилась на его счет.

«Это было некрасивое зрелище, — вспоминал про один из некрасовских приемов сотрудник «Отечественных записок», критик и публицист Н. К. Михайловский. — Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores[1] Олимпа нужных людей, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим, играл в карты и Салтыков, по обыкновению раздражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и проч. За его спиной стал один из неигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход; Салтыков проворчал что-то вроде: «Ну да! советчики!» Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политическую музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог».

После таких казусов Некрасову приходилось удваивать свою предупредительность, да и Щедрина уговаривать на следующий раз быть полюбезней с каким-нибудь «поганым фуксенком», как честил тот члена совета Главного управления по делам печати

---

[1] Второстепенные боги (*лат.*).

Фукса. «Быть любезным — это совершенно не моя специальность», — ворчал Салтыков.

Господа из цензурного ведомства уже не походили на тупоумных Фрейгангов, Красовских и Бируковых николаевской поры, с их крохоборческими придирками зачастую совершенно анекдотического свойства.

Нынешние, подобно своему начальнику Валуеву, заслуживали прозвища «Виляевых». Некоторые из членов совета Главного управления по делам печати сами подвизались на литературном поприще. В. М. Лазаревский после малоудачных прозаических опытов написал несколько любопытных книг об охоте, а Ф. М. Толстой даже сбился одно время на «либеральную стезю», за что некоторые его повести еще в 1866 году похвалил сам Писарев.

Дружба с Некрасовым льстила им, они принимали за чистую монету его внимательное отношение к их замечаниям.

«Вот Вам искренний совет человека с развитым изящным вкусом (Вы сами неоднократно признавали за мною это качество)», — писал Некрасову Феофил Толстой. «Положитесь на мое артистическое чутье и политический такт», — настаивал он в другой раз.

Несомненно, что влиятельные «друзья» Некрасова считали себя тонкими политиками, намереваясь оказывать на него определенное влияние и склонять к весьма умеренному либерализму.

«Вам следовало бы упрочить гражданское Ваше положение и доказать на деле, что основные принципы «Современника» были превратно истолкованы», — советовал Толстой в сентябре 1868 года. В этом «напутствии» гармонически сливались и «валуевская линия» (хотя сам он был уже в отставке) и трусливое опасение многих выцветших либералов, чтобы новые «Отечественные записки» не «раздражали» правительство.

«Говорят, будто бы Россия изнемогает под бременем либеральных поползновений, говорят, что эти поползновения обуревают ее до такой степени, что даже заставляют опасаться за ее драгоценное здоровье», — высмеивал этот согласный хор консервативных и мнимолиберальных предостерегателей Щедрин.

«Друзья» Некрасова присоединяли свои голоса к этому хору. Они пытались застращать поэта-редактора, указывая на «безотрадный фон» или «задорный колорит» издания, отзываясь о присылаемых им статьях, что они изготовлены «наилучшими Вателями[1] бывшего «Современника», и советовали ему «освежить бассейн изящной словесности... журнала чистою струею», чтобы заглушить «дурно пахнущие» реалистические произведения Наумова, Решетникова, Г. Успенского. Толстой рекомендовал в этих целях поместить... его собственную повесть и при этом, впав в игривый тон, невзначай дал великолепную характеристику и своим намерениям и своему созданию:

«Уговаривая Вас напечатать означенный роман, я преследо-

[1] Знаменитый французский повар XVIII века.

вал только давно взлелеянную мною мысль, именно: *слияние различных литературных* элементов.

Мне хотелось влить в бурные, несколько красноватые волны Вашего журнала струю свежей беловатой водицы».

Друзья-приятели Некрасова из цензурного ведомства в глубине души не могли не сознавать, что играют роль весьма незавидную, и все-таки не умели отказаться ни от казенного содержания, ни от некрасовского хлебосольства. В размягчении душевном они договаривались до сочувствия крамольному журналу, сплетничали о глупости Тимашева, который был твердо убежден, что России нужна всего одна правительственная газета взамен всех существующих, а потом казнились, припоминая свои неосторожные слова. Оказавшись под нажимом министра, признавали зловредными мысли, с которыми в душе были согласны, и потом юлили, выгораживая себя перед «друзьями» литераторами.

«Цензоры — блюстители нравов. Следовательно, мы — члены совета (цензоры по преимуществу) — должны быть люди безукоризненно нравственные и, как нарочно, *все мерзавцы»,* — записывал в дневник в припадке истерической откровенности Лазаревский.

Но сколько волка ни корми, он все в лес глядит. И советчики Некрасова время от времени заявляли свои «здравые суждения», указывая на отступления «Отечественных записок» от истинной благонамеренности.

Так, в сентябре 1868 года Феофил Толстой держал в совете речь о наблюдаемом «сродстве» новой редакции журнала с «Современником».

«Отрицание авторитетов, преклонение только перед юными, свежими силами молодого поколения и глумление, направленное против лиц, заведывающих администрацией, — вот принципы, начинающие проглядывать в статьях «Отечественных записок», — докладывал этот своеобразный агент-двойник, имея в виду прежде всего статьи Щедрина «Легковесные» и «Письма из провинции».

После годового перерыва он снова указал на отрицательное направление и «отъявленный космополитизм» Щедрина. Цензор Лебедев, со своей стороны, поднял вопрос о «глумлении над властью» в начавшейся печатанием «Истории одного города».

Действительно, произведения Щедрина весьма способствовали созданию в журнале «задорного колорита».

Еще не отзвучали пламенные речи по поводу «освобождения» крестьян — этих «бедных винтиков» государственного механизма, как выразился один красноречивый оратор.

Вовсю гремели славословия в честь «дарования» царем народу земских учреждений и суда присяжных.

Тютчев в дружеском кругу высказал подозрение, что царя, должно быть, коробит от похвал. Кто-то уже собрался было воздать должное скромности «Освободителя», но поэт продолжил свою мысль:

— Вероятно, в таких случаях государь испытывает то же самое, что каждый из нас, когда по ошибке вместо двугривенного даст нищему червонец: нищий рассыпается в благодарностях, прославляет ваше великодушие, отнять у него червонец совестно, а вместе с тем ужасно досадно на свой промах.

Однако нет недостатка и в сетованиях. С тех пор как «ударскуловорот» перестал входить в число хозяйственных приемов, экономические таланты многих помещиков как-то увяли. В прах рассыпались надежды на то, что машины и новейшие агрономические приемы с лихвой возместят мужицкий труд. Оказывается, без него никуда не денешься; надо снова лаской и таской заманивать крестьян на свое поле. Впрочем, редкий помещик загодя, при размежевании земель, не устроил дело таким образом, что у «освобожденных» нет ни выгона, ни луга, ни леса. Пусть прежний сенокос теперь зарос бурьяном и вовсе не нужен самому владельцу! Расчет верен: некуда деться с коровенкой — приходится снова гнуть спину на барина.

«Пропустить крестьян через чистилище срочнообязанных отношений я считаю не только полезным, но даже необходимым, и не желал бы, чтобы дело совершилось иначе», — цинично откровенничал в годы подготовки реформы Б. Чичерин. И вот теперь миллионы крестьян барахтались в сотканной реформаторами паутине. А тем временем к ним подкрадывались новые пауки. В вековых аллеях по зарастающим дорожкам зашуршали грузные шаги толстосумов, которых еще недавно «господа» не пускали дальше крыльца.

Уже в 1858 году в разговорах запестрели новые слова: «акции», «концессии». К прежним выгодным финансовым операциям прибавились новые — подряды на строительство железных дорог. Восторженные публицисты уподобляли их кровеносным сосудам, усиливающим жизнедеятельность государства. Но пока что жители многих местностей, куда они продвинулись, ощущали себя так, будто им поставили пиявки.

«Вообще, железные дороги дали, конечно, громадный толчок развитию внешней торговли; — размышлял над происходящим в России Карл Маркс, — но в странах, вывозящих главным образом *сырье,* эта торговля усилила нищету народных масс; и притом не только потому, что бремя новой задолженности, взятое на себя правительствами из-за железных дорог, увеличило давление *налогового пресса* на народные массы, но еще и потому, что с того момента, как всякий продукт местного производства получил возможность превращаться в космополитическое золото, многие товары, *бывшие ранее дешевыми* из-за отсутствия широкого сбыта... стали *дорогими* и были, таким образом, изъяты из потребления народа.»[1] Щедрин давно подметил некоторые черты этого процесса. «Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь — запрос на хлеб стал

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 34. С. 292.

так велик, что съедать его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд — и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать...» — говорил он в рассказе «Столп».

Новая гнетущая тяжесть ложилась на народ, еще не избавившийся целиком от прежней ноши. Помимо многообразной зависимости от помещиков, русский крестьянин тащил на себе всю неуклюжую административную колымагу, в. которой к тому же появилось новое — пятое, по выражению сатирика, — колесо: земские учреждения.

«Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего», — с мнимой благодарностью отмечал Щедрин всю горечь исторической минуты.

Он спешит на помощь читателям, искренне недоумевающим при виде поразительной смены общественного настроения, исчезновения деятелей, еще недавно пользовавшихся общим вниманием, и «воскресения из мертвых» фигур, казалось бы, уже обреченных на презрительное забвение.

Многие сбиты с толку и почти готовы уверовать, что, как это утверждают перепуганные либералы, Чернышевский и его единомышленники сбили Россию с пути правильного развития, «спугнули» правительство, которое иначе, дескать, даровало бы обществу неисчислимые блага. «Неумеренное» стремление к прогрессу — вот, оказывается, причина наступившей реакции!

— Это все литература намутила! — слышится окрест. — Это она возбуждала несбыточные чаяния, подрывала основы, подстрекала... А вот если бы помаленьку да полегоньку...

Кто догадается перечесть старые номера «Современника», где Чернышевский, чье имя больше не упоминается в печати, восставал против таких мнений?

«Ученые и литераторы, — писал он, — вовсе не имеют такой власти над развитием общества, чтобы слова их могли разбудить его, если оно спит... Мечты эти — совершенное самообольщение, предаваться которому значит гусиное перо принимать за локомотив».

Кто вспомнит, что даже те, которые сегодня тоже ропщут на литературу, еще недавно придерживались более трезвого взгляда?

«Панин, Брок и Чевкин, кажется, помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы. Они не хотят понять, что литература только эхо образовавшихся в обществе понятий и убеждений...» — возмущался в 1858 году А. В. Никитенко, восемь лет спустя находивший, что «стремление популяризировать знание сделало и делает много зла».

Щедрин ощущал настоятельную потребность найти ответ на вопрос, который рождался у читателей при виде всех этих явлений:

«Что вчера возбуждало похвалу, то сегодня становится пред-

метом порицания — в силу чего? где тот общественный физиолог, который в состоянии распутать этот наглухо завязанный узел, найти выход в заколдованном круге?»

Он стремился это сделать и в своих многочисленных очерках и публицистических статьях («Признаки времени», «Письма из провинции», «Итоги»), и в рецензиях и откликах на новые книги, и, наконец, в «Истории одного города» и «Помпадурах и помпадуршах», где все его мысли и побуждения собрались, как в фокусе, и воплотились в редкостные по своей фантастичности и в то же время по реалистической цельности образы.

Надо было рассеять пессимизм по отношению к активной борьбе за свои права, который возникает в атмосфере общественного разочарования:

«Совершив энергическое усилие и выиграв очень мало, а иногда и ровно ничего, общество проникается робостью и умолкает. Не подвиги прогресса улыбаются ему, а сказочное, спокойное преуспеяние, которое будто бы совершается само собой. А от надежд на сказочный прогресс один шаг и до полной неумолимой реакции... Оно (общество. — *А. Т.*) не берет в расчет, что шиш (то есть жалкие результаты, которые оно получило. — *А. Т.*) есть лишь естественное последствие тех деморализующих компромиссов, которые подрывали его недавние усилия; оно помнит только свой неуспех и от него умозаключает, что таков фаталистический исход всех реформаторских усилий вообще и во всяком случае».

Отправной точкой для этого щедринского рассуждения служили некоторые периоды французской истории, но не приходится сомневаться, что читатель отлично понимал, к чему еще можно приурочить сказанное.

Подобную же «расчистку» запутанных или намеренно вуалируемых понятий произвел сатирик, обратившись к тем «противоборствующим» силам, которые претендовали на роль главных деятелей современности. Это старая администрация и земство, борьба между которыми занимала все тогдашнее общество. На языке Щедрина это «бюрократы» и «сеятели», «историографы» и «пионеры». Он видит мнимый характер их противоборства: недаром «прозорливая» бабушка Татьяна Юрьевна из «Признаков времени» называет их братцами. «Сеятели» так же озабочены тем, чтобы пристроиться к казенному пирогу, как и бюрократы, а возбуждаемые ими запросы о снабжении местной больницы рукомойниками или нижним бельем и страстные дебаты по этому вопросу — в точности такого же свойства, как и издревле разрешаемые в канцелярских присутствиях.

Одним словом, как предрекает Щедрин, описывая одно застолье «в очень интересном обществе», «пройдет каких-нибудь полчаса, и эти два элемента, по-видимому столь противоположные, сольются и будут как ни в чем не бывало вместе закусывать и пить водку!».

И если это пророчество не осуществилось в русской жизни

полностью, так только потому, что «историографы» по своей ограниченности так до конца своих дней и не распознали в «пионерах» своих помощников: вместо скромных сотрудников, которые заверяли, что они «и мечтать не смели» о такой чести, им продолжали мерещиться грозные преобразователи, чуть ли не революционеры. Самые несмелые попытки земского самоуправления и судебная реформа казались «историографам» опаснейшим потрясением основ, ослаблением власти и т. п.

Со своей точки зрения они были вполне логичны: представители царской власти, упрямо державшейся за свою бесконтрольность, сами недавно еще беспрепятственно распоряжавшиеся судьбами тысяч людей, маленькие царьки в своих имениях, они даже в намерении точно определить круг их прав и обязанностей усматривали социалистические поползновения.

Каково им было отказываться от сладостной, завещанной крепостным правом привычки во все вмешиваться, везде чувствовать себя арбитром, чье мнение неоспоримо! Столкновение с чем-либо останавливающим их административный бег приводило их в ярость.

За долгие годы, проведенные в провинции, Салтыков прекрасно изучил эту породу, и Щедрин теперь обильно черпал из этих запасов наблюдений.

Фамилия знаменитой фаворитки Людовика XV, корыстной и легкомысленной, нимало не задумывавшейся над последствиями своих сумасбродств (точно так же, как и сам король, сказавший: «После меня — хоть потоп!»), сделалась с легкой руки сатирика прозвищем царских губернаторов в эпоху подготовки реформ и пореформенное время.

Помпадуры бывают всякие: кто в простоте души действует по старинке, смешивая либерализм с сокращением канцелярской переписки (одной из первых «реформ» нового царствования); кто нахватался новых слов и жонглирует ими, нисколько не задумываясь над тем, чтобы претворить их в дело; кто, узнав, что на свете есть законы, в тупоумном недоумении пытается разобраться, какой смысл тогда имеет его деятельность; кто, уловив перемену «вверху», стремительно переходит от напускного либерализма к оголтелому мракобесию...

Но во всех них (за исключением утопического «Единственного», никому и ничем не докучающего) живет жажда необузданной, ничем не стесняемой власти. Даже совершенный болтун Митенька Козелков и тот вопиет: «Нам надо дать возможность действовать... надо, чтобы начальник края был хозяином у себя дома и свободен в своих движениях. Наполеон это понял. Он понял, что страсти тогда только умолкнут, когда префекты получат полную свободу укрощать их».

Что же касается «помпадура борьбы» Феденьки Кротикова, так он и на практике показал благие результаты «свободы своих движений». В своих гонениях на «дух» (под этим туманным выражением понимается всякая самостоятельность) он прибег к по-

мощи шалопаев и мерзавцев и совершенно сбил с толку оробелых либералов.

«Земская управа, — повествует Щедрин, — прекратила покупку плевательниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные выносили какие-то загадочные приговоры вроде «нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения», потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и галдел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и предводительш».

Все эти помпадуры, мечущиеся в пароксизмах административной деятельности, в бреду бюрократической горячки, — с точки зрения «большой истории», конечно, умирающие.

«Но агония, — писал Щедрин еще в очерке «Наши глуповские дела», — всегда сопровождается предсмертными корчами, в которых заключена страшная конвульсивная сила».

Кромешное невежество помпадуров, их полная свобода от каких-либо моральных основ, ощущение полнейшей своей безнаказанности дают особенно страшные результаты в стране, народ которой измучен вековым гнетом и нищетой и полностью изверился в возможности спасительной перемены. Тут произвол не знает преград, и эта удушливая, ядовитая атмосфера убивает всякий росток мысли и активного действия.

Отвечая на упреки, что некоторые эпизоды деятельности Феденьки Кротикова это преувеличение и не имеют в жизни реального соответствия, сатирик обращает внимание читателя на опаснейшие возможности, которые таятся в российской действительности.

«Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, — пишет Щедрин о своем герое, — и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий, для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! *сегодня* он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагоприятствуют ему, и он *непременно* совершит все, что когда-нибудь лелеяла его тайная мысль».

Вспоминая ликование «предводителей и предводительш» (а значит, и всего дворянства) при повороте Феденьки Кротикова к борьбе против «духа» при помощи мерзавцев и шалопаев, можно сказать, что сам невыветрившийся «воздух» (пользуясь выражением из «Губернских очерков») крепостничества порождал такого рода опустошительные административные смерчи.

Фантастические размеры, которые принимают поступки героев в «Истории одного города», помогали увидеть истинный характер многих примелькавшихся явлений, они словно бы очутились под сильнейшей лупой.

Чудовищных щедринских градоначальников можно было бы счесть игрой воспаленного воображения, если бы не многочисленные соответствия между их диковинными выходками и реальной российской историей. Чего, кажется, фантастичнее: посумный сбор с каждой нищенской сумы, который лег в основание финансовой системы города Глупова! А между тем в этой карикатурной форме отразилось обложение налогами малоимущих классов, в то время как дворянство даже в 60-х годах упорно сопротивлялось попыткам распространить налоговое обложение и на него.

Предоставление юродивому Яшеньке кафедры философии приводило на ум не только проект мракобеса Магницкого об уничтожении преподавания этой науки, обсуждавшийся в последние годы царствования Александра I, но и более близкие события 1849—1850 годов.

— Случалось ли тебе когда-нибудь читать философские сочинения? — спросил в эту пору Николай генерал-адъютанта Назимова.

— Нет, ваше величество, не случалось, — отрапортовал человек, «данный в Вольтеры» Московскому учебному округу.

— Ну, а я прочитал их все, — щегольнул император своей премудростью перед доверчивым служакой, — и убедился, что все это только заблуждение ума.

В Московском университете курс философии в ту пору был отменен, а логику и психологию читал богослов Терновский; в Петербурге поговаривали о закрытии университетов вообще.

Но дело было даже не в отдельных разительных совпадениях «фантастики» и «будней». Вся глуповская эпопея разворачивается в строгом соответствии с порядками самодержавного государства.

Самым дерзким образом высмеивал Щедрин «драгоценные» исторические предания, зачастую мифического свойства, которые придавали видимость законности алчным притязаниям правящих классов.

Легенда о патриархальном единении власти с народом стала в книге предметом злых насмешек. Мало того, что, отправляясь к градоначальнику, даже именитейшие представители глуповцев держат под мышками кульки, полагая, что дело не обойдется без «доброхотных даяний». Все, что ни делает начальство, будь оно даже одержимо добрыми намерениями, оборачивается для глуповцев только новыми прижимками, несчастьями, большим или меньшим количеством убиенных.

Пожелают градоначальники предотвратить драки на межах — ничего другого не придумают, как косы отобрать, и крестьянская скотина гибнет от бескормицы.

Захотят ввести в употребление горчицу или лавровый лист — спалят непокорные деревни.

«Патриархальность» — самая грубая: делай, что велю, и все тут...

«В то время, — замечает Щедрин о «давно прошедших вре-

менах», — существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось».

Как бы ни менялись оттенки их «убеждений» (слово, которое вымышленный глуповский летописец, к притворному удивлению Щедрина, неизменно «путает» со словом «норов»), все градоначальники преисполнены тупоумной веры в силу приказа, даже если он противоречит не только насущным нуждам государства, но и законам природы. Они не сомневаются, что окриком и расправой можно достичь всего, чего пожелаешь. Сечение неплательщиков представляется им безотказным способом взимания недоимок, а простодушный Фердыщенко даже вообразил, что от одного предпринятого им путешествия по городскому выгону (довольно зло пародирующего помпезные поездки августейших особ для изучения России) — «травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче...» «— Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения, — бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока».

Тощий набор бюрократических административных приемов наиболее рельефно воплощен в фигуре градоначальника с «органчиком» в голове, способным выводить лишь две фразы: «Разорю!» и «Не потерплю!».

Это несложное «мировоззрение» вполне устраивает начальство, возвышающееся над самим «хозяином города». Ведь даже во времена сердобольного Микаладзе оно, «несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну?», а на оправдания преступившего законы Беневоленского, что зато «никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были», ответствовало, что уж лучше бы он их «совсем в отощание привел».

И разве не раздавалась знакомая песня «органчика» даже на взаправдашних совещаниях тогдашних министров?

«Когда Потапов говорил, что край разорен и еще более разоряется, — рассказывает П. А. Валуев, — военный министр отозвался, что лучше это, чем дать вновь опериться полякам. Опустошение как принцип управления!»

Любые неполадки в машине управления воспринимаются и героями «Истории одного города» и их разнообразными прототипами не как сигнал о ее собственном несовершенстве, а как проявление бунта, измены, интриг. Бунт — то спасительное слово, которое все объясняет (точно так же, как «нигилизм», «социализм» и т. п.).

Еще в «доисторические» времена поставленный править глуповцами вор-новотор нуждался в бунтах, подавление которых сулило ему княжеские милости и новые дани с усмиренных.

Когда разоривший край нелепыми войнами за повсеместное разведение персидской ромашки Бородавкин обнаружил, что жители не платят дани, он по обыкновению «обсудил этот факт не прямо, а со своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.

— Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти, — на французов поглядываете!»

Щедрин, верный своему излюбленному приему, доказывает, что обвинения, на которые так щедры реакционеры и консерваторы по адресу своих противников, с бо́льшим основанием могли быть обращены против них самих. Описывая благополучное для Глупова время, когда он обходился без градоначальника, сатирик пишет:

«Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки».

Иронические комментарии, заключенные в скобку, имели совершенно неприкрытый противоположный смысл. Щедрин был свидетелем многих политических дел, возникавших только потому, что жандармам надо было не только оправдать свое существование, но и заявить права на еще большее влияние. В годы своей чиновничьей службы он не раз видел, как помещики объявляли крестьян бунтовщиками ради «беспрепятственного входа» в права владения их имуществом и землей. Истинные бунтовщики, истинные заговорщики против естественного порядка вещей, истинные нигилисты, отрицающие все проявления жизни и противопоставляющие этому один безграничный произвол, — это, по мысли Щедрина, градоначальники, квартальные, жандармский «неустрашимый штаб-офицер», готовый начать интригу из-за того, что на торжественном обеде ему подали уху поплоше — не стерляжью, а из окуней.

Но как выносит народ всю эту мрачную бестолочь, тучи чиновных оводов, обседающих его, жалящих, тянущих из него кровь? — эта мысль придает «Истории одного города» особую горечь.

Глуповцы легко обманываются начальственными посулами, наигранно-ласковыми словами и поддаются на любую хитрость. Их терпение превосходит всякое вероятие; даже в несчастье они предпочитают, как стадо овец, жаться к начальству в слепой вере, что оно «не спит» и все уладит.

Редкие вспышки их. возмущения слепы и часто обращаются на совершенно неповинных людей, которые, по их представлению, преступили какие-то поставленные от начальства правила («зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?» — объясняют глуповцы

вину осужденного на смерть). Самые отчаянные смельчаки готовы удовольствоваться предложением стать на колени и просить прощенья, а когда не находят поддержки, начинают пререкаться между собою и обвинять друг друга в смутьянстве. Масса всегда готова отступиться от своего же собственного ходатая или заступника. Так случилось с Евсеичем. Когда его «повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую», толпа глуповцев, вместо того чтобы отбить его, проводила Евсеича напутствием, которое было бы циничным, не звучи в нем такая тупая покорность судьбе:

«— Небось, Евсеич, небось! — раздавалось кругом: — с правдой тебе везде будет жить хорошо!»

В описании судьбы Евсеича и первых глуповских вольнодумцев Ионы Козыря и учителя Линкина звучала незаживающая боль, вызванная легкой расправой реакции с Чернышевским, Михайловым, Серно-Соловьевичем при попустительстве «образованного общества» и полной пассивности народа.

Эти картины выглядели как ответ некоторым оптимистам, которые, соглашаясь с тяжестью реакции для передовой интеллигенции, находили, однако, что она не затрагивает народа и потому может быть приравнена к легкой зыби на море.

«Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности, — отвечал Щедрин, — однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое?.. едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития».

Щедрин по-прежнему не отказывался от мысли, что без участия народа любое историческое предприятие остается непрочным, беспочвенным. Однако он не разделял упований на то, что от народа в любую историческую минуту можно ожидать деятельных усилий для пересоздания гнетущей его житейской обстановки.

Глуповец — это «человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления». Не его вина, что человеческие его свойства покрыты целой массой «наносных атомов», затемняющих, а то и вовсе искажающих их, но это трагедия, могущая привести к тяжелейшим историческим последствиям.

Освободится ли и когда освободится народ от самого страшного последствия крепостничества, которое Щедрин определил в «Письмах о провинции»:

«...русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего

хуже — беден сознанием этой бедности». (Эти слова очень часто вспоминал В. И. Ленин.)

Не потребуется ли ему такое позорное отрезвление, образчик которого рисует сатирик в главе о «мрачном идиоте» Угрюм-Бурчееве?

«Воцарение» Угрюм-Бурчеева в Глупове — это торжество произвола, дошедшего до полной бесстыжести и утратившего всякую меру вещей. Действия других градоначальников часто не уступают поступкам Угрюм-Бурчеева по бессмыслице и жестокости; Бородавкин, например, умер накануне задуманного им разрушения города. Однако в их поведении было много самодурства, так сказать, простодушного и возбуждавшего в подчиненных надежду на «отходчивость» гневающихся начальников. В Угрюм-Бурчееве же даже последние, неузнаваемо извращенные остатки человечности исчезают перед желанием претворить в жизнь свои солдафонские идеалы: «Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился».

Низвести Глупов до уровня собственных невзыскательных вкусов, признать за жителями только те потребности, которые испытывал он сам (в основном потребность маршировать), — вот задача, которой одержим последний градоначальник. В его поступках доведены до крайнего предела тенденции, существовавшие в реальной русской истории. «Единообразные одежды» глуповцев, изготовленные «по особым, апробованным градоначальником рисункам», не кажутся невероятными, если вспомнить стремление Николая I покрыть всю Россию зданиями одинаковой, имитирующей античные классические образцы архитектуры. При нем даже внутреннее убранство большинства домов, как вспоминают, было одинаково.

Угрюм-Бурчеев мечтает о казарме как об идеале человеческого общежития. И на улицах николаевского Петербурга, на взгляд де Кюстина, «все было тихо и размеренно, как в казарме или лагере», и даже красавицы в экипажах, по замечанию Никитенко, сидели вытянувшись, как на смотру.

Словом, фантастический бред, которым хотел наполнить жизнь щедринский герой, лишь концентрировал те упования, которые питала абсолютная власть, жаждавшая подавить все проявления самостоятельных мыслей, чувств, даже вкусов ради увековечения своего господства.

На обычное обвинение, бросаемое демократам и социалистам, в том, что они хотят нивелировать общество, Щедрин отвечал художественным анализом тенденций существующего режима и неограниченного произвола вообще, доказывая, что им-то и присуща особая наклонность «привести к одному знаменателю» людей, искусство, науку, присуще мелочное, подозрительное регламентирование всех человеческих проявлений. Даже в тех рамках, которые избрал Щедрин для своей сатиры, она часто давала не только фантастически преувеличенное, но почти строго реали-

стическое отображение действительности «градов и весей» самодержавной России.

Разве не глуповский градоначальник встает перед нами, когда узнаешь, что в 1742 году астраханский губернатор Татищев сочинил правила, где говорилось, сколько раз крестьянин должен мыть руки и как вести себя в каждый час дня?

И разве не родня ему нижегородский губернатор, распорядившийся за несколько лет до появления «Истории одного города», чтобы все женщины, носящие круглые шляпы, синие очки, башлыки, коротко остриженные и не носящие кринолинов, забирались в полицию и в случае отказа переменить наряд высылались?

Желание абсолютизма направить течение жизни по-своему, а фактически прекратить его, охарактеризовано Щедриным в истории разрушения Угрюм-Бурчеевым города и постройки плотины, чтобы «унять» возмутившую его реку.

И инерция послушания у глуповцев такова, что «масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации».

«Нечеловеческие усилия» затрачивает народ на пустую затею Угрюм-Бурчеева: в речной бездне бесследно исчезают и груды материала и все новые партии рабочих, в то время как «мрачный идиот» уже лелеет мысль о «своем собственном море».

Мнимая громадность «всепокоряющего» замысла градоначальника — это еще одно из средств «ошеломления» глуповцев. Но оно оказывается и последним. Река прорывает и сносит сооруженную глуповцами запруду, и этот позорный крах угрюм-бурчеевской затеи не только заставляет его отступиться от задуманного, но и приводит самих глуповцев к сознанию невозможности подчиняться его единоличной воле.

Пробудившийся стыд за собственную слепоту и покорность, доведшие народ до крайних пределов унижения, переходит в гнев на «идиота», тем более что, не замечая перемены в настроении подчиненных, он ничем не поступается в своей бесчеловечной системе.

Однако даже в это время исторический грех пассивности и нерешительности тяготеет над глуповцами:

«Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев».

И «неслыханное зрелище» какого-то шквала, налетевшего на Глупов и покончившего с последним градоначальником, возникает скорее не как итог «беспрерывных совещаний», а как слепой, не

могший не прийти стихийный взрыв. В его описании, естественно, затуманенном в условиях цензуры, маячат черты колоссального бунта, возникающего под гул набата («колокола сами собой загудели», — сообщает летопись) и пугающего своим яростным размахом глуповцев, которые оказались простыми зрителями совершающегося: «...глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца».

Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе», когда новоявленная стихия достигла города. Однако он успел обратиться к глуповцам с каким-то зловещим предсказанием: «— Придет...» Что это должно было означать? Не пророчил ли он, что легкость, с которой они от него избавляются в эту минуту, вовсе не является залогом того, что подобные исторические затмения уже более не повторятся? Что отсутствие народной активности может вызвать на свет не менее тяжкие проявления угрюм-бурчеевщины?

Этой тревожной нотой заканчивается рассказанная сатириком «История одного города».

Не только откровенно реакционная, но и либеральная журналистика восстала против горькой книги Щедрина. На автора посыпались возмущенные упреки в клевете на русский народ и осмеянии его истории.

«...Причина, охладившая моего отца к Салтыкову, — пишет, например, дочь одного из вятских знакомых сатирика, Л. Н. Спасская, — была его «История одного города». Она сильно возмутила моего отца, знатока и любителя русской истории... Естественно, что такое издевательство над всем дорогим его сердцу, как «История одного города», не могло пройти для него бесследно».

Подобные «знатоки и любители» отечественной истории как-то запамятовали, что даже у почитаемого ими Карамзина в его «Истории государства Российского» встречались строки, как будто предварявшие щедринский горестный сарказм:

«Между иными тяжкими опытами судьбы... Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением... Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении...»

«Не знаешь, что более славословить, — «подхватывает» этот мотив щедринский архивариус-летописец; — власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий!»

И не родственны ли самые фантастические, самые «издевательские» описания потерявших голову от ужаса глуповцев беспристрастному повествованию знаменитого историка:

«...в беспамятстве страха они (москвичи. — *А. Т.*) спешили укрыться, где могли. Площадь опустела... Иоанн стал у виселиц,

осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь... Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали (слово частое и в «Истории одного города». — *А. Т.*), но шли... Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ! Увидишь муки и гибель, но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: „Да живет многие годы государь великий! Да погибнут изменники!"»

«Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени», — «клевещет» сатирик.

Особенно задела Салтыкова напечатанная в «Вестнике Европы» рецензия А. Б—ова, принадлежавшая А. С. Суворину.

Этот бойкий журналист, постепенно проделывавший эволюцию вроде той, которую в свое время совершил Катков, уже выступал против собранных в одной книге «Признаков времени» и «Писем о провинции».

«В «Вестнике Европы», — сообщал тогда Салтыков Некрасову, — мою книгу учтиво обругали на тему — не видно, дескать, какие у него политические и общественные убеждения, а остроумие, мол, есть. Писал эту труху развязный малый Суворин...»

И на сей раз рецензент пытался воспользоваться старой писаревской оценкой творчества Щедрина и объявить «Историю одного города» очередным проявлением «веселонравия» сатирика, которому неважно, над чем смеяться, лишь бы забористо выходило. Отворачиваясь от истинного содержания произведения, Суворин объявлял его сатирой на историю России и с этой точки зрения находил в нем много упущений и промахов. Не последнее место в рецензии занимали рассуждения о глумлении Щедрина над «безответным» народом.

Щедрин написал пространное письмо в редакцию «Вестника Европы» и, когда оно там не появилось, высказал те же мысли в рецензии на сочинения Н. Лейкина. Он пояснил, что «не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел... в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною». Историческая же форма рассказа предоставляла ему лишь некоторые удобства (разумеется, не только цензурного свойства, но и для оправдания того, что многие сложные, запутанные явления современности были сведены к более наглядным).

Жестокой насмешке подвергнуто в письме Щедрина примитивное, буквальное истолкование Сувориным многих образов «Истории одного города»:

«Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы: «не потерплю!» и «разорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?» — едко допытывался сатирик.

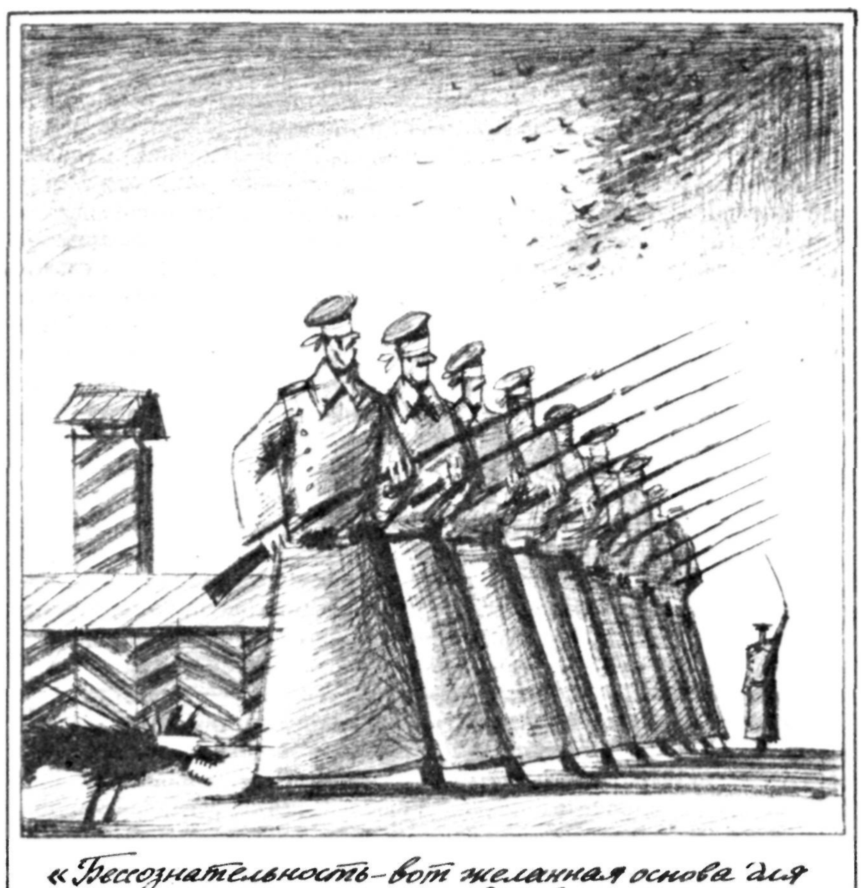
Неизвестно, однако, взялся ли бы он за перо, чтобы отвечать

Суворину, из одного только желания обнаружить всю несостоятельность этой критики, если бы его не тревожили другие доносившиеся до него отзывы об «издевательстве» над народом. Это обвинение было слишком серьезным. И Щедрин ответил на него:

«...Недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает народа исторического, т. е. действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть речи; если он выказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия все-таки обусловливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности».

Взгляд Щедрина трезв и вместе печален: покуда народ будет покорно исполнять роль «винтиков» в чудовищной машине, которой самодержавие его же подавляет, он заслуживает самого сурового осуждения. И сатирик не одинок в этой уверенности, хотя никакие ветры не могут домчать из сибирской каторги горестные упреки Чернышевского «жалкой нации», «нации рабов», готовой смириться при первом же увещевании беззубого будочника.

«Для кого расступится мрак, окутывающий лицо масс, и даст увидеть это лицо просветленным, носящим печать сознания и решимости?» — безответно вопрошает Щедрин.



«Бессознательность — вот желанная основа для того патриотизма, который любезен начальству».
М. Е. Салтыков-Щедрин «Сила событий»

VII

С новой силой возбудились многие издавна тревожившие Щедрина вопросы во время франко-прусской войны 1870 года.

Крушение «могущественной» Второй империи после поражения при Седане сделалось предметом разнообразнейших толков. Позабыв, что еще недавно в Наполеоне III видели сильную личность, спасшую Францию от «гибельной анархии», правительственные круги выказали радость. И не только потому, что исход войны позволил России разорвать тягостные условия Парижского трактата 1856 года: победа войск «железного канцлера» Бисмарка, казалось, подтверждала доктрину

о преимуществе «дисциплинированной» нации перед нацией, «развращенной» парламентаризмом.

Все эти рассуждения носили, разумеется, не отвлеченно-философский характер, а были предназначены «для внутреннего употребления». Славословия в честь пруссаков, предпочитавших «некоторую узость взглядов» «бесплодной широте» их, сливались с предостерегающими советами молодому земству «не расплываться», «не торопиться», действовать «не вдруг».

Щедрин не мог не отозваться на эти лживые рассуждения, целью которых было лишний раз показать мнимую бесплодность бурных революционных потрясений и бо́льшую выгодность продвижения «тихой сапой», как то было в Германии.

Воспитанный на идеях французского утопического социализма, сатирик саркастически высмеял попытки отрицать огромные заслуги народа, «выработавшего Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи».

«Бедная Франция!.. Тебя, на которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества, — тебя, в настоящую минуту, каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»![1] И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве»... Покуда ты выдумывала свободу и на свой страх выводила жизнь на почву общественных вопросов, мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их».

Анализируя в статье «Сила событий» уроки 1870 года, Щедрин принужден был соблюдать величайшую осторожность. Многие явления, послужившие причиной краха Второй империи, пышно расцветали и на русской почве.

Зловещим символом полного взаимопонимания обоих режимов была общеизвестная дружба Александра II с французским послом генералом Флери. Петербуржцы часто видели их катающимися в тесной пролетке, где русский царь сидел, почти обнявшись, с одним из самых грязных пособников Наполеона III.

Заключая статью, Щедрин прозрачно намекнул на то, что Россия находится куда в худшем положении, чем Франция, даже при Наполеоне III относительно более свободная:

«...То положение вещей, которое во Франции было лишь плодом исключительного недоразумения, для многих стран, не столь взыскательных, есть положение хроническое, а для других даже желательное».

---

[1] Дураков (*нем.*).

Поражение Франции последовало после многолетних патриотических воплей и заверений, что к войне «готово все, до последней пуговицы на гетрах». Говоря об этом, Щедрин всем тоном повествования возвращал читателя к памятным временам Крымской войны, когда в таком же положении была Россия.

«Могут ли, например, именоваться патриотами подрядчики, поставляющие вместо ружей шаспо простые ударные, или кремневые, или, наконец, такие кремневые, у которых, вместо кремня, фигурирует разрисованная на манер кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющие такие поставки?» — писал Щедрин и доказывал, что возглашаемый правительством «патриотизм» относился к числу тех «современных призраков», которые сатирик не устает преследовать.

Это тема для него не новая. Патриотические уверения в устах людей, думающих только о собственном насыщении, давно возбуждали в нем желчное чувство. Еще в «Губернских очерках» один из героев говорит другому:

«— А ведь прискорбно будет, поручик, если вы с вашими познаниями, с вашими способностями, с вашим патриотизмом — потому что порядочный человек не может не быть патриотом — прискорбно будет, если со всем этим вы не получите себе приличного места...»

И оба собеседника — пустейшие пройдохи, не имеющие ни способностей, ни познаний, ни патриотизма, хотя они и рассматривают звание патриота как свою наследственную дворянскую привилегию.

В разгар шовинистической кампании 1863 года Щедрин выступает с рецензией на псевдопатриотическую книжонку князя Львова и в ней зло подмечает «прикладной» характер «любви к Родине», внушаемой «простонародью»: «патриотический дух», о котором печется автор, потребен лишь на дальнейшее увеличение царских владений, с этой целью исследуется и история страны.

«Неужели между русским народом и его прошедшим нет другой живой связи, кроме той, которая заключает в себе представление о расширении и округлении границ?» — спрашивает Щедрин и с большой смелостью ставит под сомнение необходимость таких сочинений вообще:

«Человек и без того уже наклонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества».

В «Силе событий» Щедрин продолжает свою мысль еще дальше. «Идеалом» патриота считается наименее развитой, не склонный поверять все своим умом человек. *Бессознательность* — вот желанная основа для того патриотизма, который любезен на-

чальству. С одинаковым безразличием, покорный рекрутскому набору, отправляется курский мужик и «на поляка» и на уездный город Соликамск, не ведая ни об «округлении границ», ни о «потрясении государственных основ».

Патриотизм, который основывается на безразличной покорности, непрочен. Он — мертворожденное детище бюрократии, возомнившей, будто она может по собственному произволу одни явления народной жизни вызывать, а на другие налагать строжайший запрет.

«...Нельзя ограничить индифферентизм исключительно одною сферою жизни и остановить его наплыв во все остальные сферы, — пишет Щедрин. — Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и скуден инициативой, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно, на страх врагам». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикой».

Так зарубежные события становятся поводом для острейшей критики основ внутренней политики самодержавия, которое всячески сопротивлялось малейшему развитию народной самостоятельности.

Так Щедрин энергично возражал против попыток возложить ответственность за безобразное экономическое состояние страны на русского простолюдина.

В новых условиях это было продолжением проповеди Чернышевского, что «для развития экономической деятельности пассивные добродетели никуда не годятся». И не так уж важно, знал ли Щедрин, что цензура изъяла из статьи Чернышевского «Суеверие и правила логики» (1859 год) отрывок, следовавший за этими словами:

«Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе...»

Царское правительство уверено, будто «патриотизм врожден, следовательно, он всегда налицо, следовательно, его можно вызвать на сцену во всякую минуту, когда в нем есть надобность». Эта тупоумная уверенность вызывает у Щедрина уничтожающе-презрительное сравнение.

«Все равно как графин с водкой, — иронизирует Щедрин. — Покуда нет в водке надобности, графин стоит в шкапу; как только есть надобность, графин ставится на стол, наливается рюмка или две, а затем водка опять препровождается в шкап, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтоб не воняли».

Эти размышления Щедрина мимоходом объясняют некоторые «загадочные» явления в истории русской журналистики, как, например, неоднократные цензурные гонения на все издания И. С. Аксакова с их всегдашним патриотическим пафосом. «В глубине души патриотизм столько же противен им, — пишет сатирик о «теоретиках народного обезличения», — как и вообще всякое проявление человеческой самодеятельности».

Такова логика этого скудоумного охранительства: оно отталкивает даже своих сотрудников, не желая слушать ничьих, самых благожелательных советов. «Не твое дело!» — готов ответ всем, кто смеет высказать свое мнение.

В свое время Чернышевский доказывал необходимость не докучать народу излишней регламентацией, этого же требовал Щедрин. Однако русский народ все еще напоминал Гулливера, крепко опутанного за время сна всевозможными карликами. Когда же подлинные друзья народа возмущались этим, в ответ поднимался дружный визг в защиту «вековых обычаев русской земли».

Даже если кто-либо из правящих лилипутов всерьез рассчитывает таким административным измором достичь народного благоденствия, благие попытки заменить патриотизм и все прочие гражданские добродетели дисциплиною дадут самые зловещие результаты. Тут Щедрин возвышается до больших исторических обобщений.

«...Всякая дисциплина, — предостерегает он, — представляет машину столь сложную, что строгое применение ее непременно увлечет патриотов-руководителей совсем в другую сторону от главных целей».

Ближайшим образчиком вероятных логических последствий этого принципа кажется ему ликующая победоносная Германия. Современники не могли оценить по достоинству мрачных опасений Щедрина, но «благодарные потомки» победоносного Бисмарка увидели бы свою судьбу, как в зеркале, в строках Щедрина, обращенных к побежденной Франции:

«Твоя свобода бессодержательна — это так, твои социальные движения несостоятельны — и в этом нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольд [1] поголовно провозглашает эту истину; но не существуй их, не держи они мир в некотором напряжении, какой гессенец поручится, что не придут проходимцы и не перестроят все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегают случаи, дающие возможность что-нибудь стянуть. Прежде всего они стянут бессодержательную свободу, а потом созовут всех гессенцев, шаумбургцев и зигмарингенцев и при громе пушек скажут им: «Нет вам ни почт, ни почтальонов, ни почтовых марок, нет ни ретур-билетов, ни игольчатых ружей, ни нарезных пушек;

---

[1] Одно из тогдашних немецких княжеств.

нет вам литературы, кроме «Wacht am Rein»![1] Живите, как бог даст... Нет вам ни школ, ни университетов, ни Эврипида!»

Увы! — скажем мы словами сатирика: — Многое возможно, что с первого взгляда кажется даже фантастическим. Изменятся какие-то детали, что-то прибавится, что-то убавится, и люди увидят наяву эту «беспочвенную игру воображения...»

И еще одно предсказание сатирика сбылось, на этот раз вскоре после того, как была опубликована «Сила событий». В горчайшую для французов минуту он верил в «галльского петуха» и в народ, для которого в силу его славных традиций «устранение причин, породивших неудачи, обязательно, и притом не частное или измороченное, а коренное, немедленное».

«Сила событий» появилась в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1870 год, а 18 марта 1871 года в Париже совершилась революция.

Коммуна была оболгана и оклеветана реакционной прессой. Консерваторы благословляли палача Коммуны — кровавого карлика Тьера. Б. Чичерин, по его собственному признанию, «с величайшим сочувствием следил за его патриотической деятельностью для восстановления разгромленной Франции». Трагическая судьба Коммуны была воспринята многими либералами как новое доказательство порочности революционного пути. А. В. Никитенко писал, что «...если Франция после этого не образумится, не покончит навсегда или по крайней мере на очень долго со своим любимым времяпровождением (это уже совсем в духе той критики французской демократии, о которой говорил Щедрин в «Силе событий»! — *А. Т.*), то придется согласиться, что она обречена на гибель».

Высказать в русской печати не то что одобрение, но даже сочувствие коммунарам было невозможно. Цензура потребовала вырезать из августовской книжки «Отечественных записок» за 1871 год пятую главу цикла Щедрина «Итоги», где сатирик негодовал на зверскую расправу с парижскими рабочими.

«Одичалые консерваторы современной Франции, — писал он, — в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны!»

Осенью один из знакомых Салтыкова, философ-социолог В. И. Танеев, прочел ему свою статью о Международном Товариществе Рабочих — I Интернационале. Глава о Коммуне во многом основывалась на книге Карла Маркса «Гражданская война во Франции». Попытка Михаила Евграфовича напечатать статью Танеева в «Отечественных записках» не увенчалась успехом.

Неизвестно, читал ли сам Щедрин книгу Маркса и заметил ли, что некоторые полемические приемы, употребленные в ней, довольно похожи на его собственные.

«Гогенцоллерны и английские олигархи, б*о*льшая часть бо-

---

[1] «Стража на Рейне», шовинистическая немецкая песня.

гатств которых состоит из награбленных церковных имуществ, были, конечно, сильно возмущены Коммуной, которая получила от конфискации церковных имуществ всего только 8000 франков»[1], — изобличал Маркс лицемерие обвинителей Коммуны.

Автор «Гражданской войны во Франции» доказал, что консерваторы, которые на весь мир вопили о парижских грабителях и насильниках, о попранном праве собственности и царящем в Коммуне разврате, сами не брезгуют ничем ради наживы.

Жюль Фавр, честивший коммунаров «беглыми каторжниками, дерзко восставшими против семьи, религии, порядка и собственности», путем подлога заграбастал богатое наследство. Сам Тьер был уличен в казнокрадстве, а в 1871 году «его первой мерой к спасению Франции от грозившего ей финансового краха было назначение себе трехмиллионного годового оклада» [2].

Рассказывая, что в дни Коммуны «распутный Париж Второй империи бесследно исчез», Маркс с величайшей иронией заметил:

«Кокотки последовали за своими покровителями, за этими обратившимися в бегство столпами семьи, религии и, главное, собственности»[3].

1871 год был богат драматическими событиями. Одним из них был суд над одиннадцатью участниками тайной организации «Народная расправа», созданной С. Г. Нечаевым. Этот первый в России открытый судебный процесс по политическому делу наводил на самые разнообразные размышления.

Не пропускавший ни одного заседания Ф. И. Тютчев пришел к горестному для него заключению, что правительственной власти, лишенной всяких идеалов, нечего противопоставить «заблуждающимся, но пылким убеждениям» революционеров. И даже легковерный Никитенко, поддававшийся всяким нападкам на социалистические учения, записывал в дневнике:

«...Говоря о причинах наших печальных волнений, нельзя не сказать того, что в юношах невольно зарождается ненависть и презрение к такому порядку вещей. И что тут действует не одна нравственная распущенность, но и кое-какие благородные побуждения».

Обвиняемые вызывали большое сочувствие у студенчества и передовой интеллигенции своей очевидной искренностью, жарким стремлением завоевать свободу для народа.

Однако суд дал благодарный материал и для новых нападений на социализм и революцию, на «Интерналку», как злобно называли реакционеры I Интернационал.

Фанатик и честолюбец Нечаев сошелся с анархически настроенным Бакуниным и Огаревым. Доживавший свои последние дни Герцен, далеко не всегда справедливый по отношению к

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. С. 351.
[2] Там же. С. 327.
[3] Там же. С. 353.

молодой, часто более радикальной, чем он сам, эмиграции, на этот раз верно почувствовал в Нечаеве что-то глубоко чуждое духу подлинного революционера. События показали, что он был совершенно прав в своих предположениях.

Все ошибки и промахи более ранних русских революционеров — такие, например, как наивная попытка «Молодой России» внушить преувеличенное представление о своих силах и застращать противников, — были удесятерены в программе и практических действиях Нечаева.

Необходимая дисциплина и конспирация превращались им в средство полного подчинения членов организации его личной воле. Всякая критика отводилась ссылкой на авторитет «Центрального Комитета», функции которого исполнял один Нечаев. С иезуитской неразборчивостью в средствах Бакунин и Нечаев сходились на том, что для революционера «нравственно... все, что способствует торжеству революции», как писалось в выработанном ими «Катехизисе революционера».

Таким образом, революционный «арсенал» пополнился политическими убийствами, шантажом, обманом. Нечаев осуществил это и на практике. Он организовал убийство усомнившегося в его полномочиях и правоте студента Иванова. Морочил головы товарищей вздорными сведениями о мощи созданной им революционной организации и о готовности страны к восстанию. Выкрадывал у Бакунина письма, могущие его компрометировать. Пытался запугать сына Герцена, чтобы тот не дал в печать последних произведений отца, направленных против бакунинской тактики.

В борьбе против старого мира Нечаев пользовался излюбленными методами самого оголтелого консерватизма, насаждал в организации бездумное подчинение авторитету руководства, точнее — единоличного руководителя, и с яростью преследовал всякую самостоятельность, всякое сомнение. Щедрин мог бы отнести к Нечаеву свои слова о «строгой дисциплине», увлекающей руководителей «совсем в другую сторону от главных целей».

Попытки Нечаева выдать себя за представителя Международного Товарищества Рабочих и воспользоваться его авторитетом дали повод для новой клеветы на рабочее движение и Парижскую коммуну. Генеральному совету Интернационала пришлось публично заявить, что Нечаев «узурпировал имя Международного Товарищества Рабочих и использовал его в своих целях, обманывая народ в России и создавая там жертвы».

Маркс презрительно назвал общественный строй, который мерещился Бакунину и Нечаеву, прекрасным образчиком «казарменного коммунизма», а говоря о «Катехизисе революционера», заметил, что эти «всеразрушительные анархисты» на деле «доводят до крайности буржуазную безнравственность»[1]

Трагическое заблуждение людей, принявших Нечаева за дей-

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 414, 415.

ствительного революционера и повиновавшихся его деспотическим распоряжениям, надолго запомнилось обществу и в известной мере скомпрометировало саму идею конспиративной организации.

Действия Нечаева позволили правительству с конца 1869 года начать новые аресты, обыски, преследования печати.

«Шувалов работает неутомимо, — записывал А. В. Никитенко про всесильного шефа жандармов в 1870 году. — Он беспрерывно высылает то того, то другого в отдаленные губернии, забирает людей и сажает их в кутузку — все это секретно. Все в страхе; шпионов несть числа... Сочиняются заговоры по всем правилам полицейского искусства или ничтожным обстоятельствам придаются размеры и характер заговоров».

Один из приемов Щедрина — не только выбивать из рук противника употребляемое им оружие клеветы, но и доказывать, что все эти обвинения справедливы как раз по отношению к тем, кто ими пользуется. Он применил его и на этот раз: в последней, исключенной из журнала по требованию цензуры главе цикла «Итоги» с блеском вскрывается пустопорожность разглагольствований о грозящей обществу анархии, о том, что революционеры собираются «ломать», «разрушать», «уничтожать». По мнению Щедрина, «...те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое ветхо, негодное не годно, — те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб». Совсем другое дело поступать так, как их хулители, которые жаждут воспрепятствовать неизбежному и естественному развитию жизни. Действовать, как Угрюм-Бурчеев, пытавшийся запрудить реку, — «значит идти наперекор основным ее (жизни. — *А. Т.*) законам... значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом».

Откуда же берутся «краснощекие пройдохи», которые только добреют да нагуливают жиру в борьбе с «анархией»?

Чтобы ответить на этот вопрос, Щедрин виртуозно извлек все сатирические возможности из скандального разграбления, которому подверглись многие местности Средней Азии, когда после завоевания генералом Черняевым в 1865 году Ташкента туда нахлынули орды разорившихся помещиков и чиновного «чернильного племени».

Многие современники сатирика возмущались лишь крайними формами произвола и бесстыжести, с которыми действовали обнаглевшие колонизаторы края.

«Читали вы о том, как полупьяный капитан из Ташкента дрался с полицией, расквасил кой-кому носы, своротил рыла и жалел, что нет под рукой шашки, а то бы снес с плеч дурацкие головы дворников и полицейских?» — спрашивал в одном из писем К. Д. Кавелин.

Щедрин же воспринял ташкентский эпизод как естественное, достигшее в благоприятных условиях особенно внушительных размеров проявление аморальных, хищнических инстинктов правящих классов. Незатухающая алчность дворянства сочета-

лась со все более разыгрывающимся аппетитом русской буржуазии.

Существует мнение, что первый очерк Щедрина «Господа ташкентцы», впоследствии получивший название «Ташкентцы-цивилизаторы», еще не содержал художественной и публицистической характеристики нового типа в его расширительном объеме.

Действительно, наиболее развернуто понятия «Ташкент» и «ташкентцы» раскрыты в более позднем очерке «Что такое ташкентцы?». Однако уже в первом появившемся в печати очерке герой охарактеризован как человек, который «ничего не знает», но «ни перед какой профессией не задумывается»: «Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа... Всякая минута застает меня врасплох, и всякая же минута находит меня готовым».

В этих словах уже заложена мысль, получившая позднее еще более язвительную формулировку: «„Ташкентец" — это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим...»

Характерна и биография героя первого же очерка о ташкентцах: он участвовал в подавлении польского восстания 1863 года и если не «цивилизовал» внутренних губерний России, то лишь потому, что «в этих благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано», что ему «оставалось только преклониться ниц».

Его «ташкентский» подвиг — это растрата казенных денег, которую он совершил, так и не добравшись до самого Ташкента:

«Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь постороннюю губернию и... Господи! Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию... Рязанскую или Тульскую?!»

«Ташкент еще не был завоеван, — говорится в начале очерка «Они же», который автор намеревался публиковать следующим; — на Западе (т. е. в Польше. — *А. Т.*) дело было покончено; мы были свободны, но страсть к завоеваниям не умирала. Ничего не оставалось, как обратиться внутрь...»

И весь очерк посвящен Ташкенту... воцарившемуся в Петербурге!

Ташкент под пером Щедрина вырастает в «страну, лежащую всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». Писатель предупреждает о живучести насилия, воскресающего в истории под разными новыми именами; оно лживо клянется подчас, что выступает на сцену только ради достижения счастья человечества.

Писателя пугает усвоение даже некоторыми прогрессивными общественными течениями порочнейших методов из арсенала прежних правительств. Он имеет в виду не только повадки хищни-

ка-капиталиста. Хотя значительная часть очерков о «ташкентцах» появилась еще до процесса нечаевцев, из них ясно, как относился писатель к диктаторским приемам некоторых «революционеров».

«Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей, несомненно скверных и опасных, и сопровождающих свою работу возгласом: пади! задавлю! и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: пади! задавлю! Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить».

Опасение увидеть в будущем «достаточно длинный ряд Ташкентов», вполне вероятно, усиливалось у писателя из-за той пропаганды «казарменного коммунизма» и иезуитских путей к нему, которой были заняты в те годы Бакунин и Нечаев. С тем большей страстью рисует сатирик истинное лицо современных ему «ташкентцев», чтобы впоследствии черты малейшего сходства с ними уже настораживали людей.

«Ташкентец» — это человек, вдохновляемый на все свои подвиги непомерным аппетитом и беззастенчиво вторгающийся в любую область жизни и человеческой деятельности, не справляясь ни с ее нуждами, ни с тем, понимает ли он сущность дела, за которое берется. Крепостное право, когда «ташкентец» или его предки безапелляционно определяли, кому на ком жениться, где селиться, чем и как заниматься, не улетучилось из его памяти и удостоверяет его «право» на отношение к окружающей жизни как к материалу для его размашистых действий.

Идолопоклонник табели о рангах, закреплявшей за ним завидную долю жизненных благ, он ведет свой род от фонвизинского Митрофанушки и по-прежнему убежден, что все то вздор, чего он не знает.

Правда, времена изменились, и он лишился части «дедовских прав». Но он видит в этом не исторический процесс «перемещения материальных и умственных богатств из одних рук в другие», а простую случайность, обидную оплошность, недосмотр, а чаще вражьи козни.

Правда, он усвоил, что вслед за необходимостью облачиться вместо кафтана во фрак пришлось сменить и некоторые формы внешнего обращения; желая чего-нибудь достичь, ныне не в пример удобнее сослаться не на безудержную господскую прихоть, а на «интересы просвещения и цивилизации».

Что же касается действительной цивилизации, то, не желая ее, можно не упирать на свою действительную боязнь ее «развращающих» последствий, а заявить о том, что Запад разлагается и его наука поражена бесплодием, что нечего носить «чужое белье», а пора бы сказать «новое слово» и т. п.

Так создается оригинальная фигура «просветителя вообще, просветителя на всяком месте и во что бы то ни стало».

Мнимая доступность для «ташкентцев» любой стороны жизни, любой науки, любого ремесла объясняется их способностью «привести все к одному знаменателю», то есть устранить все им непонятное, чуждое, нежелательное или даже просто не соответствующее их темпераменту.

Они стремятся обуздать человеческую страсть к познанию, заключить исследование в тесные рамки из боязни, чтобы плоды науки не пришли в противоречие с их идеалами. Увлечение передовой молодежи естественными науками внушало реакции страх, порождало невежественные и клеветнические нападки на человеческое познание.

«Пора! Давно пора! — писал автор современной хроники в журнале «Заря» (№ 1, 1872 год), приветствуя полемику К. Д. Кавелина против знаменитых исследований И. М. Сеченова в области психологии. — Мы слишком долго поблажали тем теориям, которые, как оказывается, могут приводить к подвигам коммуны и хладнокровно совершаемым убийствам людей, повинных только в несогласии взглядов со своими убийцами...»

Лишь редкие из консерваторов сохраняли ту объективность, какой поразил один отставной генерал юного П. А. Кропоткина: узнав о неудачном химическом опыте Петра Александровича, он в утешенье рассказал, что в молодости чуть не спалил дом, занимаясь куда менее почтенным делом — устройством жженки. Большинство же требовало «соответствующих» мер, что вскоре и выразилось в проектах министра просвещения графа Толстого.

Современники сравнивали реформу среднего образования, затеянную Д. Толстым при поощрении Каткова, с избиением царем Иродом вифлеемских младенцев.

Проявившееся в ней стремление елико возможно сузить число образованных выходцев из народа, ущемление профессорских прав в университетах, предпочтение, оказываемое карьеристам-чиновникам перед цветом русских ученых, кабальное слушание лекций заведомых бездарностей, атмосфера сыска и слежки, насаждаемая во всех звеньях народного образования, — все это катастрофически стопорило умственное и экономическое развитие страны.

В разгар этих мероприятий, по воспоминанию И. М. Сеченова, никому не казался невероятным слух о том, что три действительных статских советника предпримут объезд всех русских университетов, дабы узнать образ мыслей профессоров (этакие три богатыря, высланные на борьбу с крамолой!).

Щедрин заставляет одного из героев «Дневника провинциала в Петербурге» мечтать наподобие графа Толстого о «заведении таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение», и даже предлагать свои планы «переформирования де сиянс академии» (то есть Академии наук, президентом которой, кстати, был все тот же Д. А. Толстой!).

Автор этого проекта советует:

«...Всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний».

«Свежие» люди, которым следует поручись переформирование, не задумаются привести науки в тот вид, в каком им случалось знакомиться с ними в кадетском корпусе, а все последующие открытия отвергнуть как опасные заблуждения.

Президент академии имеет право «некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда... в остальных науках вредное направление переменять на полезное».

Эта гротескная картина насилия над мыслью завершается характерным штрихом, свидетельствующим о блудливом начальственном лицемерии; находясь под гнетом «де сиянс академии», больше похожей на полицейский участок, люди должны еще писать сочинения на тему «О средствах к совершенному наук упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло, и чтобы оное, и по упразднении наук, соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее».

«Право обуздывать, право свободно простирать руками вперед» — вот что упорно отстаивают ташкентцы-Митрофаны, вот их единственный талант.

Их историческое бесплодие все больше выступает наружу по мере того, как все «пополняется и усложняется материал», лежащий в основе жизни и приходящий в вопиющее противоречие с отжившими формами общественного устройства, за которые держатся ташкентцы.

Их «историческое» зодчество сводится к формулам, пародийно напоминающим знаменитое изречение Цезаря «Пришел, увидел, победил» и много раз варьирующимся на страницах «Господ ташкентцев»:

«Налетел, нагрянул, ушиб — а чт*о* ушиб? — он даже не интересуется и узнавать об этом...» («Введение»); «Каково зодчество? — странный вопрос! — ухватил, смял, поволок...» («Что такое ташкентцы?»); «Этак всякий с улицы пришел, распорядился и ушел!..» — жалуется высеченный обнаглевшим ташкентцем статский советник («Они же»).

В предисловии к отдельному изданию книги Щедрин говорил о своем намерении написать следующую часть — «Ташкентцы в действии», где «на сцену явится само «ташкентское дело», в создании которого примут участие действующие лица первой части». В рукописях сатирика сохранилась и заметка: «Последняя часть. В свою очередь обнимает два периода: «Ташкентцы на пути к славе» и «Ташкентцы на верху величия».

Большинство же героев первой и оставшейся единственной части — это «ташкентцы приготовительного класса», описанные в четырех параллелях, пародийно напоминающих «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Плутарх построил свой знаменитый труд по преимуществу в виде парных, параллельных жизнеописаний, заключая каждую пару «сопоставлением», где указывались сходные черты обоих героев.

В «ташкентцах приготовительного класса» четыре биографии. Это предыстории ташкентцев, генезис «ташкентства», которое еще не появилось на сцену, но уже заложено в любом из персонажей в силу его происхождения, воспитания, воздействия окружающей среды.

Эти герои возникают словно бы из «воздуха» самой эпохи и пребывают в готовности к любым «подвигам» на стезе благонамеренности. «А теперь, messieurs... поборемся!» — напыщенно грозит своему «невидимому врагу» Nicolas Персианов. «Не пропа-дем!» — уверенно восклицает недоучка Хмылов. Вступает на прокурорскую стезю Миша Нагорнов. И уже складываются в голове Порфиши Велентьева очертания дерзновенного финансового проекта о «всеобщем ограблении».

Сопоставление этих «сравнительных жизнеописаний» не дается, но тем не менее щедринские «параллели» многократно и разнообразно перекликаются между собой.

Конечно, великосветская родня Персианова внешне разительно отличается от отца Хмылова — рыщущего по уезду станового — и его достойного братца, уездного стряпчего, который «разорял полегоньку... но дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит».

Столь же различна и обстановка, в которой растут и воспитываются юные Хмылов и Персианов.

Однако заветные «идеалы» той и другой среды, отношение к жизни, в сущности, одинаковы. Петр Матвеевич Хмылов заслужил у окрестных помещиков лестную аттестацию: «У нас исправник лихой! он подтянет!» К восклицанию «Я вас подтяну!» сводится, после ряда маниловски-бессодержательных проектов, и хозяйственная деятельность Персианова в деревне. Да и сам венценосный «хозяин» всея Руси отзывался в то время о печати, что ее надо «подтянуть». И простодушное убеждение Петра Матвеевича, что стоит ему повесить нагайку на стену, так через два дня весь уезд вверх ногами пойдет, нисколько не уступает в мудрости призывам тогдашних государственных мужей к «спасительной строгости».

Так и плотоядные воспоминания сподвижника Муравьева-Вешателя о «полечке», которую среди «бранных трудов» он «подцепил», ничуть не хуже тех доверительных бесед на амурные темы, которые происходят у матерей с сыновьями в «благородных» семействах Персиановых и Нагорновых:

«Они ходят обнявшись по комнате и мечтают. Анна Михайловна мечтает о том, сколько бы у нее было изюму, черносливу, вермишели, макарон... Мечтания Миши обращены больше в сторону «кокотки».

Но мать спокойно выслушивает паскудные сыновьи мечты и

если вносит в них какие-то поправки, то разве что с точки зрения «экономической рентабельности»:

«— По-моему, лучше копить. Ведь эти прорвы, душа моя... много, ах, много деньжищ нужно, чтобы до сытости их довести!...

— А хорошо бы, маменька!

— Уж как бы хорошо, кабы не эта их жадность!»

За исключением Хмылова — прирожденного «палача», как его прозвали еще в школе, «ташкентцы приготовительного класса» — это уже, пользуясь словами одного из щедринских героев, отборная гвардия, а не «чернорабочие» элементы «ташкентства», которые непосредственно заняты «кровопусканием» и всякой прочей «черной» работой.

Однако сатирик убедительно вскрывает присущее всем им духовное убожество, низкий нравственный уровень, полную свободу от убеждений и представлений о том, чем оборачивается их деятельность для народа и государства.

Хмылов сызмальства «смотрел... на классный стол, словно упирающийся бык, которого ведут под обух», и вынес из лет, проведенных в школе, «какое-то неизреченное презрение к чему бы то ни было, что упоминало об ученьи, о книге». Воображая себе его встречу «в глухом переулке один на один с наукою», Щедрин нимало не сомневается в том, что «участь последней» была бы печальна.

Да и «блестящий» Персианов и все его однокашники относятся к досадной необходимости завершить курс наук «не то иронически, не то с нетерпением» и выказывают подлинный жар лишь в разговорах о лошадях и кокотках.

«А ежели я буду пастухом, зачем же мне грамота?» — простодушно недоумевает Хмылов. Со своей стороны, и начальство, готовящее себя на смену достойных «пастухов» людского «стада» в лице Персиановых, считает, что «если они и не вполне твердо знают, в котором году произошло падение Западной Римской империи, то это еще не большая беда».

Бестолковые попытки Nicolas приняться за хозяйство и «система» управления уездом и даже собственным домом, принятая Хмыловым-отцом («Налетит, перевернет все и всех вверх дном — и опять исчезнет недели на две»), находят себе еще одну параллель — в поступках полоумной хмыловской супруги Арины Тимофеевны:

«День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревне, там подберет, тут погрозит, и все как-то без толку, словно в просоньи... Потом на минуту встрепенется и примется «настоящим манером» хозяйничать. Старосту назовет кровопивцем, повара — вором, девку Маришку — паскудою. Совершивши этот подвиг, опять притихнет...»

Герои двух последних «жизнеописаний» — Миша Нагорнов и Порфиша Велентьев — ташкентцы наиболее свежей формации, новой, фактически буржуазной складки. Оба с вожделением впитывают атмосферу развернувшейся азартной погони за рублем,

стремительных обогащений, головокружительных карьер промышленников, акционеров, финансистов, адвокатов.

«А нас взяточниками обзывают! — негодует отец Миши, поседевший в департаменте чиновник: — Мы обрезочки да обкусочки подбирали — мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов — он ничего! он благородный!»

Отец прочит сына в прокуроры, а тот завистливо заглядывается на доходы адвокатов, причем скрытый сарказм щедринского очерка заключен в постоянно возникающем сопоставлении процветания этих служителей Фемиды с роскошью преуспевающих кокоток. Так, когда мать пробует упросить мужа разрешить Мише пойти в адвокаты, тот с досадой отвечает: «Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом отдавай!»

«У меня, господа, сто пять дел в производстве было — сколько отчаянных между ними, ну самых, то есть, таких, что даже издали взглянуть противно!» — хвастает «слава и гордость адвокатуры» Тонкачев, а позже, во хмелю, сознается: «— А ведь по правде-то... как ежели по совести... свиньи мы, господа! Ничего-то ведь у нас за душой. Ну просто, так сказать, в душе кабак...»

Венчающий собой галерею «ташкентцев приготовительного класса» Порфиша Велентьев знаменует собой уже чисто буржуазное хищничество. С детства возрастал он «на самом лоне финансовых операций», производившихся, с одной стороны, отцом-чиновником, обкладывающим своего рода налогом находившееся в его ведении «стадо откупщиков и винокуренных заводчиков», а с другой — матерью, которая «торговала мужиком».

Само появление на свет будущего «великого финансиста» происходит вроде бы в результате тяготения друг к другу не людей, а... капиталов. Единственный «любовный» разговор между будущими супругами — Велентьевым и княжной похож на щелканье счетов:

«— Вы, может быть, думаете, что у меня денег нет? — сказала она, вдруг приступая к самому существу дела: — нет, у меня есть деньги!

Велентьева бросило в жар при этом признании.

— Я недавно купила сто мужиков на своз, — продолжала княжна: — и если эта операция удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сиятельство! — захлебнулся Велентьев.

— А когда я буду выходить замуж, то ma tante[1] даст мне еще десять тысяч. Эти деньги я думаю отдавать в рост.

— Ваше сиятельство! осмелюсь доложить...

— Вы думаете, может быть, что отдавать деньги в рост — дело рискованное, но я могу сказать наверное, что тут никакого риску нет».

Шелестенье ассигнаций, щелканье счетов, таинственная суета в папашином кабинете и куда более откровенный процесс «при-

[1] Тетя (*фр.*).

жимки» мужиков маменькой, «энергическое выражение «хоть роди да подай», к которому любила прибегать Нина Ираклиевна», — все это создавало у ребенка своеобразный «вкус к финансам».

Мелькнувшие же в родном городе героя отдаленные родственники княжны шулера и пройдохи братья Тамерланцевы заронили в душу мальчика презрение к крохоборческому скопидомству родителей и мечту о фантастическом, стремительном обогащении.

В детстве, сидя у матери, Порфиша от щелканья косточек на счетах еще «каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция» (вроде «хоть роди да подай»). Но «коротенькая» политэкономия, которой обучали его с Персиановым в учебном заведении, устранила все докучные напоминания о «трепете действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными».

Вместо всего этого Порфиша входит во вкус отвлеченных от реальной жизни манипуляций со спросом и предложением и биржевой игрой, при которых наяву совершался «перл созидания» — «созидание из ничего», напоминавшее фокусы Тамерланцевых, когда при волшебном возгласе «клац!» в пустой дотоле руке обнаруживалась золотая монета.

Из всех «ташкентцев приготовительного класса» Порфиша Велентьев самый опасный, в нем воплощены самые разрушительные, паразитические тенденции капитализма. Недаром именно для него делает сатирик исключение, хотя бы вкратце осведомляя читателей о его будущем «ташкентском» подвиге — проекте «беспошлинной двадцатилетней эксплуатации всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет, истребления».

Велентьев в творчестве Щедрина первый из галереи «дельцов» нового типа — Разуваевых, Колупаевых, Деруновых. Именно к нему относится пророчество, заключающее книгу, — о «реформаторе, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...»

Позже, в «Убежище Монрепо», итоги этих «реформ» выразятся в символическом пейзаже, открывающемся из окон разуваевского дома: повсюду торчат одни голые пни...

Придет, насорит и уйдет — таково еще одно видоизменение формулы исторического «зодчества», которым вслед за дворянством занялась буржуазия.

Более десяти лет потребовалось, чтобы увидел свет (да и то сначала в заграничном нелегальном издании) очерк «Они же» (первоначально называвшийся «Ташкентцы, обратившиеся внутрь»).

В свое время кто не понял, кто сделал вид, будто не заметил, какую язвительную насмешку над новым временщиком, «вторым Аракчеевым», как называли Петра Андреевича Шувалова, по-

зволил себе сатирик в очерке «Здравствуй, милая, хорошая моя!». Он вывел там выжившую из ума старую фрейлину, рассказывающую об императрице Елизавете:

«— Красавица была! — шамкала старая девственница, — и бойкая какая! Однажды призывает графа Аракчеева, — или нет... кто, бишь, Митя, при ней Аракчеевым-то был?

— Le général Munich, ma tante [1], — отвечал Митя наудачу.

— Ну, все равно. Призывает она его и говорит: граф Петр Андреевич!..»

Но одно дело — такая замаскированная, хотя и довольно прозрачная, насмешка, и совсем другое — реалистическое изображение, как «ташкентцы» орудуют в самом Петербурге, радостно откликаясь на призыв бороться с нигилистами и доходя до совершеннейших бесчинств.

Щедрин относит действие к 1866 году, времени, когда после каракозовского выстрела реакция ринулась на борьбу с революционным «наводнением».

«Петербург погибал! Петропавловская крепость уже уплыла... Последний оплот!» — с жаром повествует «благонамеренный» рассказчик, мимоходом проговариваясь, на чем держится царская власть.

В его рассказе, однако, не слышно ужаса — скорее, звучит торжество. Он сам откровенно сознается, что в «тихое время» он увядает и чувствует себя ненужным: «Сильные общественные пертурбации необходимы для «благонамеренного»: они дают ему возможность окрепнуть. Пожар поселяет в его сердце радостный трепет, наводнение, голод — приводят в восхищение!»

Ведь у него появляется возможность половить рыбку в мутной воде, отнести все происшедшее на счет начальственного послабления, восславлять свою мнимую прозорливость, снова пристроиться «к пирогу» под предлогом защиты отечества, приурочить к делу личные свои интересы и счеты, благо в суматохе никто ничего не различит.

Толпа низкопробных мерзавцев является на первый клич ревнителей благонамеренности в таком количестве, что «генерал, чтобы предотвратить несчастие, должен был сказать: «Господа! не торопитесь! всем будет место! Мне люди нужны!» И затем, обращаясь к одному из приближенных, продолжал: «Какой, однако, прекрасный наплыв чувств!»

Сам рассказчик принадлежит к числу недавних либералов и даже аттестует себя другом Грановского. Но столкновение с подлинными демократами, в которых он видит «отрицателей», отрезвило его и сделало яростным охранителем. В его лице проглядывают черты Каткова, который мог бы сказать о себе словами героя:

«Я видел себя предметом восторженнейших оваций. В похвалу мне произносились спичи, во всех трактирах империи лилось шампанское с пожеланием новых и новых подвигов, со всех сторон

---

[1] Генерал Миних, тетя (*фр.*).

сыпались поздравительные телеграммы... Я дошел почти до ясновидения и угадывал «негодяев» там, где другие усматривали только действительных статских советников».

Отвратительное упоение распоясавшихся реакционеров своими «подвигами» по части арестов и обысков («скромно» именуемых на эзоповом языке «ночными посещениями») сатирик едко передает, пародийно используя известное стихотворение Фета: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья... И заря, заря!»

Щедринский персонаж сладостно вспоминает: «Ночь, робеющий дворник, бряцания (жандармских сабель. — *А. Т.*) о тротуары и черные лестницы... Потом: кроткое мерцание утренней зари... рюмка водки в ближайшей харчевне...»

Общественная паника доходит до того, что, когда рассказчик, по ошибке ворвавшись с обыском в квартиру крупного чиновника, самолично распорядился... высечь хозяина, тот «кротко лег и кротко же встал, не испустивши ни стона, ни жалобы».

Не менее рельефно выступает обстановка русской жизни в эпизоде, где один из «либералов» встречает ночных «гостей» как старых знакомых и в ответ на их недоумение, что в квартире нет ни одной книги, ни клочка бумаги, объясняет:

«Но поймите же, наконец, что, начиная с 48-го года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность».

В ту пору, когда Щедрин писал свой очерк, подобным «посещениям» подвергался один из его знакомых — бывший петрашевец Александр Иванович Европеус. С горьковатым юмором рассказывал он об этом своим друзьям. «Посетители» могли с тем же успехом искать огня... на пепелище! «Грозный заговорщик», а позднее речистый либерал давно уже превратился в скромного члена правления одного из петербургских ломбардов, никаких «крамол» не затевал, много пил и ел.

Приятели острили, что Европеус теперь олицетворяет собой идеал благонамеренности, что дружба с ним весьма полезна и что они благоговейно будут следовать его примеру.

Впрочем, они и без того не были анахоретами. «Компанию мушкетеров», как они себя именовали, часто можно было встретить в ресторанах — в Бельвю, у Бореля, у Дюссо.

С видом завзятого сибарита приближался к столику Унковский, раскланиваясь со знакомыми и откровенно любуясь женщинами. Веселая перепалка завязывалась между Сергеем Петровичем Боткиным и актером-рассказчиком Иваном Федоровичем Горбуновым: кому из них следует благословить предстоящую трапезу?

Уже в дверях Горбунов преобразился и не пошел — поплыл, копируя торжественную поступь священника. Сел, оправил незримую рясу, обвел взглядом стол и бархатным голосом протянул:

— Позвольте мне, братия...

— Нет уж, нет уж! — сказал, посмеиваясь, Боткин. — Духов-

ная власть за этим столом голоса не имеет. Я полагаю, что наше гастрономическое общество — это республика и главный голос в ней принадлежит президенту, а им — как медик — должен быть я!

Горбунов поспорил, поспорил, назвал Боткина «узурпатором» и неожиданно смирился: ему уже надоела первая роль, он загорелся другой — скорчился, съежился, смиренно уселся на кончик стула... Точь-в-точь какая-нибудь мелкая сошка, ошибкой попавшая за господский стол!

«Мушкетеры» обращали на себя внимание окружающих. Мало того, что среди них восседал сам Щедрин. Мало того, что из клуба после большой игры приезжал Некрасов, извинялся за опоздание и шутливо клялся, что отныне будет неразлучен с прочими членами «гастрономического общества».

Буду новую сосиску
Каждый день изобретать,
Буду мнение без риску
О салате подавать, —

патетически произносил он экспромтом.

Здесь были и другие знаменитости: видные юристы — целое созвездие! — Боровиковский, Унковский, иногда — Кони; знаменитый врач и лейб-медик Боткин; «Иоанн Златоуст», как прозвал Салтыков красноречивого В. И. Лихачева, быстрыми шагами делавшего выгодную карьеру.

— Не успеешь к другому столику чокнуться сходить, глядь — Владимир Иванович уже в новом чине сидит! — сострил кто-то однажды.

Иногда стулья за столиком долго пустовали: одни «мушкетеры» не пришли, других «на минуточку» затащили в чужую компанию — выпить бокал вина, а то и перемолвиться по делу.

Оставшись один, Салтыков разглядывал окружающих. Он искренне веселился на этих сборищах, так как очень ценил живую беседу, острое словечко, шутку. Но порой только что выслушанные от собеседников рассказы о взятках, скандальных спекуляциях, громких процессах причудливо смешивались со стоявшим в зале гомоном, звоном рюмок, вилок, ножей. В глаза бросались багровые лица, пылавшие то ли от еды и вина, то ли от жадного предвкушения все новых и новых изрядных кушей, прибылей, наградных.

По сравнению с этими физиономиями милым скромником казался обжора Европеус, исхитрившийся на одном вечере у Унковских забраться в столовую и съесть буквально все приготовленное для гостей.

Столик, за которым сидел Салтыков, начинал ему мерещиться каким-то островком среди этого водоворота, а отлучившиеся друзья — уже навсегда унесенными жадными и грязными волнами.

— Ну, на кого ты уставился? На эту блондинку? Недурна, я ее знаю. Если хочешь, она сейчас сюда подойдет и поцелует тебя для первого знакомства, — прервал Унковский задумчивость

своего приятеля, чья суровая застенчивость с женщинами служила предметом его всегдашних шуток.

Очнувшись, Салтыков увидел, что вызывающе одетая красотка приняла его неподвижно обращенный в ее сторону взгляд за недвусмысленный знак внимания и в ответ строила глазки.

Ее спутники были отвлечены каким-то разговором, но почему-то Салтыкову показалось, что, встань он и подойди к искусительнице, они охотно и покровительственно примут его в свой круг:

— Вот и вы к нам! Добро пожаловать!

— Наконец-то, хотя и поздненько!

— Все так кончают: поартачатся — и придут...

— Не стесняйтесь! Заказывайте!

— Не прикажете ли — за знакомство?

Все это было похоже на кошмар. Женщина, право, была ни в чем не виновата. Ей просто было скучно, ей просто хотелось развлечься — как она умела, как она привыкла. Но в тот короткий момент она показалась Салтыкову парламентером, присланным к нему из чужого лагеря.

И, с ненавистью посмотрев на нее, он сказал изумленному Унковскому:

— Если она ко мне подойдет, я ей в морду дам!

Он опять все перепутал: пощечина предназначалась не ей.

Снова, как когда-то в Вятке, ему хотелось положить позорное клеймо на сытые лица суетящихся вокруг непойманных воров.

Знаменитая толстовская характеристика пореформенной российской действительности — «... всё это переворотилось и только укладывается», — меньше всего звучала для современников просто как эффектный афоризм. Это был точнейший, беспощадный диагноз их состояния, умонастроений, будничных забот и гаданий о ближайшем будущем.

Помещики, которые при всех сделанных им поблажках ощущали, что почва неумолимо уходит у них из-под ног; купцы и фабриканты, еще вчера презираемые «благородным сословием», а нынче становящиеся уже предметом его тоскливой зависти; придворная и чиновная камарилья, не упускающая своего, когда в высших столичных сферах рассматривались дела, пахнувшие миллионами; стремительно размножавшееся племя адвокатов и газетчиков, охотно торгующих своими услугами, — все это сплеталось в удивительный клубок.

Уже при первых шагах России на этом пути возникли явления, о которых современник вспоминал таким образом:

«...Наступила пора акционерных предприятий; акционерные общества создавались одно за другим; наплыв публики и ее рвение для приобретения акций новых предприятий вынуждали нередко вмешательство полиции, и даже люди почтенные, солидные в торговом отношении, совершенно теряли голову с этими акциями и пускались в еще более азартную игру, чем впоследствии была биржевая, железнодорожная игра. Словом, наступало то время

заманчивых надежд, когда перед всякими коммерческими предприятиями раскрывались широкие горизонты».

Ускоренный ход экономического развития, политические потрясения, лихорадочная погоня за наживой — все это ставило в тупик писателей, склонных воспроизводить только такие явления и типы, которые уже прочно устоялись.

Шутники уверяли, что, когда во время кругосветного путешествия на фрегате «Паллада» И. А. Гончаров вышел на палубу в бурю, он с глубокой неприязнью взирал на череду встающих, сшибающихся и рушащихся валов.

Нечто подобное возбуждало в нем и бурное течение русской жизни в начале 70-х годов.

«Если же Вы... хотели несколькими широкими взмахами очертить характеристику и лиц и спекулятивной лихорадки, — размышлял он над новой драмой А. Ф. Писемского, — то это положительно не удалось и по не зависящей от Вас причине: *по новизне дела у нас.* Это дело плохо клеится (слава богу) у нас, и если установится, то не скоро — и художнику долго пришлось бы ждать, пока все сложится в типические черты лиц и быта... Современную текущую жизнь и нельзя уложить в такой прочной и серьезной форме, как драма, даже трудно и в романе, чему служит доказательством Ваше же «Взбаламученное море».

Все выходило убедительно, но на столе у Ивана Александровича лежали книжки «Отечественных записок». Он хмуро и недовольно косился на них, как будто он рассуждал вслух в присутствии человека, которому стоит только сказать одно слово, чтобы рассеять мнимую правоту собеседника.

Гончарову никак не хотелось ни признавать себя неправым, ни называть имя человека, заставившего его это сделать, так как самолюбивому автору антинигилистического романа «Взбаламученное море» никак не могло прийтись по вкусу то невыгодное для него противопоставление, о котором думал Иван Александрович.

Но правдивость взяла верх над дипломатией, и, сердясь на самого себя за то, что делает, Гончаров приписал:

«Это возможно в простой хронике или, наконец, в таких блестящих, даровитых сатирах, как Салтыкова, не подчиняющихся никаким стеснениям формы и бьющих живым ключом злого, необыкновенного юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка».

«Дневник провинциала в Петербурге», который Гончаров в первую очередь имел в виду, действительно никак не укладывался в его теорию.

Просматривая каждый новый номер с очередными главами «Дневника», Гончаров поражался тому, что они воспринимаются никак не менее злободневно, чем европейская хроника или статьи Н. Михайловского. Казалось, что на твоих глазах разбросанные по журнальным страницам факты современности, подчиняясь магнетическому воздействию щедринского таланта, перестраиваются сообразно его взгляду и замыслу и переплавляются в горни-

ле его безудержной фантазии. То, что казалось самому Гончарову просто пеной, осужденной на бесследное исчезновение, струящимся сквозь пальцы песком, на котором нельзя построить прочное здание, было послушно Щедрину, как глина ваятелю.

«Я в Петербурге» — такими словами начинается «Дневник провинциала». Кто же это «я»? Провинциал рекомендуется одним из тех помещиков, которые в ту пору прямо-таки нахлынули в столицу из самых разнообразных побуждений: их гнали и страх перед наступившими и еще предстоящими переменами, переворачивавшими все их представления об общественном миропорядке, и надежды как-то поправить пошатнувшееся благосостояние, то ли получив выгодное местечко, то ли запасшись акциями промышленных компаний, суливших вкладчикам золотые горы. Гнала и просто жажда разузнать, откуда ветер дует, к чему дело идет, да, наконец, по укоренившейся, неистребимой привычке к сладкому житью — и желание отведать всех «новомодных» петербургских удовольствий.

Лишь на первый взгляд «провинциал» может показаться персонажем, чья роль сводится к сюжетному объединению разнообразнейших тематических линий: железнодорожной горячки, разгула консервативного прожектерства, измельчания либерального лагеря, уголовного процесса, мошеннической аферы, кроющейся сначала под видом международного статистического конгресса, а потом — политического следствия.

Однако, будь это так, книга была бы лишена того своеобразия, которое отличает ее, например, от вроде бы во многом близких к ней по жизненному материалу очерков С. Н. Терпигорева-Атавы «Оскудение», появившихся в тех же «Отечественных записках» восемь лет спустя. Талантливое, замечательное по своему реализму произведение Терпигорева все же по сравнению с щедринским «Дневником...» начинает казаться добротным дагерротипом, как назывались тогдашние фотографии, обнаруживать известную «приземленность».

Щедринское «неподчинение никаким стеснениям формы», отмеченное Гончаровым, начинается именно с фигуры провинциала, рассказчика. Это фигура неоднозначная, никак не поддающаяся педантической расшифровке, торопливой классификации. Исследователи давно обратили внимание на «изменчивость» этого образа, известную «непоследовательность» его мыслей и высказываний, казалось бы, способную только повредить цельности образа. Ан, этот «минус» (если судить по привычным меркам) в оригинальнейшей щедринской художественной системе оборачивается плюсом!

О характере рассказчика в этом и многих других произведениях Салтыкова много спорили.

Произведения сатирика часто напоминают своеобразную по форме пьесу, где среди актеров действует сам автор, с поразительной непринужденностью переходящий от глубоко личного монолога к сатирическому «показу». Обычно предметом такого

шаржированного изображения становится выцветающий либерал, «играя» которого писатель одновременно как бы саркастически осмеивает своего героя.

«Изменчивость» образа рассказчика находится также в тесной связи с шаткостью позиции дворянского либерализма известной части так называемых «людей сороковых годов», обнаружившейся в эту пору.

Это поколение представляло собой тогда картину пеструю и противоречивую. Встревоженные освободительным движением, одни, как Катков и Лонгинов, прямо перешли в ряды охранителей режима, «неумолимых гонителей всякого живого развития», а другие также поддавались влиянию консерваторов, чтобы потом в ужасе отшатнуться от «крайностей» реакции и вздыхать по идеалам, которые сами же трусливо предавали забвению.

Дневники современников запечатлели поразительную картину подобных зигзагов — от панического поддакивания «монстрам» реакции к трезвым высказываниям и либеральным оценкам, и наоборот. Временами можно найти на этих страницах и такие горькие автохарактеристики, после которых самобичевания щедринского провинциала уже не кажутся игрой авторской фантазии.

Метания, упования, разочарования, страхи, саморазоблачения провинциала своеобразно воспроизводят настроения дворянских либералов, не могущих преодолеть своих «родственных» — классовых — связей с крепостническим прошлым и его защитниками.

Не случайно герой книги не может избавиться от «дружбы» откровенного ретрограда Прокопа, с его прямолинейно-алчным и циничным характером. Провинциал и впрямь неотделим от него: бессильные и несколько мстительные упования на сказочное возвращение былой жизни, мечтания о чуде, которое поможет спастись от грозящего разорения, посещают и самого провинциала: «Все сдается, что вот-вот свершится какое-то чудо и спасет меня. Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене».

Есть в фигуре провинциала и другие, более современные готовности (говоря слогом самого Щедрина) — сознание возможности заковать «освобожденный» народ, по словам Некрасова, «вместо цепей крепостных» в «иные» цепи.

Функции сатирической пары провинциал — Прокоп многообразны. Порой их разговоры и споры служат прямому выражению авторских раздумий, его живой, горькой, едкой, бьющейся в противоречиях и ищущей выхода из них мысли. С другой стороны, дружба этих героев оказывается прообразом того парадоксального единомыслия, которое, как доказывает автор «Дневника», на деле существует между консерваторами и либералами.

Суть консервативных вожделений, выраженных в многочисленных проектах «контрреформ», с которыми знакомится провинциал в столице, — это «уничтожение всего», то есть всего, что связано с освобождением крестьян и сопутствующими этому, пусть самыми

робкими и нерешительными, преобразованиями. Прокоп же простодушно «переводит» витиеватый слог этих проектов, «нагноившихся» в головах озлобленных помещиков и чиновников, на язык повседневной житейской практики: «чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб свободно бить было».

Зуботычины предназначались не одному мужику. Размах у прожектеров куда больше. Проект «О расстрелянии и благих оного последствиях» предлагает подвергнуть этой процедуре не только «всех несогласно мыслящих» и «всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия», но даже тех, «кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей». Были и более «умеренные», прямо-таки гуманные предложения — «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств», или «по ученой части», начинавшееся достаточно недвусмысленно: «С юных лет получил я сомнение в пользе наук...»

Казалось бы, либералы занимали по всем подобным вопросам совсем иные позиции и были так же непохожи на мракобесов, как их вожак — давний знакомый провинциала Менандр Прелестнов — на грубого и наглого Прокопа.

Однако на практике, как ядовито писала о либеральной печати консервативная газета «Русский мир», «предметом газетных и журнальных суждений явились по преимуществу вопросы второстепенного и частного значения, причем нельзя было не заметить, что большинство газет даже и об этих вопросах высказывалось весьма уклончиво и поверхностно, как бы опасаясь углубиться до той почвы, на которой суждение о частном явлении действительности переходит в спор о принципе».

На страницах «Отечественных записок» велась едкая полемика против либералов, чьими наиболее известными органами были «Санкт-Петербургские ведомости» В. Ф. Корша и «Вестник Европы» Стасюлевича. Михайловский и Деммерт не раз отмечали мелочность, с которой коршевская газета оценивала события. Характеризуя ту современную литературу, которую представляли «Петербургские ведомости», Михайловский писал, что она, «тщательно (и то, впрочем, не особенно) разглядывая всякую мелочь... сознательно отворачивается от крупнейших вопросов жизни».

В «Дневнике провинциала» первая, основанная еще Петром русская газета — «Санкт-Петербургские ведомости» — представала в виде «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницы», а сам Корш — в лице ее редактора, Менандра Прелестнова.

«Не расплываться» и «снимать пенки» — этот девиз, которого придерживается Прелестнов, означал призыв ограничиваться самой поверхностной, нимало не берущей вглубь оценкой явлений, воздерживаться от попытки перейти от анализа единичных фактов к обобщению.

«Устав Вольного Союза Пенкоснимателей», который вручает Менандр Прелестнов пораженному провинциалу, содержит, как говорится, развернутую программу его соратников, воплощающих, по их убеждениям, либеральное начало в России. Общество это

учреждено «за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени» и готово принять в свои ряды всякого, кто приходит в литературу «с одним чистым сердцем и вполне свободным от какой бы то ни было мысли».

Обязанности же членов союза таковы:

«Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило». «По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать».

«Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городовыми на виду блях надлежит действовать с такою настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение».

«Рассуждая о современных вопросах, стараться, по возможности, сокращать их размеры».

«Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь» (причем «не следует делать никакой критической оценки этому пути»).

«Обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше».

Нетрудно заметить, что либеральные сочинители этих заповедей как бы старались удовлетворить требованиям своих «антагонистов» — консервативных прожектеров, жаждущих, чтобы «науки имели вид краткий».

Устав либеральных пенкоснимателей — всего лишь грамотная редакция косноязычных помышлений консерваторов. И вечер, проведенный провинциалом среди сотрудников пенкоснимательского органа, заполнен такой же трескучей болтовней, что и тот, когда он внимал ораторам «аристократических» салонов.

— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — вопят у князя Оболдуя-Тараканова.

— Я, с своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать! — с готовностью отзываются послушливые пенкосниматели.

(Дабы не заподозрить Салтыкова в «чрезмерном», «излишнем» преувеличении, стоит обратиться к дневнику современницы — Е. А. Штакеншнейдер: «Существует особая комиссия, созванная для того, чтобы снова рассмотреть законы о печатном деле, — записывает она в 1869 году, — и потому находят, что литература лучше всего сделает, если будет себя держать как можно тише и как можно меньше внушать поводов к новым стеснительным законам».)

Однако молчать в их устах совсем не значит безмолвствовать в буквальном смысле слова. Сказочное зрелище — эти низвергающиеся с их перьев водопады слов, фраз и статей, начисто лишенных сколько-нибудь значительного общественного содержания!

«Они, — пишет Щедрин о пенкоснимателях, — способны бес-

конечно ходить вокруг живого дела, ни разу не взглянув ему в лицо... Литература уныло бредет по заглохшей колее и бессвязно лепечет о том, что первое попадется под руку. Творчество заменено словосочинением; потребность страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин».

Неуважай-Корыто и Болиголова, роющиеся в архивной пыли, чтобы досконально исследовать вопрос, «макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножа», или отыскать иностранный «прототип» песенки «Чижик! Чижик! где ты был?», публицисты Нескладин и Размазов — все они хором издают какое-то непрерывное монотонное жужжанье убаюкивающего свойства и превосходно выполняют пожелание автора прожекта «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств»: «Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденным, но имело характер деятельный и искренний».

Ядовитое разоблачение пенкоснимательства сделано Салтыковым в той части «Дневника», где провинциал, думающий, будто он находится под арестом по политическому обвинению, решает скрасить свой досуг сотрудничеством в газете Менандра,

Кстати сказать, в способности провинциала писать на любую тему (об оспоприививании, о совмещении огородничества с разведением козлов, о геморрое, о Тибулловой Делии, и т. д.) есть нечто от ташкентской готовности «устремиться куда глаза глядят» и повсюду чувствовать себя специалистом. Но дело даже не в этом. «Я, — рассказывает герой, — упивался моей новой деятельностью, и до того всерьез предался ей, что даже *забыл о своем заключении...»* (курсив мой. — *А. Т.*).

Так пенкосниматель приходит к полнейшему согласию с действительностью, которая нисколько не препятствует разработке подобных тем и сюжетов. Он создает как раз ту «литературу», о которой метко выразился в своем дневнике А. В. Никитенко (сам родня щедринскому провинциалу!): «Хотеть иметь литературу, какую нам хочется, то есть Управлению по делам печати, значит не иметь никакой».

Но пенкоснимательство не сводится к фотографически точному отображению тогдашнего российского либерализма (при всем разительном сходстве многих их проявлений) и, разумеется, не претендует на историческое осмысление всего этого направления в русской общественной мысли и движении.

Тридцать лет спустя В. И. Ленин призывал «поддерживать всякую оппозицию гнету самодержавия, по какому бы поводу и в каком бы общественном слое она ни проявлялась»: «Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию, — тем лучше, мы будем приветствовать рост политического сознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга. Не сумеют — мы и в этом (более вероятном) случае не «махнем рукой» на либералов, мы постараемся укрепить связи с отдельными личностями, познакомить их с нашим движе-

нием, поддержать их посредством разоблачения в рабочей прессе всех и всяких гадостей правительства и проделок местных властей, привлечь их к поддержке революционеров»[1].

Сатирический образ пенкоснимательства выявил наиболее вредные тенденции русского либерализма, его «готовности», послужил предупреждением о том, что они приведут к откровенному прислужничеству «хищникам».

Салтыков больше, чем кто иной, знал тяжесть положения подцензурного публициста «с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее». Поэтому, еще раз возвращаясь к судьбе Менандра Прелестнова, он высказал догадку, что «это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке» (то есть в тюремной камере!).

Но самому Салтыкову было не легче. Изображение многих драматических событий тогдашней русской действительности было для него недоступно, хотя и общественный темперамент и совесть диктовали необходимость высказаться.

Однако та «принципиальная почва», которую он никогда не покидал, давала ему возможность, обращаясь даже к «легальным» явлениям, так сопоставлять и творчески преображать их, чтобы из россыпи разрозненных фактов возникла трезвая картина жизни, содержавшая большие обобщения.

Кажется, не успели еще газеты вдоволь посмаковать скандальную историю так называемого мясниковского дела, как Щедрин уже фантастически преобразил ее.

В «Смерти Пазухина» важный, разглагольствовавший о добродетели статский советник Фурначев обкрадывал только что испустившего дух тестя, богатого купца.

Щедрин невольно вспомнил эту не нравившуюся ему пьесу, когда прочел материал «мясниковского процесса». Но как удивительно повернул сюжет неистощимый на выдумки драматург — жизнь!

В 1858 году умер богатый откупщик Беляев, который вел свои дела на паях с детьми своего бывшего хозяина Мясникова. В тот же день Александр Мясников, адъютант начальника знаменитого Третьего отделения, вывез все оставшиеся бумаги из квартиры покойного, а впоследствии сфабриковал в пользу вдовы подложное завещание на сумму, значительно меньшую той, которой определялось действительное состояние Беляева. Но даже и эти деньги благодаря ловкому использованию оказавшихся в руках Мясникова документов в конце концов перекочевали от вдовы в его карман.

Задарив немногочисленных лиц, причастных к этой операции, братья Мясниковы только впоследствии оказались на скамье подсудимых, однако и тут суд не нашел их виновными.

И вот герою Щедрина, приехавшему в столицу провинциалу,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 71.

приснился сон: он тоже был когда-то откупщиком, нажил миллион, а когда умер, его бессмертная душа с ужасом увидела, как его сосед по губернии, также примчавшийся в Петербург, дворянин Прокоп Ляпунов, начисто обкрадывает его и подкупает оказавшегося свидетелем преступления полового Гаврилу. Обещания Прокопа сделать Гаврилу над всеми своими имениями «вроде как обер-мажордомом», беспробудное пьянство вчерашнего полового, чувствующего себя обладателем опасной для хозяина тайны, его внезапное исчезновение «неизвестно куда» — все это имело в «мясниковском деле» самое прямое соответствие в судьбе мелкого чиновника Караганова, подделавшего подпись Беляева для подложного завещания. Совпадает и целый ряд других деталей (бесстрастное отношение полицейских властей к тому, что после кончины заведомого мильонщика в его кабинете не осталось ни денег, ни документов; корыстные адвокаты, взявшиеся вести «дело», возбужденное отдаленными родными Беляева; появление лжесвидетеля Шевелева, у Щедрина превратившегося в Иуду Стрельникова).

Однако сатирик колоссально обобщил происшедшее на процессе. В «деле Мясниковых» он не видел *правых.* «Пострадавший» посмертно Беляев тоже не был невинной овечкой, а характеристика его как старого слуги покойного Мясникова, сделанная на суде прокурором А. Ф. Кони, в глазах сатирика выглядела довольно двусмысленно.

«Это был слуга того драгоценного типа, который существует или существовал, по крайней мере, долго на Руси, но который начинает исчезать, — говорил Кони. — Сначала мальчик, потом приказчик, постоянно участвовавший в делах хозяина, сроднившийся с ним, потом входящий так в его интересы, что трудно определить, где начинается один и где кончается другой; близкий, доверенный человек, опекун, пестун его детей, оберегающий их интересы... Мы знаем, что подобные личности, как Беляев, появлялись часто в купеческом быту, к чести этого быта. В то время, когда дети разбогатевших трудом купцов лезли в «господа», поступали в военную или гражданскую службу, старались сделаться дворянами, рядом с их отцами являлись люди, которые продолжали их дело. В то время, когда дети, постепенно разоряясь, из богатых купцов становились обедневшими, возникали состояния лиц, прежде служивших приказчиками их отцам, лиц, которые остались верными своему званию и тем интересам, которым служили с малолетства и они и их хозяева».

Идиллический тон этот плохо вязался с фактами, которые как-никак заключались в том, что вчерашний приказчик при всей своей добросовестности, одним трудом праведным составил себе огромное состояние. Вместо благостного пестуна осиротевших Мясниковых вырисовывался скорее делец, который ловко воспользовался хозяйским доверием и постепенно прибрал к рукам дела фирмы. «Что коммерция — что война», — говорил один из героев «Губернских очерков», Ижбурдин. И у Щедрина было основание

предполагать, что Беляев был одним из удачливых участников этой войны, ловко умевшим прятать концы в воду.

Замечательно, что Кони и сам, вольно или невольно, заставлял подозрительно относиться к утверждению о голубиной чистоте покойного, когда, переходя к личности подделывателя его подписи, заявлял:

«Караганов, по моему мнению, в меньшем виде — тот же Беляев. Та же преданность своим хозяевам, верность их интересам, то же стремление управлять их делами, сохраняя выгоду всеми мерами, стремление всегда и во всем видеть их честными и правыми...»

Но из этой характеристики логически следовало, что Беляев тоже мог пойти на подлог, обман, бесчестный поступок — «ради интересов фирмы», которая, разумеется, позаботится о том, чтобы «верный слуга» не остался внакладе. И надо быть очень наивным человеком, чтобы отрицать, что могут возникнуть обстоятельства, когда такой слуга поступится своей традиционной «преданностью хозяевам» и обнаружит замашки совершенно иного рода.

Истцы, ответчики, присяжные, которым предстояло вынести решение и которые оправдали Мясниковых, значительная часть публики — все они, по мнению Щедрина, одним миром мазаны.

Писатель остроумно воспользовался прозвучавшей в речи прокурора апелляцией к «суду общественной совести» в противоположность «суду общественного мнения». Он увидел в этом возможность обнажить истинное, скрытое под лицемерно исповедуемой моралью содержание «общественной совести» хищнического общества. Так появились «странные вопросы», которые в «сне провинциала» предлагаются на разрешение присяжных и услышав которые его бессмертная душа «так и ахнула»:

«*Вопрос первый.* Согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп, воспользовавшись единоличным своим присутствием при смертных минутах такого-то (имярек), дабы устранить из первоначального помещения принадлежавшие последнему ценности на сумму приблизительно в миллион рублей серебром?

Вопрос второй. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах?...»

Фурначев в «Смерти Пазухина» был изобличен и опозорен, хотя его хулители сами облизывались на капиталы покойного.

Прокопу же кража не только сходит с рук — «непойманный вор» становится предметом поклонения.

Перенос «дела Мясниковых» по кассационной жалобе для нового рассмотрения в Московский окружной суд и очередное оправдание обвиняемых, произведенное иным составом присяжных, пришпорили фантазию Щедрина: он заставляет кассационный суд судить Прокопа уже во всех городах Российской империи по очереди.

Происходит своего рода референдум, с предельной ясностью обнаруживающий аморальность общественных верхов. Пройди

сквозь такой строй мелкий воришка, он чувствовал бы себя, как в былые времена солдат, наказываемый шпицрутенами. Все прокуроры Российской империи отточили бы на нем карающие мечи и язвительные стрелы своего красноречия (обозреватель «Отечественных записок» находил, что даже Кони обнаружил в своем обвинении Мясниковых бо́льшую сдержанность, чем в предшествующем процессе, где речь шла о простой крестьянке).

Для Прокопа же эта судебная процедура превращается в триумфальное шествие по всей стране. Чествующие его не видят и не хотят видеть его истинного лица; подобно купцам из «Ревизора», они славят в нем мифическое существо — «господина финансова». Им улыбается, им милостиво кивает не Прокоп Ляпунов, а сам господин Миллион. «...Немудрено было Прокопу сохранить бодрость духа, — повествует рассказчик. — В течение прошедших (со времени начала суда. — *А. Т.*) двадцати пяти лет он не только не понес никакого нравственного ущерба, но, благодаря процессу, успел сделаться одним из самых популярных людей в целой России».

Дошло до того, что «члены верхотурского суда, дабы не подать повода к неосновательным обвинениям в пристрастии, не решились представиться явно, но устроили секретную процессию, которая церемониальным маршем прошла мимо окон занимаемого Прокопом нумера. Причем подсудимый вышел на балкон и одарял проходящих мелкою монетой».

Прокоп, бесстрашно пробующий пальцем, остры или тупы клинки у возвышающихся рядом с обвиняемым жандармов, — это символ наглой безнаказанности крупного хищника в царской России. А весь церемониал его поездок напоминает путешествия особ царской фамилии.

В одной из статей тех же лет, когда в «Отечественных записках» печатался щедринский «Дневник», Н. Михайловский остроумно сопоставлял посвящение одного ученого труда XVIII века князю Потемкину с современной книжкой, посвященной крупному дельцу Полякову. Однако даже подобные красноречивые факты не мешали Н. Михайловскому питать народнические иллюзии, будто в России «новые хозяйственные образования и формы находятся еще в зародыше» и она может — при помощи «государственных акушеров» — избежать засилья «нужных людей» (то есть капиталистических дельцов) и «язвы пролетариатства».

Путешествие же Прокопа по России в изображении Щедрина объективно выглядело как венчание на царство нового властителя, принимаемого обществом с раболепным восторгом, несмотря на его хищнические повадки.

Относя полный триумф Прокопа на двадцать пять лет, Щедрин преследовал цель показать и воскрешение в иных формах старой судебной волокиты и, главное, — черепашью поступь, которой движется восхваляемый либералами «постепенный» прогресс.

«Благодаря этой постепенности, успехи, которые сделала рус-

ская жизнь в продолжение последних двадцати пяти лет, поистине изумительны, — издевательским тоном сообщает сатирик. — В каждом городе существует клуб, в котором за 75 копеек можно получить неприхотливый, но сытный обед, состоящий из трех блюд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул «излюбленных губернаторами людей» и в этом качестве занимают в клубах должности «главных старшин». Вредный административный антагонизм исчез совершенно; земские управы, изнемогшие в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь уездную и губернскую статистику...»

Таковы итоги «постепенного» прогресса, ради которого либералы призывали «не торопиться». Это всего лишь вариация прежнего положения, когда в России полновластно хозяйничал — под тем или иным названием — административно-полицейский аппарат, ревниво оберегая свою власть от каких-нибудь ограничений даже в невиннейших областях (содержание мостов и переправ).

«Фантастическому сну» провинциала соответствует не менее диковинная реальность. Один из героев сна выражает мысль, что «в настоящее непостоянное время вступать в какие-либо обязательства по предмету распространения в России просвещения — дело довольно щекотливое», а Прокоп увещевает одаренных им студентов: «Только смотрите у меня: чур не шуметь! Ведь вы, студенты... тоже народец! А вы лучше вот что сделайте: наймите-ка латинского учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет!»

В этой тираде заключен намек и на студенческие волнения и на истинную причину введения «классического образования», призванного отвлечь молодежь от «хмеля» самостоятельного мышления и вольнолюбивых настроений.

Но законченную форму эти посягательства на всякое просвещение приобретают в уже известном нам проекте «переформирования де сиянс академии». Рядом с ним существуют другие разнообразные идеи, доводящие знакомящегося с ними героя до совершенного умопомрачения: «...везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один проект трактовал о расширении, но и то — о расширении области действия квартальных надзирателей».

Везде мечтали воспитать на смену беспокойному поколению нигилистов и мечтателей «поколение дремотствующее, но бодрое», способное к внимательному рассмотрению лишь никчемных мелочей, «сюжетов безопасных и малополезных», совершенно не соприкасающихся с какими-либо серьезными нуждами окружающей жизни.

И посильное содействие воплощению этих мечтаний оказывали люди, именовавшие себя либералами!

На русских либералов в ту пору обрушивалось немало ударов и упреков.

«Ведем мы себя, даже можно сказать, примернейшим образом. Но — странное дело! — для правительства все как будто неясно,

что от пенкоснимателей никакого вреда не может быть!» — жалуется Прелестнов провинциалу. Разумеется, это осложняло деятельность либеральных органов печати и в то же время в известной мере придавало им ореол борцов и страдальцев за правое дело. И Щедрин был прав, когда не принимал в расчет эти случаи точно так же, как неоднократные цензурные гонения на издания Ивана Аксакова. «И пенкосниматели, и их случайные каратели, — писал он, — стоят так близко друг к другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить».

Любопытно, однако, сопоставить щедринскую критику русского либерализма с той, которая содержалась в романе Достоевского «Бесы», появившемся почти одновременно с «Дневником провинциала в Петербурге». Степан Трофимович Верховенский изобличается в «Бесах» совсем не потому, что его деятельность приносит вред в тогдашний момент своей бессодержательностью и отвлечением верящих ему людей в бесплодную пустыню мелочей.

В 1869 году Щедрин посвятил одну из своих статей выходу в свет биографии Грановского, видя в его судьбе почти символ бьющейся в атмосфере всеобщего равнодушия, непонимания и враждебности русской мысли и ее слабость, оторванность от жизни ставя в вину не столько ей самой, сколько условиям, в которых она находилась:

«Многие в этом видят повод, чтоб упрекать либеральную партию в бессилии и осыпать ее насмешками, но, кажется, справедливее будет, если мы отнесемся к этому факту, как к явлению очень печальному, но совершенно естественному. Мысль живет и питается практическими применениями; если однажды нить этих применений прервана и устранена их преемственность, то само собою разумеется, что и самое развитие мысли прекращается или, по крайней мере, ослабляется очень значительно».

Достоевский придал некоторые черты Грановского своему Верховенскому, но сделал его смешным и трусливым. Степан Трофимович терзается страхами, что прежнее вольнодумство делает его в глазах властей сообщником радикально настроенной молодежи. Рассказчику у Достоевского «умилительно и как-то противно» «полнейшее, совершеннейшее незнание обыденной действительности»: подумать только, — Степан Трофимович считает достаточной причиной для ареста свою давнюю поэму отвлеченного содержания и найденные у него сочинения Герцена! Однако столь комически подаваемые страхи Верховенского на самом деле могли показаться беспочвенными лишь в порыве во что бы то ни стало высмеять героя.

« — Степан Трофимович, скажите мне, как другу, — вскричал я, — как истинному другу, я вас не выдам: принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет?

И вот, к удивлению моему, он и тут был не уверен: участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе.

— Ведь как это считать, voyez-vous [1]...

---

[1] Видите ли (*фр.*).

— Как «как считать»?

— Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и... кто может заручиться: думаешь, что не принадлежишь, ан, смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь».

Эта сатирическая стрела теряет значительную часть своего яда, если вспомнить, что Степан Трофимович читывал в газетах рассуждения вроде нижеследующего: «В какую графу или под какое наказание занесется преступление дурного нравственного влияния на товарищей, часто незримого, но чувствуемого внимательным наставником, выражающегося рядом мелких, почти неуловимых признаков, но тем не менее требующего мер решительных?»

Если «Московские ведомости» в столь зловещем тоне оправдывали даже простое исключение гимназиста, то Степан Трофимович был вправе рисовать себе возможность расправы над ним самим. Те же самые чувства испытывает и герой щедринской статьи «Наши бури и непогоды» после чтения «Московских ведомостей»: «Я соглашался даже с тем, что всякий литератор может быть заговорщиком, сам не зная и не подозревая того; он может быть кругом опутан интригою и мыслить под влиянием ее, самодовольно воображая при этом себе, что он мыслит вполне самостоятельно и независимо. Я начал сомневаться даже в самом себе. Я начал думать: действительно ли то, что я пишу, пишу по собственному убеждению? Не опутан ли я изменою, как и другие? Не заговорщик ли я?»

При всей своей неприязни к таким, как Прелестнов, Щедрин все же допускает мысль, что «это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке». Достоевский же посмеивается над «пустыми страхами». Однако стоит просмотреть частные дневники тех лет, чтобы убедиться, как нередки были тогда подобные «смешные опасения».

Никитенко, сделав запись об аресте профессора химии Энгельгардта, которому только что была присуждена Ломоносовская премия, размышляет, вспоминая известного мастера полицейских провокаций при Наполеоне III: «Подобные Пиетри изобретатели заговора были не в одной Франции — были и есть». Не одним чисто историческим интересом было, надо думать, продиктовано и помещение в «Отечественных записках» статьи о политических процессах во Франции после реставрации Бурбонов. В ней пространно рассказывалось о неоднократных полицейских инсценировках, к которым прибегали роялисты.

Если «робкий провинциал», как характеризовал Кони на «процессе Мясниковых» одного из истцов — Ижболдина, сделался жертвой лжесвидетельства, явно сфабрикованного в Третьем отделении, то ничего принципиально невозможного не было и в том, что, как подозревали современники, в «нечаевском процессе» не обошлось без этого же вмешательства.

Значительно более интеллигентный, чем Ижболдин, но не ме-

нее Верховенского запуганный, рассказчик в «Дневнике провинциала» всей логикой событий подготовлен к тому, чтобы стать жертвой какого-либо панического заблуждения. И в произведении Щедрина вспыхивает новый сатирический фейерверк, опять-таки изготовленный на основе «взаправдашних» петербургских событий.

В августе 1872 года в русской столице происходил Международный конгресс статистиков. За месяц до этого в «Отечественных записках» появилась довольно язвительная статья литератора Е. Карновича.

«Статистика, — написал он, — как известно, самым тесным образом связана с вопросами политической экономии и социального быта, а между тем общий склад нашей государственной и общественной жизни не способствует пока широкой и самостоятельной разработке этих вопросов».

Любопытно припомнить, что возмущение, вызванное в 1848 году «Запутанным делом», избавило от крупных неприятностей статистика К. С. Веселовского, опубликовавшего одну из своих работ (о жилищах рабочего люда в Петербурге) в том же номере «Отечественных записок», где была и повесть Салтыкова.

Несмотря на то, что гроза миновала, перепуганный автор, по собственному признанию, «разом повернул на такие исследования, в которых можно говорить безопасно всю правду, а именно на исследование климата России и его влияния на человека и быт».

Не пользовалась благосклонностью начальства излишне любознательная статистика и в дальнейшем. Е. Карнович иронически сопоставлял сумму, ассигнованную на прием иностранных гостей, с другой, несравнимо более скромной, которую крайне неохотно выделяли на ежегодное содержание петербургского статистического комитета, и высказывал подозрение, что русские делегаты на конгрессе будут выглядеть не столько статистиками, сколько статистами.

Герой «Дневника» также приходил к выводу, что «ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными».

Однако в книге Щедрина речь идет уже не о подтасовке тех или иных цифр или умолчании о каких-либо сторонах русской жизни; весь конгресс оказывается плохонькой, белыми нитками шитой, хотя и вполне достигающей своей цели, мистификацией, затеянной якобы какими-то досужими шутниками. Опутанные ложными показаниями, совершенно потерявшие голову, герои «Дневника» полны сознания своей виновности. «Мы все вдруг сосредоточились, как отправляющиеся в дальний путь», — сообщает перепуганный, как и все, рассказчик, за которым (в точности как у Верховенского-старшего!) есть «давний грешок» — написанная в далекой молодости повесть «Маланья» в неопределенно-либеральном духе. Допрашиваемый мистификаторами, он вскоре запутывается и не только признает справедливыми абсурдные обвине-

ния, брошенные по его адресу, но впадает в какое-то истерическое самообличение:

«— Один из моих товарищей, — сказал я, — предлагал Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск. И я разделял это заблуждение!

— Дальше-с!

— Другой мой товарищ предлагал отделить от России Семипалатинскую область. И я одобрял это предложение».

Словом, за неделю «обвиняемые» оговорили и себя и друг друга настолько, что в пору было всех их приговорить к каторге.

Нет ничего удивительного, что после всего пережитого герой оказывается в больнице для умалишенных, живущей, собственно говоря, по тем же законам, что и весь тогдашний Петербург.

Стоит задуматься: почему «шутники» разыграли судебную комедию в полном соответствии с нравами тогдашней юстиции, с ее облыжными обвинениями, использованием лжесвидетелей?

Не пытался ли Щедрин, лишенный возможности изобразить действительный политический процесс того времени, все-таки обойти это препятствие, причудливо перемешав правду с выдумкой и гремевшие на совершенно реальных судилищах обвинения с заведомой бессмыслицей?

«Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня», — сказано в заключительной части книги, где все чаще, отстраняя своего героя, выходит на авансцену сам автор. Сказано с горечью, ибо, как тут же поясняет сатирик, есть два вида людей и явлений — «один, к которому можно отнестись апологетически, но неудобно отнестись критически; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически».

«Неудобство» по отношению к первому виду, говоря словами самого Щедрина — «торжествующих», или, как горячо скажет впоследствии Некрасов, «ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови», — сатирик все-таки преодолел, и его извинения перед читателем в данном случае носят характер некоторого лукавства, понятного им обоим.

Зато о втором «неудобстве» говорится с полнейшей искренностью. Ни в условиях подцензурной печати, ни — чего тоже нельзя забывать — в специфических рамках щедринской, резко сатирически окрашенной художественной системы «стан погибающих за великое дело любви», если снова воспользоваться словами поэта, никак не мог быть нарисован с достаточной полнотой и рельефностью.

Впрочем, один могучий боец этого стана в книге есть: это сам автор.



«Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,
Увы!.. не внемлет он – и не даёт ответа...»
Н. А. Некрасов «Элегия»

VIII

Опять на русской земле знакомый гость: голод. Последнее время каждый год от 15 до 17 губерний подвергаются этому бедствию.

Самоотверженно «борются» с ним царские сановники: пусть гуляет по селам, умножает кресты на погостах, — они до последней возможности будут уверять, что народ не голодает, а просто «терпит нужду».

Так поступал в 1868 году, будучи министром внутренних дел, П. А. Валуев; и когда пять лет спустя Самарскую губернию поражает неурожай и Лев Толстой публикует письмо, предупреждающее о грозящей населению катастрофе, появляется хладнокровное

предписание преемника Валуева — Тимашева о принудительном сборе недоимок.

Поля голы, народ толпами уходит из сел, но начальство недрогнувшей рукой продает скот неплательщиков.

«Когда живо представляешь себе, что будет зимою, то волос дыбом становится!» — восклицает Толстой в частном письме, оговариваясь, что не любит «писать жалостливо». Действительно, вскоре бедствие принимает такие размеры, что, наконец, и в комитете министров встал вопрос о помощи голодающим, хотя губернатор Климов все еще пытался свалить вину за случившееся на пьянство и безнравственность крестьян.

Судя по опыту, надо было ожидать, что и более высокое начальство ухватится за любой предлог, чтобы отвлечь внимание общества от изможденных мужицких лиц.

Уже в декабре 1873 года всесильный временщик П. А. Шувалов рисует перед царем и министрами зловещую картину духовного «растления» народа пропагандистами и учителями народных школ.

«Хождение в народ», предпринятое интеллигентской молодежью в 1874 году, дало еще более обильный материал для жандармских сочинителей всевозможных крамол.

Пылкие юноши и девушки, шедшие в народ, рисовали его себе похожим на лучших героев некрасовских стихов; их заражало ощущение неоплатного долга ему, которым были пронизаны стихи любимого поэта. О вине всякого цивилизованного меньшинства, если оно довольствуется только ролью «представителя и хранителя цивилизации», а не становится само ее двигателем, сея полученные знания в народные массы, говорилось и в нашумевших «Исторических письмах» Миртова (псевдоним П. Л. Лаврова).

Строгая, лишенная стилистических красот речь Лаврова тем не менее звучала для тогдашней молодежи как трубный сигнал: «Ясно понятые интересы личности требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов... Истинная общественная теория требует не *подчинения* общественного элемента личному, и не *поглощения* личности обществом, — а *слития* общественных и частных интересов».

Жадно и доверчиво читала молодежь статьи П. Н. Ткачева, предрекавшего, что в глубине России таится все потребное для гигантского костра, в котором сгинет самодержавие. «Кто не верит в возможность революции в настоящем, тот не верит в народ...» — безапелляционно возвещал публицист.

Энтузиазм, долг, романтическое самоотвержение владели сердцами «шедших в народ», а самодержавие, со своей стороны, казалось, делало все, чтобы они утвердились в своем решении.

Восторженной, рвущейся к полезной деятельности молодежи предлагалось корпеть над латынью и греческим языком. Естественное стремление к товарищескому общению встречало многочисленные препоны в гимназических и университетских правилах. Тяга к естественным наукам всячески осуждалась, и можно себе представить, какое отчуждение возникало поэтому между педагогами-ста-

роверами и пытливыми юнцами, многие из которых могли сказать о себе словами своего сверстника, будущего революционера и ученого Н. А. Морозова: «Достаточно было в то время кому-нибудь насмешливо отнестись к нашим занятиям естественными науками или, еще хуже, к самим этим наукам, и я уже не мог ни забыть, ни простить тому человеку, как верующий не признает насмешки над своим божеством или влюбленный над предметом своей любви».

На глазах молодежи Академия наук дважды отказывала в избрании такому выдающемуся русскому ученому-естественнику, как И. М. Сеченов, зато награждала званием своего почетного члена прусского фельдмаршала Мольтке.

Нечего было надеяться и на сколько-нибудь обширную арену для общественной деятельности, видя, что земские учреждения находятся в совершенном параличе, а печать влачит поистине жалкое существование.

С юношеской бескомпромиссностью отвернулись молодые идеалисты от этого немощного общества в надежде найти в русском крестьянстве незамутненную трудовую мораль и рвущуюся наружу лаву векового гнева.

Прощайте, тихие залы библиотек, любимые профессора, мечты о научной карьере! Прощайте, отцы, матери, сестры, невесты! Рядом с великим долгом перед народом так ничтожны все другие привязанности и обязательства! Они тускнеют, как звезды при восходе солнца.

Ни лишения, ни преследования, ни необходимость тяжкого и непривычного труда, чтобы жить одной жизнью с простым народом, не охлаждают лучших из этих энтузиастов.

Почему же вскоре в их бодрых речах возникают сомнение и усталость?

Степняк-Кравчинский однажды с недоуменной усмешкой рассказал, как они с товарищем стали агитировать проезжего крестьянина, а он с ужасом нахлестывал свою хилую лошаденку, покамест они оказались не в силах бежать за ним.

Кропоткин, уже в тюрьме, заводил разговоры с надсмотрщиком родом из крестьян, и каждый раз видневшийся сквозь отверстие в двери глаз выражал панический испуг и исчезал.

Морозов с огорчением наблюдал, как розданные им брошюры были употреблены на цигарки. «Да уж прости, родной! — добродушно повинились перед ним. — Больно покурить захотелось, а бумага-то такая чистая, хорошая...» Та же участь постигла, видимо, большинство книг, которые другие пропагандисты раздавали и даже просто разбрасывали по дорогам. Во всяком случае, большинство из них не возбуждали о себе жандармского дознания.

Конечно, многие пропагандисты действовали очень наивно и часто становились жертвой собственной неосторожности. Но все-таки дело было совсем не в том, что они не умели носить крестьянское платье, пить водку и говорили псевдонародным слогом («Што ш...робята... иефто... ничаво... потому шта...», как Нежданов в «Нови» Тургенева). Многие из тех, кто шел в народ, были умны, та-

лантливы, красноречивы, но и о них можно было сказать словами некрасовской элегии, написанной в 1874 году:

...И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся... Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,
Увы!.. не внемлет он — и не дает ответа...

Иначе и не могли вести себя те, которые «столетиями, из поколения в поколение, тупо влачили свое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания», как писал в полемике с Ткачевым Фридрих Энгельс [1]. Бескорыстнейший энтузиазм русской революционной молодежи не мог преодолеть замкнутости крестьян в тесных рамках своих общин, которые, вместо того чтобы стать готовыми клеточками будущего социализма, как мечталось народникам, служили гранитной опорой деспотизма.

Разочарование «шедших в народ» было таково, что, по предположению Морозова, если бы правительство не ожесточило их своими гонениями, чуть ли не все они скрепя сердце вернулись бы к своим прежним занятиям.

Однако слишком многие были заинтересованы в том, чтобы возбудить шум вокруг движения юных идеалистов. Помещики доказывали, что без их догляда мужик «разболтался», священники докладывали, что в народных школах сеют в умах неверие, кулаки плакались, что крестьяне «бунтуют».

«— Никогда прежде бунтов не бывало, а нынче смотри-ка, бунты начались! — негодует в очерке «Столп» крупный воротила Осип Дерунов, услышав, что крестьяне отказались от предложенной им цены.

— Да какой же это бунт, Осип Иваныч! — вступается рассказчик.

— А по-твоему, барин, не бунт! Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! В амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну, как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему, это не бунт!»

Если в бунт превращается простое нежелание дать себя обобрать, отдать товар по назначенной местным «монополистом» цене, то можно понять, с какой неприязнью встретили деруновы появившихся в деревне людей, способных растолковать крестьянам механику прижимки и надувательства. Поселившаяся в деревне как фельдшерица Вера Фигнер вспоминала впоследствии, что, если крестьяне отказывались от невыгодной сделки, «пострадавшие» говорили, что виновата в этом она.

Пришла в движение и вся армия полицейских чинов, радеющая о том, чтобы «во вверенных участках» ничего могущего

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 568.

смутить начальство не происходило: «Не нужно ни земледелия, ни промышленности, ни просвещения. Нужно, чтобы тихо было».

В середине 1874 года Подвергся опале П. А. Шувалов, казавшийся вдохновителем этих гонений, но они не только не прекратились, а еще более усилились. И снова в ответчики попадает печать.

— Они за последнее время точно белены объелись, — негодовал Щедрин на цензоров.

Майскую книжку «Отечественных записок» задерживает министр внутренних дел, затем запрещает совет министров, и, наконец, в сентябре она предается сожжению.

Среди нескольких «особенно вредных» материалов, «погубивших» номер, был и рассказ Щедрина «Тяжелый год». Не только картина неприкрытого грабежа во время Крымской войны прозрачно перекликалась с эпохой новейшего хищничества, но и некоторые мысли, мимоходом высказанные Щедриным, обладали, на взгляд цензоров, подозрительным «привкусом».

«Заблуждаться казалось естественным, — вспоминал Щедрин про отношение прежнего провинциального общества к вольнодумцам. — «Заблуждаться» — это означало любить отечество по-своему, не так, быть может, как начальство приказывает, но все-таки любить... Во всяком случае, ни о «внутренних врагах», ни о «неблагонадежных элементах» тогда даже в помине не было. Какие к черту «внутренние враги», которые сидят смирно да книжки читают?»

Не только в этих строках угадывалось явное сочувствие и к «заблуждающимся» нового толка. Несколько лет спустя, в «Убежище Монрепо», писатель прозрачно намекнул на трудности, с какими встречаются люди, устремляющиеся в деревню ради «совета, разъяснения, просвещения и посильной помощи»:

«Сказать человеку толком, что он человек — на одном этом предприятии может изойти кровью сердце. Дать человеку возможность различать справедливое от несправедливого — для достижения этого одного можно душу положить».

На глазах Щедрина ушел в топкую почву еще один слой фундамента, который пытались заложить революционеры. Свойства этой исторической почвы он и продолжал терпеливо исследовать.

Существующий порядок держался не только благодаря пассивности социальных низов и грубому насилию власть имущих. Его долголетию способствовал «одержимый холопским недугом» слой обывателей. Прилаживаясь к желаниям сильных мира сего, они стремились беспечально прожить «незамеченными» в «превратных толкованиях». Как своего рода общественный натуралист, Щедрин начал «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» (так первоначально назывались очерки, составившие впоследствии книгу «В среде умеренности и аккуратности»).

На этот раз его интересуют не импозантные помпадуры и устрашающие градоначальники, не опустошающие вселенную «ташкентцы» и вкрадчивые хищники. Вспоминая заплечных дел мастера

времен Екатерины II Шешковского и английского судью Джеффриза, прославившегося своей жестокостью к политическим заключенным, он не останавливается подробно на этих фигурах, довольствуясь лишь неминуемыми ассоциациями, которые они вызывали у читателей — свидетелей судебной расправы над народническим кружком «долгушинцев» в июле 1874 года.

Внимание его приковано к незаметным героям истории — Молчалиным, которые по образу и подобию своего литературного предка сделали своим жизненным принципом «умеренность и аккуратность» и ни на шаг не преступали предначертаний начальства.

«Вглядевшись пристальнее в жизненный круговорот, мы без труда убедимся, что все в этом круговороте создается руками именно тех «и других», от которых мы так самонадеянно отворачиваемся, — утверждает сатирик. — Джеффризы потому бросаются в глаза, что они как-то уже слишком блестяще злы; Молчалины, напротив того, скромны и податливы и вследствие того остаются незамеченными. Но не забудем, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных».

Сосредоточение всех интересов на устройстве своего личного благополучия определяет второй девиз Молчалиных: моя изба с краю — ничего не знаю. Их главная цель — пристроиться к «нужному человеку» и греться в лучах сего административного светила. Ради того, чтобы не раздражать его, они «наскоро, одним плевком» тушат все «божьи искры» в своей душе, чтобы начальник не заподозрил в них тлеющей крамолы. Чем больше «истаяла» в них сознательность, тем прочнее их положение. И карьера их тем вернее, чем более чутко угадывают они истинных «героев времени».

«Тут главнейшая трудность, — иронически поясняет Щедрин, — заключается в том, чтоб не увлекаться теми базарными настроениями, которые иногда ставят запрос на фальшивую почву. Таковы, например, все так называемые либеральные настроения, о которых следует раз навсегда сказать себе, что эти настроения скоропреходящие, не стоящие ломаного гроша.

Должно однако ж сознаться, что и в этом случае требуется очень большая опытность и стойкость».

Вся эта тирада адресована разноименным Молчалиным, которые в «эпоху реформ» поставили не на ту лошадь, связали свои надежды с непрочными либеральными поползновениями правительства и вскоре очутились у разбитого корыта.

«Истинный Молчалин, — насмешливо поучает сатирик, — обязывается предвидеть все подобные перевороты. Он должен понимать, что увлечения несвойственны солидным людям, что действительную прочность в сей юдоли плача имеет только полная бессодержательность...» Он советует Молчалиным не чураться даже таких «тонкостей», как избрание покровителей сосредоточенных, упорных и угрюмых, а не легкомысленных и добродушных; последние по самому своему характеру могут быть заподозрены

в либерализме, — и прощай тогда карьера Молчалина, облюбовавшего себе такого «хозяина»!

Молчалин может настолько «обойти» и приручить своего начальника, что будет в силах увещевать его и отвращать от действий, вредных либо в конечном счете для собственного положения самого сановника (а следовательно, и Молчалина), либо для людей, в которых Алексей Степаныч почему-либо принимает участие. Отсюда возникает иллюзия «полезности» Молчалиных, опирающаяся на эти редчайшие случаи и противоречащая множеству фактов, когда Молчалин являлся покорным исполнителем чужих предписаний.

Собственно говоря, пример Молчалиных ужасен: растлившие в себе человека, они претендуют на симпатию и на сочувствие своей «полезной» деятельности и являют своим беспечальным житьем соблазн последовать за ними по скользкой стезе умеренности и аккуратности. С руками, незримо обагренными кровью, они благодушествуют за мирной трапезой, в полной уверенности, что равно заслуживают и благоволения начальства и уважения окружающих. Если их высокие покровители поражают и отчасти даже возмущают мир своими нечеловеческими выходками, в которых их побуждения являются во всей своей первозданности, то Молчалины тишком да ладком успевают претворить эти дикие теории на практике, «по человечеству» слегка смягчая или просто прикрашивая их подлинную суть. И если помпадур просто гаркнет: молчать! — то добрейший Алексей Степаныч, жалеючи знакомого литератора, преподнесет ему этот совет в самой деликатной форме.

— Стало быть, — переспрашивает ошеломленный «добрым советом» рассказчик, — вообще-то говоря, рассуждать не возбраняется, но только нужно, чтоб эта способность проявлялась, во-первых, в пределах и, во-вторых, не во вред? Так, что ли?

— Да, мой друг!

— И, стало быть, ежели не умеешь отыскать «пределов» или не можешь отличить, что вредно и что полезно, то...

— То лучше не рассуждать!

Говоря о «счастливом» уделе Молчалиных, которые ускользали доселе от внимания потомков и историков и, как в раковину, скрывались в туманную формулу «и другие», Щедрин пустил в них ядовитую стрелу, сказав, что «детям их нечего будет стыдиться, все равно как бы они родились без отцов». Однако впоследствии ему представилась возможность изобразить отмщение, которому могут подвергнуться люди, согласившиеся быть орудиями произвола. Уже при первом посещении рассказчиком семейства Молчалина обнаруживается, что оно «словно на две половины раскололося: одна — свое, другая — тоже свое». Дети вежливо уклоняются от разговоров с отцом, ибо иначе ему частенько пришлось бы услышать в ответ на нотации о необходимости иметь «дозволенный образ мыслей» горькие слова, однажды вырвавшиеся у сына: «Ах, папенька! вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!»

Несколько лет спустя Щедрин написал очерк «Чужую беду — руками разведу», в котором изобразил Молчалина, потрясенного арестом сына «за политику». Правда, благодаря хлопотам, юношу Павла Алексеевича вскоре выпустили, и успокоенный отец снова приобрел душевное равновесие и даже умиленно вспоминал, как откровенничал с ним начальник: «...вдруг взял он меня за обе руки и говорит: «ах, Алексей Степаныч, Алексей Степаныч! ты думаешь, нам легко? Легко нам эти меры-то принимать?..» Вот, говорит, который уж год неурожай везде, заработков нет, торговля в умалении, земледелие пало — надо же меры принимать!»

На этот раз тяжелое колесо, послушной спицей которому служил сам Молчалин, в последний миг отвернуло в сторону от его домашнего очага, но замкнутость и прежняя несговорчивость сына говорят, что он отнюдь не растроган оказанным ему снисхождением и не испытывает раскаяния.

Разумеется, среди юных революционеров оказывались и просто слабодушные люди и те, кто, «разочаровавшись» в народе, вернулся к «мирным» занятиям. Но сколько было иных судеб, дающих ясное представление о том, как могла разрешиться завязавшаяся в семействе Молчалина драма!

Отец Н. А. Морозова, одного из 193-х обвиняемых в пропаганде среди народа, взял сына на поруки и всячески стремился оторвать его от товарищей: возил по музеям и театрам, радовался интересу сына к астрономии и пытался даже привить ему склонность к практической биржевой деятельности. Однако стоило Николаю Александровичу надолго покинуть дом, как отец заподозрил, что он принялся за старое, и поторопился сообщить властям о сыновней отлучке.

«Он сделал совсем так, как делали щедринские герои...» — с горечью писал впоследствии Морозов, рассказывая про свой трагический разрыв с отцом. И действительно, только болезненной потребностью послушания и боязнью разгневать начальство можно объяснить подобный поступок, при котором отец уже непосредственно превращается в полицейского надзирателя при любимом сыне и утрачивает всякое доверие с его стороны. (Вспомним также, что надзор над сосланным в Ставрополь революционером Германом Лопатиным был поручен его отцу!)

Подобный же исход могла иметь и неоконченная семейная история Молчалина.

В 1874 году завершилась другая многолетняя семейная драма. В лютый декабрьский мороз Михаил Евграфович отправился на похороны матери. Когда он приехал, ее уже похоронили. Его старший брат Дмитрий, вздыхая, посетовал на непочтительность, от которой, дескать, и при жизни терзалась душа «милого друга маменьки». Михаил Евграфович простыл по дороге, его бил озноб, и больше всего ему хотелось не видеть одетого в траур родственного воронья, которое того и гляди подымет несусветный галдеж из-за какого-нибудь спорного пункта завещания.

Вот и умерла женщина, которая давным-давно повела себя так, что при встречах с ней он не ощущал в себе ничего, кроме тягостного чувства взаимной лжи. Она была недовольна его женитьбой и обделила его по «раздельному акту» ради других сыновей. Он давно стал для нее не сыном, а всего лишь неисправным должником.

Письма, с которыми ему приходилось постоянно обращаться к матери, — это форменные челобитные: «Всего более я прошу Вас о сложении запрещения (на имение. — *А. Т.*). Пожалуйста, исполните это, так как Вы положительно ничего через это не теряете. Имение у Вас в виду, да и наконец настоящие мои письма служат доказательством, что я вполне признаю свой долг в той цифре, которая находится в Вашей последней расписке от 12 февраля...» (9 марта 1873 г.); «Повторяю здесь то, что писал в прежних письмах: Вы решительно ничего не теряете со сложением запрещения...» (7 апреля 1873 г.); «Будьте также добры, дайте ход делу о снятии запрещения» (28 июля 1873 г.); «Благодарю Вас за Ваше желание снять запрещение с моего имения. Будьте так добры, выполните его» (17 августа 1873 г.); «Вспомните, что я с 63 года *ничего* не получаю и содержу себя и семейство единственно тем, что сам вырабатываю... Прошу Вас уведомить, в каком положении дело о сложении с имения запрещения?» (20 октября 1873 г.).

Михаил Евграфович даже завидовал Некрасову, слушая его рассказы о матери и видя, каким мягким вдруг становится в эти минуты его замкнутое лицо. Сам он тогда казался себе каким-то злобным существом, в котором мысль об Ольге Михайловне не вызывала никаких других чувств, кроме разлития желчи.

Но даже теперь, после ее смерти, он не испытывал раскаяния. Глаза его были сухи, и родственники возмущались его бессердечием.

— Вот бог-то и карает жестокосердных, — с притворной печалью припомнил эти дни Дмитрий Евграфович, когда до него впоследствии дошли вести о тяжелой болезни брата.

Беспомощный, мучимый жестоким ревматизмом лежал Михаил Евграфович; он был мнителен, и сейчас его неотступно преследовали мысли о смерти. Он уже видел сиротами трехлетнего Константина, двухлетнюю Лизу, а жену — с другим мужем. В другое время он просто ушел бы в редакцию, но теперь ему приходилось целыми часами оставаться с этой женщиной, которая заставляла его испытывать форменное удушье от приступов яростной ненависти к ней и с которой он, однако, не мог расстаться.

Он никогда не стеснялся с ней в выражениях, и все, бывало, жалели ее и объясняли ее увлечения тем домашним гнетом, который испытывала «бедняжка Лиза».

В апреле 1875 года доктор Белоголовый отправил своего подопечного, поднявшегося на ноги, за границу. Прощаясь с ним, Некрасов исподтишка глядел на взволнованного Щедрина почти с ужасом. Еще недавно он чувствовал себя рядом с ним как на-

дорванная лошадь, которая прибавляет бегу, попав в одну упряжь с молодой. Неужели теперь и этого соратника отберет судьба? Через несколько дней Николай Алексеевич послал находившемуся в Баден-Бадене П. В. Анненкову стихи с просьбой прочесть их Михаилу Евграфовичу, когда тому будет полегче:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь...

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.

Трудом — и бескорыстной целью...
Да! будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

Баден-Баденский курорт не сразу принес Щедрину облегчение. «Увы! Никогда уже он не будет чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели...» — подтверждал худшие опасения Некрасова Анненков. Еще в начале мая Некрасов телеграммой спрашивал Анненкова, не следует ли удалить от больного семью, так как он видел, как тяжело переносит Михаил Евграфович присутствие жены.

«Положение мое, добрейший Николай Алексеевич, вот какое, — читал Некрасов аккуратный почерк Елизаветы Аполлоновны и как будто наяву слышал слабый, прерывающийся кашлем голос диктующего ей Щедрина, — я сегодня в первый раз встал с постели и не мог сделать ни шагу собственными ногами... Доктор обещает, что на будущей неделе можно будет ездить в колясочке...»

И, однако, несмотря на жалобы и опасения, что он не скоро сможет работать, «редакторская жилка» по-прежнему билась в письме: «как говорят, намеревается здесь прожить несколько месяцев Писемский. Не предпринять ли что-нибудь относительно последнего, который, вероятно, у меня будет».

Если даже мягкий Тургенев, описывая светскую публику, заполнявшую рестораны, аллеи и игорные залы Баден-Бадена, сыпал сарказмами, то Щедрин положительно выходил из себя при виде «русских откормленных идиотов, здесь живущих», и «идиотской русской напыщенности». И он резче обычного одергивал Унковского, который по своему добродушию вступал в разговоры со всякими пустоголовыми соотечественниками. Салтыков желчно сравнивал его с собакой, которая задерживается у каждого столбика.

«Как место для временного гулянья Баден хорош, но для

постоянного или долгого житья он не уютен, — обстоятельно писал Некрасову Елисеев. — По блеску, роскоши и разным светским этикетам он, пожалуй, похож на столицу, а по бессодержательности и мелкоте жизни ничем не отличается от уездного города... Я понимаю, почему Баден так опротивел Салтыкову, что он слышать о нем не может...»

Очень обрадовался Михаил Евграфович приезду Елисеева и дня два почти не отпускал его от себя, словно с ним в Баден-Баден проникла тревожная, трудная, надрывающая сердце и в то же время необходимая, как воздух, русская жизнь; редакционные бдения, корпение над чужими исчерканными рукописями казались отсюда заманчивыми.

Лето стояло дождливое, холодное, и странно было думать, что не только юг России был поражен страшной засухой, но и в окрестностях Петербурга стоит сушь, то и дело вспыхивают лесные пожары и столица застилается мглистой дымкой, особенно вечерами.

Можно было ждать голода, но правительство было по-прежнему больше занято ловлей пропагандистов, а образованное общество без конца справляло разнообразные юбилеи. Елисеев передавал Салтыкову, что Некрасов посвятил этим празднествам злую поэму. И Михаил Евграфович волновался, как будет выглядеть рядом с нею его новый рассказ «Сон в летнюю ночь», в котором он тоже касался этой темы.

Здесь, в баден-баденском сборище всесветных хлыщей, слушая рассказы о восславлении ничтожных деятелей, Щедрин по-прежнему возвращался мыслями к «человеку, питающемуся лебедой», — этому скромному Атланту, на чьих плечах держится все кичливое и праздноболтающее общество, но которому, по царским законам, орденов не полагается.

«Сон в летнюю ночь» начинается картиной юбилея мельчайшей канцелярской сошки — экзекутора, надзирающего за исправным содержанием департаментских клозетов. Чинный церемониал празднества разворачивается на фоне народного бедствия: в приветственных телеграммах пестрят упоминания: «Увы! вот уж два дня, как наш прекрасный Конотоп горит... Вчера сгорела половина Лаишева... Сегодня с утра здесь свирепствует пожар; до сих пор сгорело около ста домов». Из всей своей «славной» деятельности юбиляр только и может припомнить, что все его начальники были, «так сказать, на одно лицо» (хотя с некоторых пор все более ожесточаются), да рассказать несколько характерных анекдотов, свидетельствующих об их тупости и бессовестности. А окончательно упившись, он, к смущению присутствующих, назвал все юбилеи «собачьей комедией».

«...Если бы вы заглянули в ревизские сказки любой деревни, — заметил «юбиляр», — то, наверное, сказали бы себе: сколько есть на свете почтенных людей, которые все юбилейные сроки пережили и которых никто никогда и не подумал чествовать! Никто, господа, никогда!»

Под впечатлением этой неожиданной выходки рассказчик и увидел сон, как в селе Бескормицыне чествуют старого крестьянина Мосеича, который пятьдесят лет несет рабочее тягло.

Мысль об этом юбилее приходит в голову сельскому учителю и священнику, которые придерживаются самых умеренных либеральных взглядов и намерены действовать «потихоньку да полегоньку». Они хотят «воспитать в мужике чувство самоуважения, а потом уже постепенно переходить к развитию чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д.». Этого достаточно, чтобы понять всю скромность их замыслов, которые не только не таят в себе ничего предосудительного, но в конце концов клонятся к тому, чтобы крестьяне исполняли свои прежние обязанности исправно или даже с энтузиазмом. Поэтому и выбор их закономерно пал на Мосеича как на одного из «таких крестьян, которые отличились долголетнею твердостью в бедствиях, а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить к ней еще: непоколебимость в уплате недоимок и неукоснительность в исполнении начальственных требований, *хотя бы даже и лишенных законного основания».*

Многие черты обоих «устроителей» характерны для трусоватых болтливых либералов. Так, имея дело с откровенным мерзавцем, писарем Дудочкиным, они объявили ему, что «хотя мнений его не разделяют, но, тем не менее, не могут его не уважать», поскольку он «искренен». Священник Воссияющий в последний момент устранился от участия в празднике, а учитель Крамольников в застольном разговоре обнаруживает и явное непонимание многих мужицких нужд и несколько развязную манеру неосторожно касаться тайных болей чужого сердца. Недаром, говоря о том, как Крамольников вызывает Мосеича на откровенность, Щедрин пишет, что учитель «делает ему точь-в-точь такой же допрос, какой ловкий прокурор обыкновенно делает на суде подсудимому...». Характерна и реакция самого Мосеича: «Очевидно, что если бы не невозмутимое природное благодушие, он давно бы крикнул своему собеседнику: отстань!.. Юбиляр молчит. Ясно, что его уже несколько задели за живое, что ему делается противно».

И тост, которым начинает Крамольников свою речь, носит на себе отпечаток восторженно-слезливой, «размазистой» болтовни:

« — Господа! — говорит он, задыхаясь, — пью за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства!»

Это звучит в достаточной степени фальшиво, если вспомнить, что на пожелание односельчан еще «пятьдесят лет для бога и для людей стараться» юбиляр ответил:

«— Благодарим на ласковом слове, православные!.. а чтоб еще пятьдесят лет маяться — от этого уже увольте!»

После этих тихих старческих слов, которые звучат страшнее истошного вопля, слова о «бодрости» явно неуместны... Но дальше с Крамольниковым происходит чудо: хотя в его речи остаются некоторая витиеватость и жеманные ухватки либерального красно-

речия («Мне больно, господа, но я должен сказать...» и т. п.), он возвышается до подлинного пафоса в прославлении «безмолвного геройства», которым полна вся крестьянская жизнь. Рисуя крестьянских женщин, чьи прекрасные лица знают одно только украшение — «перлы пота», он становится поэтом и трибуном: «В продолжение всей ее жизни у нее постоянно что-нибудь да отнимают. Замужество отнимает у нее мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолетие дочери — дочь».

Здесь, конечно, слышна уже речь не Крамольникова, каким он выглядит в начале рассказа, — это гремит страстный голос самого Щедрина, который собственной персоной врывается на юбилей Мосеича.

Прибытие полиции, предупрежденной «искренним» в своих убеждениях Дудочкиным, «невообразимая паника» среди крестьян, только что с живым сочувствием слушавших Крамольникова, «чей-то голос: «а, голубчики! бунтовать!» — обрывают эту речь на трагическом вопросе: «какие радости, какое удобство и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?» Но, разумеется, никакой недосказанности здесь нет. Ведь мы уже знаем, что Мосеич раз десять горел, лишился сына, «три раза сидел в остроге без законного повода, был истязуем и бит... одним словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое в совете судеб предопределено для крестьянина...»

«Сон в летнюю ночь» принадлежит к программным выступлениям журнала, придававшим «Отечественным запискам» ярко демократический характер. Лучшие произведения Некрасова и Глеба Успенского, Елисеева и Михайловского порождены горячим сочувствием угнетенному крестьянству. Таковы, например, блестящие страницы, написанные Михайловским о собранных Е. Барсовым «Причитаниях Северного края», которые критик рассматривал как «надгробные речи и некрологи», посвященные безымянным русским труженикам. Но даже в «Отечественных записках» рассказ Щедрина выделяется страстностью авторского тона. Сам писатель очень дорожил этим своим детищем, хотя и ощущал в нем «некоторую недоделанность и разорванность» (видимо, сказавшуюся в противоречии между обрисовкой характера Крамольникова и его речью).

«Тургенев до крови обидел меня, сказавши, что этот рассказ забавный: едва ли он дочитал его. Из Петербурга тоже пишут: прекрасная мысль — представить в смешном виде юбилей. Право, у меня не было намерения ни забавным быть, ни юбилеи изобличать», — огорченно писал он Анненкову 24 сентября 1875 года. Зато утешил его Унковский, на которого «Сон в летнюю ночь» произвел потрясающее впечатление.

После аристократической напыщенности Баден-Бадена Салтыков с наслаждением окунулся в парижскую жизнь.

Он принадлежал к поколению, которое в николаевскую эпоху находило для себя отдушину в жадном любопытстве к «неистощи-

мости жизненного творчества», проявлявшейся в революционных вспышках во Франции.

Его младший современник Берви-Флеровский вспоминал, что хорошо изучил карту Парижа, следя по ней за движением взволнованной народной толпы. Не она ли послужила прообразом и для той толпы, которая смутно представляется герою салтыковского «Запутанного дела»? Это «вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной», не петербургская толпа, которая «как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но, вместе с тем, так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется». Эта толпа — «такая, какой еще он не видывал», — заливала в ту пору парижские улицы. И современники прекрасно угадывали смысл этого образа: «Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения, — писал о «Запутанном деле» литератор Плетнев. — ...Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных».

И вот спустя более четверти века Салтыков бродит по улицам Парижа.

Через несколько лет Достоевский скажет устами Ивана Карамазова, что над «священными камнями» Европы можно только плакать, как на дорогом для сердца кладбище. Неизвестно, кого он оплакивает: Европу или воспоминания о молодости, проведенной в кругу петрашевцев, от которой он теперь отступился.

«Дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем», — признается Иван. А его брат, Алеша, замечает, что «мертвецы»-то, «может быть, никогда и не умирали».

Для Салтыкова же прикосновение к камням парижской мостовой оказалось лучшим лекарством.

«Помню, я приехал в Париж сейчас после тяжелой болезни и все еще больной... и вдруг чудодейственно воспрянул, — писал Салтыков впоследствии. — Ходил с утра до вечера по бульварам и улицам, одолевал довольно крутые подъемы — и не знал усталости...»

Даже Елизавета Аполлоновна меньше раздражала его здесь, несмотря на то, что каждый день возвращалась с прогулки с новыми покупками и доказывала, что было бы просто глупо не купить понравившуюся ей вещь. Одно было плохо: не работалось. Сначала невозможно было сесть за стол, не познакомившись как следует с улицами, площадями, бульварами, театрами. Были изучены даже рестораны, поскольку у Григория Захаровича Елисеева обнаружился «необыкновенный гастрономический инстинкт», как писал Некрасову Михаил Евграфович с изумлением перед столь неожиданным талантом у человека, казавшегося ему прежде скучным семинаристом. Потом оказалось, что экипажи и тележки, громыхающие по замощенной битым камнем улице Лаффит, где жил Салтыков, мешают ему работать.

Но Щедрин подозревал, что настоящая причина не в этом.

Снова и снова возвращались к нему мрачные мысли, что он больше не работник и что в дружном улье «Отечественных записок» он отныне просто никчемный трутень. Стоило Некрасову задержаться с ответом на присланную ему рукопись, как Михаил Евграфович уже считал, что она никому не понравилась и его просто не хотят огорчать отрицательным ответом (так было, например, с рассказом «Семейный суд»).

Щедрин часто виделся с Тургеневым, навестившим его еще в Баден-Бадене. Иван Сергеевич давно переменил свое прежнее, невыгодное мнение об авторе «Губернских очерков» и в письме к нему именовал себя : «один из самых старинных и неизменных поклонников Вашего таланта». Это не было просто любезностью. Тургенев горячо рекомендовал «Историю одного города» английским читателям, уподобляя Щедрина Свифту. Он негодовал на Фета за то, что тот не знаком с последними произведениями сатирика: «Или уж так строго запрещение Михаила Никифоровича? — писал он с притворным соболезнованием, намекая, что Фет поклоняется Каткову. — Но ведь Вы в деревне: может быть, он не узнает — или, узнавши, помилует».

С присущей ему резкостью Щедрин не утаивал от автора «Отцов и детей» своих претензий к нашумевшему роману, а Тургенев, хотя и не во всем мог согласиться с Салтыковым, тем не менее признавал, что «не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя» — нигилист.

Надо было обладать тургеневской мягкостью и тактом, чтобы выдерживать ворчанье Салтыкова и внезапные вспышки его гнева. Впадая в постоянный самоуничижительный тон и величая себя отжившим писателем, «прелой грушей» и «старой тряпкой», Иван Сергеевич порой побаивался, что «любезнейший Михаил Евграфович» возьмет да и поддакнет его кокетливой меланхолии.

Суровая прямота сатирика и пугала и привлекала его. Как-то раз В. А. Соллогуб вызвался прочесть у Тургенева свою новую комедию и просил пригласить Салтыкова. Тот поморщился, обозвал Соллогуба «пустельгой», выразил подозрение, что все они даром теряют время, и в который раз удивился неразборчивости Тургенева в знакомствах.

Настал злополучный вечер. Вскоре же после начала чтения пьесы угрюмо забившийся в угол Салтыков насторожился. Громко и самодовольно, первый смеясь в удачных, на его взгляд, местах, Соллогуб читал про похождения нигилиста, доходящего до воровства. Уже почувствовавший неловкость, Тургенев боялся встретиться глазами с так некстати приглашенным сатириком.

В какой-то момент Соллогуб прервал чтение и вопросительно взглянул на Тургенева, видимо ожидая одобрения. И тот пролепетал что-то о «задатках художественного характера» в изображенном лице.

Вот тут-то и взорвался крепившийся Салтыков, да так, что о дальнейшем чтении и речи быть не могло. С ним было что-то

вроде истерики. Задыхаясь и уже не слушая жалких оправданий растерявшегося автора, Михаил Евграфович кричал, что только бесчестный человек может так изображать людей, чьи мысли и чувства ему попросту недоступны, изображать в расчете услышать похвалы в великосветских салонах и в «Московских ведомостях».

На минуту Ивану Сергеевичу показалось, что он перенесся на несколько десятков лет назад и перед ним вырос Белинский, тоже не жаловавший Соллогуба, а главное, способный на столь же гневную отповедь тем, кто оскорблял дорогие ему убеждения.

Перепуганный автор предлагал тут же сжечь свою пьесу.

Тургенев суетился, боясь, что Салтыкову станет плохо...

В октябре 1875 года Салтыковы перебрались в Ниццу, в русский пансион госпожи Даниловой. Здесь господствовали «старые добрые нравы». «Девки!» — зычно разносился голос хозяйки, и Салтыкову казалось, что он не на берегу Средиземного моря, а где-нибудь в Тамбовской губернии. Со всеми ухватками провинциальной барыни пробовала Данилова беседовать с Михаилом Евграфовичем и обижалась на его вечное угрюмое отмалчивание.

А ему было плохо. Все его раздражало: пальмы больше напоминали веники; стаи праздношатающихся соотечественников, как рои мух, носились вокруг; казалось, несмолкаемо скрипела лестница за стеной, возле которой стояла кровать Михаила Евграфовича; откуда-то долетали до больного глупый смех и глупые слова; на лице у Елизаветы Аполлоновны была написана нескрываемая досада, что она не попадет на бал ни в Средиземноморский клуб, ни к префекту, ни к графине Сабатье. Леченье шло не впрок, и даже в соседних домах был слышен глухой, надрывный кашель, обессиливавший больного.

В солнечные дни Салтыков грелся на солнце с закрытыми глазами, стараясь не слышать, как за забором хозяйка шушукается с какой-то компанией, пришедшей полюбопытствовать на знаменитого писателя. В эти минуты он сам себе напоминал старую собаку, которая растянулась на припеке и не находит сил отмахнуться от донимающих мух.

Даже заботливые письма Тургенева выводили его из себя: засел в своем Буживале, сам в Россию глаз не кажет и, верно, думает, что нашел себе товарища, чтобы по-стариковски вспоминать у камина былое и пописывать изящные пустячки вроде «Часов».

«При моей впечатлительности и нервности, я весь трясусь от негодования по поводу «Часов», — писал Михаил Евграфович Анненкову. — ...Нет около него никого — оттого он и уснул. Нет никого, кто бы вызывал его на споры и будил его мысль. В этом отношении разрыв с «Современником» и убил его».

Скептически выслушивал Михаил Евграфович рассказы Тургенева о задуманном им романе про революционную молодежь и по своей «мужицкой» прямоте не раз выкладывал ему и устно и в

письмах свои опасения на этот счет. И Тургенев то ли не находил, что возразить, то ли деликатно уходил от спора.

«Что касается до меня и до невыгоды житья за границей, вдали от родной почвы, вдали от столкновений и состязаний — Вы тысячу раз правы, — отвечал он на не дошедшее до нас письмо, — да переменить это нельзя... В литературных делах я принужден, как медведь зимой, сосать собственную лапу: оттого-то и не выходит ничего».

Вот этого-то Михаил Евграфович и не мог понять. Когда-то в школе он считал дни, остающиеся до праздников; теперь не мог дождаться возвращения в Россию. «Я здесь скучаю *до сумасшествия»,* — заканчивает он письмо Некрасову. «Зачем меня сюда выслали? — я не перестаю это спрашивать... Дай бог как-нибудь выбраться отсюда и до России добраться... Так мне здесь скучно... Зачем меня сюда послали — бог весть... Пусть будет, что будет, но больше за границей не хочу жить... Ницца так мне надоела, что я готов бы был без шапки отсюда бежать...» — не переставая, жалуется он.

Обидно было, как арестанту, сидеть в осточертевшем даниловском пансионе; пугала мысль о смерти на чужбине, об испуге детей, о неизбежных хлопотах; он уже разузнавал, сколько будут стоить похороны, и желчным письмом торопил Некрасова поскорее прислать деньги.

Но не это было главным, что звало его на родину: «Там я буду писать, коли здоров буду, ибо это верно, что только живучи в России можно об России писать, не истощаясь».

Парадоксально, что страх творческого оскудения охватывал его именно тогда, когда исподволь складывалась одна из его лучших книг, «Господа Головлевы».

Прочитав в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1875 год «Семейный суд» Щедрина, Тургенев писал автору: «Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична — и не в первый раз появляется у вас — она, очевидно, взята живьем — из действительной жизни. Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного «балбеса». Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением? Но на это можно ответить, что романы и повести — до некоторой степени пишут другие — а то, что делает Салтыков, — кроме его некому. Как бы то ни было — но «Семейный суд» мне очень понравился, и я с нетерпением ожидаю продолжения описания подвигов Иудушки».

Восторженные письма пришли также от Некрасова и Анненкова.

Возможно, что эти отзывы заставили самого Щедрина внимательнее приглядеться к рассказу, который, по его первоначальному замыслу, занимал довольно скромное место в цикле «Благонамеренные речи». Правда, он уже работал над следующим расска-

зом, где на сцену снова выступали и мать, Арина Петровна, и ее сыновья — Павел и Порфирий, прозванный Иудушкой. Однако еще ничто не говорило, что это начало новой книги.

И вот появился третий рассказ о семье Головлевых, за ним четвертый, в голове складывался пятый... «Жаль, что я эти рассказы в «Благонамеренные речи» вклеил, — сокрушался Михаил Евграфович в письме к Некрасову, — нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства».

Тургенев был прав, узнав в Арине Петровне уже знакомое ему по произведениям Щедрина лицо. Первый, еще довольно бледный силуэт этого властного характера проступал уже в «Противоречиях», а затем в малоудачной повести «Яшенька», которую, к большому неудовольствию быстро разочаровавшегося в ней автора, напечатали в одном московском сборнике еще в 1859 году. Во всей же полноте явилась она перед читателями под именем Марьи Петровны Воловитиновой четыре года спустя на страницах «Современника» в рассказе «Семейное счастье».

Значительно труднее было уловить, что и черты Иудушки Головлева уже брезжили в некоторых разноименных героях предыдущих щедринских книг.

Яшенька, статский советник Фурначев из пьесы «Смерть Пазухина», сын Марьи Петровны Воловитиновой Сеничка — все это типы неистощимых празднословов, способных довести окружающих до тоски или бешенства.

«Я с того самого часу, как за него замуж вышла, все зеваю», — жалуется супруга Фурначева. Мать Яшеньки тоже удивлялась на своего сына: «как будто для него существовал особый синтаксис, который и хорошие, по-видимому, слова посыпал маком и претворял в снотворное». А Сеничка даже просьбу баньку ему истопить излагал с такими околичностями, что «милый друг, маменька», к которой он адресовался, готова была со злости лишить его наследства.

Однако и Яшенька и Сеничка были относительно безобидными существами (первый даже стал жертвой безграничного властолюбия матери). Этого никак нельзя сказать про Семена Семеновича Фурначева, в котором уже видится елейная и хищная повадка будущего Иудушки. Зорко следя за судьбой наследства Пазухина, он тем временем корчит из себя бескорыстного праведника: «Меня чем бог самого благословил, тем я и доволен, потому что знаю, что ничто так жизнь человеческую не сокращает, как завистливый взгляд на чужое достояние. Что папеньке будет угодно, по милости своей, мне назначить, я всем буду доволен, а если и ничего не назначит, и тут роптать не стану...»

В «Семейном счастье» куда более зловещую фигуру, чем его слащаво-медоточивый святоша брат, представляет Митенька, при одном имени которого даже властная мать «чувствовала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее».

Прав был Тургенев и тогда, когда ощущал, что, создавая

образ матери, Щедрин щедро использовал свой жизненный опыт. Не только Арина Петровна, но и сам Иудушка и Степка-балбес — все они в значительной степени имеют себе аналогии в матери и братьях самого писателя.

Приторной елейностью и показной набожностью отличался его отец, изводивший детей бесконечными нудными поучениями («...кто лишается родительской любви и благословения, тот человек презираем бывает от всех честных людей и в сообществе мерзавцев прямо идет в пропасть гибели временной и вечной... Можно сказать, что если бы ты был не сын наш, по нещастию нашему, я бы за беду и грех почел и мыслить о тебе и осквернять свое воображение мыслями о твоих гадких чувствах и поступках, о чем говорю, по чувствам христианским и добросовестным», — писал, например, Евграф Васильевич сыну Николаю, чья судьба во многом отразилась в образе «Степки-балбеса»).

Кличка «Иудушка» была давно известна многим знакомым Салтыкова как прозвище его старшего брата Дмитрия, который постоянно исподтишка вел всякие семейные интриги, большей частью направленные против Михаила Евграфовича. «Ужели, наконец, не противно это лицемерие, эта вечная маска, надевши которую этот человек одною рукою богу молится, а другою делает всякие кляузы?» — возмущенно писал Салтыков матери 22 апреля 1873 года. Однако точно так же, как некогда вятские чиновники совершенно понапрасну считали себя единственными прототипами жителей щедринского Крутогорска, так и родичи Салтыкова приписывали себе слишком большое значение, думая, что Головлевы — это простой псевдоним для изображения их семьи, а сама книга — акт «низкой мести» обделенного при семейном разделе человека.

Арина Петровна была не индивидуальным портретом Ольги Михайловны Салтыковой, а художественным типом наиболее хищных представителей помещичьего сословия. Вся ее незаурядная энергия целиком уходит на сколачивание состояния, неустанное приобретательство. Щедрин иронически уподобляет ее Ивану Калите, изрядно округлившему доставшееся ему скромное Московское княжество. И хотя действие книги в основном разыгрывается в узком семейном кругу, но автор с первых же страниц дает почувствовать ту «страдательную среду», на которой зиждется существование Головлевых.

Известие о том, что Степан Владимирович (он же «балбес») продал свой московский дом и, таким образом, может скоро вернуться «на материнские хлеба», немедленно вымещается на этой среде. Разгневавшись на оброчного крестьянина, не предупредившего ее о готовящейся продаже, Арина Петровна повелевает: «Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить!»

Глухие отголоски подобных жизненных драм слышатся и на других страницах романа. «Важивала», — лаконично отвечает Улита на вопрос Иудушки, знает ли она московский воспитатель-

ный дом, куда ей предстоит отдать прижитого елейным святошей незаконного сына.

Из окон головлевской усадьбы крестьяне кажутся просто черными точками, но с каждой из этих точек связана горестная история вековечного труда и тянущихся через всю жизнь лишений, обид, страха. Даже конец крепостного права не дает долгожданной свободы. Пусть погибают Головлевы, оказавшиеся не в силах приспособиться к изменившимся условиям, но на их место налетают новые нахлебники.

Иудушка только в своем воображении заставляет мужичонку Фоку соглашаться на кабальные условия, на которых он ссужает в долг рожь. Но это «узорчатое здание фантастических притеснений» нередко претворяется в самую форменную действительность. Разговор с Фокой призрачен только для головлевской усадьбы: в сотнях других он происходит наяву. Окажись на месте Порфирия Владимировича «кузина Машенька» из «Благонамеренных речей» (она, кстати, соседка Головлевых), из ее дверей выходили бы взаправдашние, ободранные «доброй» барыней Фоки.

Но «кузина Машенька», как во время оно Арина Петровна, по своей энергии и оборотливости — всего лишь «случайный метеор» среди своего падающего сословия. Она уже тяготеет к новым хозяевам, она своя среди подрядчиков, кулаков и пронырливых земских деятелей. А в «Господах Головлевых» Щедрина интересует другое: он словно бы в чем-то возвращается к своему старому замыслу «Книги об умирающих». Черты исторической обреченности и занимают его в Головлевых.

Еще в ту пору, когда стараниями Арины Петровны дела их находятся, казалось бы, в цветущем состоянии, кое-где обнаруживаются малозаметные поначалу изъяны. Лихорадочная деятельность ощущается даже в самой усадьбе — «в конторе, в амбарах, кладовых, погребах» и вызывает представление о страшном, напряженном, выматывающем все жилы труде крепостных крестьян. Полнехоньки закрома барской усадьбы, но «не мало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было ради гнилого запаха». «Сколько, брат, она добра перегноила — страсть!» — жалуется Степан Владимирович на «хозяйственную систему» матери.

Так возникают в романе тема бессмысленности хваленых хозяйственных подвигов и еще еле ощутимый мотив гибели. Запах гниения доносится не только от кладовых. В самом доме люди как бы гниют заживо. Слово «семья» не сходит с языка у Арины Петровны, все, что она делает, направлено как будто ко благу семьи. Но она совершенно равнодушна и к пьянству мужа и к болезни Степана Владимировича. «Кашляет да кашляет, — отмахивается она от рассказа старосты, — что ему, жеребцу долговязому, сделается!»

Смерть Степана Владимировича, содержавшегося под своеобразным домашним арестом, — как бы зловещий пролог к семейной драме Головлевых. Все, что кажется особенностями личного ха-

рактера Степана Владимировича, — непрактичность, склонность лелеять несбыточные мечты, постепенно приводящая его к полной отрешенности от жизни, — впоследствии проступает и в его братьях.

Арина Петровна и права и не права в своем недовольстве детьми. Ведь даже «постылый» Степка-балбес подвержен поэзии стяжания, хотя и в наивной, почти детской форме. Лишенный всяких надежд на какое-либо участие в наследовании накопленных богатств, он тем не менее «принимал живое и суетливое участие в процессе припасения, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам головлевского скопидомства». Узник и жертва головлевских порядков, Степан Владимирович добровольно, таясь от матери, принимает на себя роль надсмотрщика: «...на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат!» — волнуется он, питающийся объедками с барского стола.

Апатичный Павел Владимирович выходит из своего вечного безразличия, слушая давно известный рассказ матери о том, как закладывалось семейное благосостояние. Он «даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку».

С этой любимой «сказкой о благоприобретении» входит в мир Павел Владимирович, с нею живет, с нею и умирает. Неспособный на какую-либо деятельность, он чуждался людей и любил вино потому, что оно позволяло ему в уединении творить «особенную, фантастическую действительность»: «Это был целый глупо-героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями...»

Павел Владимирович, так сказать, идеалист обогащения, берущий в мечтах реванш за причиненные ему обиды при разделе с братом. Он не умасливает мать, чтобы затем ловким маневром оттеснить ее от всякого управления имением, как то делает Порфирий Владимирович. Но в его мечтах и действительных поступках нет места ни живому человеческому состраданию, ни заботе о ком-либо. Он приютил у себя выдворенную братом мать с тем же равнодушием, с каким позволяет себя обкрадывать ключнице и камердинеру, лишь бы как можно реже покидать свой мечтательный мир. Но когда запой приводит его к гибели, он и перед смертью никому и ничему не верит. Арина Петровна умоляет передать ей «из рук в руки» свой капитал, чтобы тот не достался ненавистному обоим Иудушке. «Павел Владимирович вдруг как-то зло засмеялся. — Палочкина историю, должно быть, вспомнили! — зашипел он, — тот тоже *из рук в руки* жене капитал отдал, а она с любовником убежала!

— У меня, мой друг, любовников нет!

— Так без любовника убежите... с капиталом!»

Эта атмосфера взаимной вражды и недоверия доходит до огромного накала, когда Иудушка, «на законном основании» прибирающий к рукам братнино наследство, алчно поглядывает

даже на собственный тарантас матери, покидающей бывшее имение Павла Владимировича.

«— Так тарантас-то, маменька, как же? Вы сами доставите, или прислать за ним прикажете? — наконец не выдержал он.

Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.

— Тарантас — мой! — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко и совестно. — Мой! мой! мой тарантас! Я его... у меня доказательства... свидетель есть»!

Эта мелочность «родственных» расчетов особенно рельефно выступает перед читателем, если вспомнить о том безымянном мужичке, который принес Иудушке три целковых (громадная для крестьянина сумма!), пояснив: «Должок за мной покойному Павлу Владимировичу был. Записок промежду нас не было — так вот!»

И. А. Гончаров восторженно писал Щедрину об «ужасающей детали» о тарантасе, звучащей более хлестко, чем откровенная пощечина. Поступок тихого мужичка удваивает ее силу.

Казалось бы, Иудушка торжествует: он — богатейший и влиятельнейший среди окрестных помещиков; некогда властная мать смиряется и становится фактически его приживалкой. Он не может пожаловаться ни на какие посторонние помехи: беда коренится в нем самом, в его внутренней несостоятельности. Иудушка изводит всех своим пустословием, мнимой богомольностью и любвеобилием.

Арина Петровна тоже была не чужда притворства: «...она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки». Иудушка уже никогда не выходит из раз принятого амплуа благостного, медоточивого праведника. На самом же деле у него нет ни нравственных правил, ни каких-либо привязанностей. Страшная пустота его души тщательно замаскирована пустопорожними прописями.

С елейными вздохами и слащавыми словечками он обирает мать, подстерегает смерть брата, чтобы сделаться его наследником, косится на имущество племянниц, отказывает в поддержке сыновьям.

«Хозяйственная» же деятельность Порфирия Владимировича могла бы показаться злой карикатурой на неустанные труды его родительницы, если бы в этом так ярко не проявились усвоенные им на петербургской службе привычки «закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута... оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее».

Когда Иудушка отражает обвинения доведенного до отчаяния, вконец ожесточившегося Петеньки в том, что он повинен в самоубийстве другого сына, то ведет себя не как отец, а как чиновник, торжествующий, что ловко ответил на трудный запрос и снял с себя всякую ответственность:

«Причем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? Кто?

— Те-те-те! Так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? Я? Христос с тобой! Никогда я не Позволял! Нникогда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойди, угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька: — а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? Я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос».

И внезапно вырвавшееся у Арины Петровны в конце этой тягостной сцены проклятие сыноубийца «вынес... довольно спокойно» не только по своей черствости и бездушию, но и по другой немаловажной для него причине: проклятие было сделано как-то вдруг, не по «надлежащей форме» (то ли дело: «образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом... Потом: гром, свечи потухли» и т. д.!).

Конечно, тут, справедливости ради, надо заметить, что это проклятие было, в сущности, адресовано не одному только Порфирию Владимировичу, но всей давней семейной «практике» Головлевых и самой Арины Петровны в частности. Недаром, когда она внимала спору отца с сыном, «перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса», ее собственной жертвы.

Да и не только в этом случае тот или иной драматический узел в судьбе одного персонажа вдруг вызывает в памяти воспоминание о сходном эпизоде в жизни другого.

Иудушка Головлев принес с собой в новый период истории застарелые качества помещика и чиновника: наклонность к простому извлечению из мужицкой спины всего, что заблагорассудится, без оглядки на какие-либо экономические расчеты, и привычку почитать истинной действительностью бумаги, документы, отчеты, не заботясь о том, насколько они правдивы.

Он — истинное дитя своего падающего класса, готового до последней возможности отворачиваться от действительности, рисовать ее в розовом свете, исходить в своих действиях не из того, что есть на самом деле, а из того, что кажется желательным.

При всей заведенной Иудушкой сложнейшей отчетности он абсолютно не знает, что делается в его хозяйстве. Факты реальной действительности, нарушающие его предположения, застают его врасплох, угрожают втянуть его в безрадостное изучение реального положения, и поэтому он все больше и больше уходит

в свои умозрительные расчеты, где его мысль не встречает никаких затруднений, где он добивается всего, чего захочет.

Его отец последние годы не выходил из спальни; Порфирий Владимирович тоже не покидает мягкого ложа призраков. Это отворачивание от действительности — один из главных признаков обреченности дворянства. Стремление довольствоваться формой, внешностью естественно перерастает в замену истинного мира иллюзорным, но зато соответствующим мечтам и чаяниям. Все, что не укладывается в его рамки, признается несуществующим и строго изгоняется.

В мизерной на первый взгляд фигуре Порфирия Головлева проступают черты, свойственные куда более высокопоставленным особам, она вырастает в колоссальный символ.

Вот, например, как вспоминал современник о Крымской войне: «Император Николай... вел ее на бумаге. Бумага говорила ему о составе армии и распорядительности командующих, бумага платила продовольствие и жалованье. Эта бумажная система вытеснила действительную».

Мечты Иудушки о процветании — это бессильные упования помещиков на возвращение их былой мощи, подорванной отменой крепостного права. Об этом задумывался уже Кондратий Трифоныч в щедринском рассказе «Деревенская тишь» (1863 год): «Он думает о том, что вдруг будущим летом во всех окрестных имениях засуха, а у него, у одного, все дожди, все дожди... и, о радость, на том самом месте, где у него рос паршивый кустарник, в одну минуту вырастает высокий и частый лес, за который ему с первого слова дают по двести рублей за десятину». Подобные видения наяву, только во все большей наглядности, посещают и Иудушку; шумит невесть откуда взявшийся лес — что ни дерево, то в два-три обхвата, встают из могил «старинные слуги»: «И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!»

Глядя на своих неудачливых детей, Арина Петровна иногда испытывала острое разочарование: для кого же она все наживала? А Порфирий Владимирович настолько углубляется в свои фантазии, что ему и в голову не приходит мысль о страшных итогах его жизни: оба сына мертвы, и это он сам убил их безучастием, равнодушием к их бедам и нуждам, досадно отвлекавшим его от празднословия и праздномыслия.

«Болезненная жажда стяжания», гнездившаяся в Иудушке, сделала его убийцей собственных детей.

Зловещий тип этот заинтересовал даже хладнокровного Гончарова, и он вступил в переписку с Щедриным, гадая, каков должен быть конец героя: «...В Вашего *Иудушку* упадет молния, попалит в нем все, но на спаленной почве ничего нового, кроме прежнего же, если бы он ожил, взойти не может», — писал знаменитый романист и, как один из возможных исходов, выдвигал убийство героя крестьянами.

Однако Щедрин предпочел иной финал.

Есть своя беспощадная закономерность в том, что полновласт-

ный хозяин огромного имения, самый хищный, пронырливый и преуспевший из братьев Головлевых кончает так же, как ограбленные им «урод» Степка-балбес и Павел Владимирович, — запоем, в отчаянном стремлении «заморить» пробуждающееся в душе чувство действительности, сознание трагического тупика, бесцельно прожитой жизни, бесконечной вины перед своими жертвами.

Единственная оставшаяся в живых из младшего поколения, племянница Порфирия Владимировича Аннинька возвращается в Головлево. Надорванная горькой судьбой провинциальной актрисы, она своими жестокими хмельными упреками растравляет совесть Порфирия Владимировича: он видит себя причиной большинства разыгравшихся драм, виновником смерти матери, братьев, сыновей.

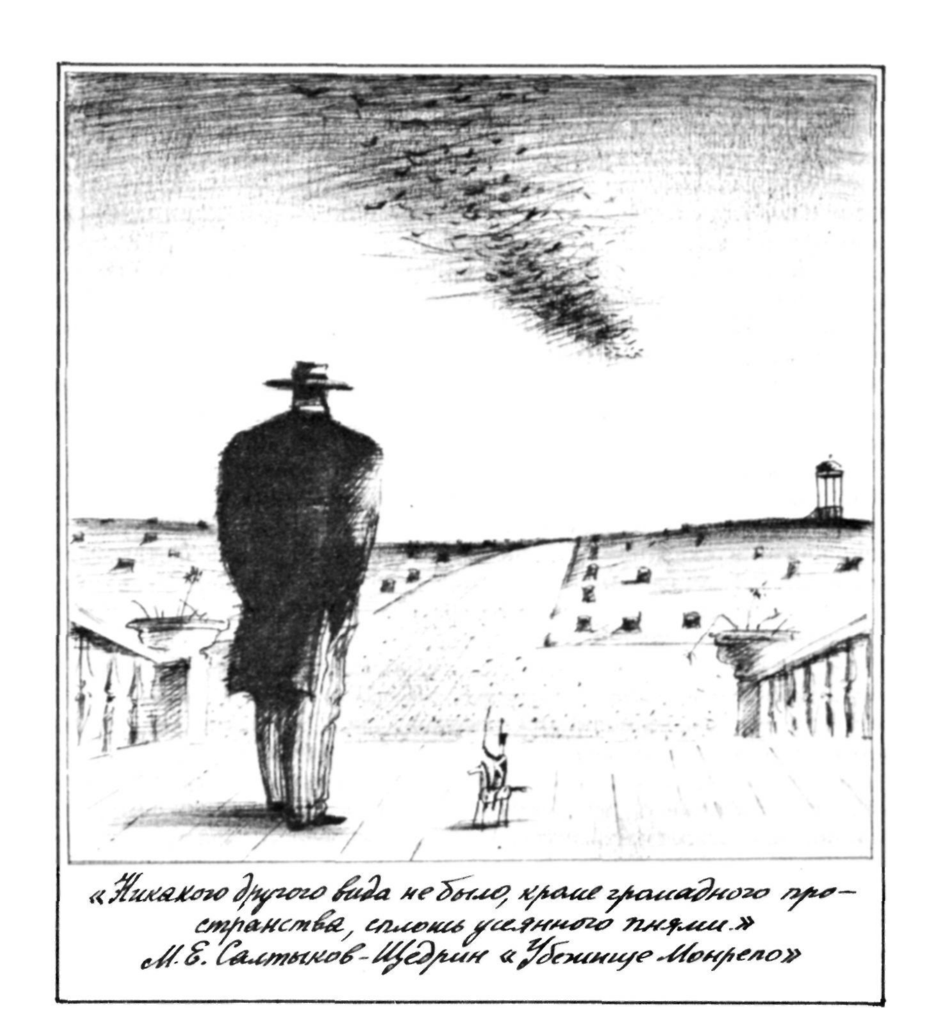
«Молния» беспощадной правды о содеянном им поистине испепеляет Иудушку. Пустослов, мнимый святоша, который «отлично изучил технику молитвенного стояния», он лишь теперь понял, что в сказании о Христе и Иуде «идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной», и что сам он в страшном, несомненном родстве с этой неслыханной неправдой.

Детская выходка Степки-балбеса, прозвавшего его Иудушкой, обернулась провиденьем и пророчеством: Порфирий Головлев — из тех, кто во все века творил расправу над Правдой, лицемерно лобызал ее иудиным поцелуем и готов был распять самую жизнь.

Как и его предтеча — евангельский персонаж, Иудушка погибает от нестерпимых мук одичалой совести — в запоздалом раскаянии, в «ужасном, томительном беспокойстве» замерзает зимней ночью по пути к могиле матери.

Когда-то, глядя издали на кажущуюся мирной головлевскую усадьбу, где его ждали нищета и унижение, Степан Владимирович испытал то же чувство, какое на древних производило созерцание головы Медузы. «Смерть, вечно подстерегающая новую жертву», мерещится в Головлеве и возвратившейся туда Анниньке.

Смерть — закономерное следствие царивших в Головлеве порядков, духовного одичания и распада, упрямого желания не считаться с действительностью, прикрывать красивыми словами неблаговидные поступки. И в фигуре Иудушки Головлева все черты этого гибнущего мира получили лишь свое наиболее законченное, воплощение.



IX

Уже не казался Салтыкову прелестным Париж, куда он вернулся из Ниццы, не развлекали встречи с Флобером, Золя и другими французскими писателями, с которыми его свел Тургенев. Полнейшее равнодушие многих из них к тому, как Францию «распинают эти сукины дети в Национальном Собраньи», возмущало Михаила Евграфовича. «Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие — хлыщи», — безапелляционно резюмировал он свои впечатления от этих встреч. И хотя Тургенев, убежденный своим страстным собеседником, соглашался, что его французские друзья «уж очень сильно сочиняют» и от их книг «литературой воняет», но все-таки старался обелить «хлыщей» от столь яростных нападок.

— Ну, что ваши Золя и Флобер? Что они дали? — яростно допытывался Михаил Евграфович.

— Они дали форму.

— Форму, форму... а дальше что? — сердито хрипел Щедрин. — Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь?.. Нет, нет и нет.

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться? — беспомощно развел руками Тургенев.

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Ведь он нас думать заставляет.

Это было сказано тоном выговора за попытку замутить ясный вопрос. И, не привыкший к похвалам своего собеседника, Тургенев покраснел от удовольствия.

Весть о болезни Некрасова застала Михаила Евграфовича снова в Баден-Бадене и еще усилила его тягу в Россию. В то же время чем ближе подходил срок отъезда, тем чаще и яснее представлялись ему все предстоящие мытарства; всплывали в памяти фальшиво-любезная мина Лазаревского и казавшееся мертвым лицо другого цензора, Петрова, — лиловое, с желтыми разводами.

— Каково-то с ними будет ладить без Некрасова? — волновался Михаил Евграфович. — Без него журналу — мат.

Дым отечества вблизи оказался не столь уж сладок.

Худой и страшный, встретил Салтыкова Некрасов.

Нездоровилось и самому Михаилу Евграфовичу. Никак не удавалось продать ставшее ему в тягость Витенево: «...точно заколдованное это место: никто даже не интересуется им, — жаловался он в письмах. — Кругом продаются усадьбы, а моя стоит себе да стоит».

А впереди предстояло тяжелое испытание.

Еще в 1875 году восстали Босния и Герцеговина, а теперь против Турции выступила Сербия. В России с живым сочувствием следили за освободительной борьбой славян.

«Не будь мы в заточении, — рассказывает Н. А. Морозов про отношение революционеров к восставшим, — не менее половины из нас оказалось бы в их рядах...» И действительно, С. М. Кравчинский, Д. А. Клеменц, М. П. Сажин и некоторые другие стали участниками этой героической борьбы. Однако заключенные революционеры были поражены, когда в поддержку восстания выступило само русское правительство.

— Что такое случилось? — недоумевали они. — Как могут заклятые враги гражданской свободы у себя дома защищать ее в других странах?

Это недоверие было совершенно понятно. Как ни старалась часть русской прессы выдать русское самодержавие за покровителя угнетенных славян, это плохо вязалось с внутренней политикой царизма хотя бы в отношении украинцев и белорусов. (Даже льстивое придворное искусство ненароком провиралось:

во времена Крымской войны появилась картина, где Николай I простирал свой меч над славянами, припавшими к его ногам, — однако рисунок был так плох, что получалось, будто император тяжело давит мечом на одного из умоляющих его о помощи.)

При всей исторической прогрессивности поддержки, оказанной Россией славянским народам в их борьбе с турецким игом, нельзя забывать, что самодержавие преследовало при этом весьма определенные цели.

В войне царизму мерещился спасительный выход из всех трудностей.

Гром побед заглушил бы, по мысли мечтавших о войне, глухой ропот и стоны, слышавшиеся по всей стране после голодных лет, и отбил бы охоту внимать «россказням» пропагандистов. А окажись в руках самодержавия Константинополь и проливы, отечественная буржуазия охотно извинила бы все внутренние упущения правительства в предвидении открывающихся коммерческих выгод.

Царское правительство еще колебалось и лавировало, опасаясь встретить противодействие своим планам со стороны других великих держав, еще только под рукой помогало славянам в борьбе с Турцией, а печать всех оттенков уже звала к прямой поддержке противников Турции. Общему настроению поддался даже Елисеев. Находившийся вместе с ним в немецком курортном городке Эмсе Достоевский ядовито рассказывал, как «старый отрицатель» носился с мыслью отслужить молебен за успех черногорского оружия. Несколько статей Елисеева влились в согласный хор консервативных и либеральных публицистов.

Это было явным отступлением от заветов «Современника», которым следовал журнал. В своих спорах с рьяными славянофилами 60-х годов вроде В. Ламанского и И. Аксакова Н. Г. Чернышевский иронически замечал, что те «хлопочут об отыскании нам вотчинных прав на Севилью и Кордову, исконные славянские города». По его мнению, в случае победы над Турцией «заботы о сохранении нашей власти над Балканским полуостровом еще меньше прежнего оставят нам времени устраивать свои дела» и «мы обеднеем от нового завоевания». Иными словами, военное торжество царизма затормозит освободительное движение в самой России.

Таковы были «предания «Современника», и в первый же год существования «Отечественных записок» Щедрин в полном согласии с Чернышевским высказался в одной из рецензий по поводу деятельности Славянского благотворительного общества: «...такое пламенное сочувствие к интересам и судьбе других наций не указывает ли... на полное внутреннее процветание нашего отечества, готового при первом востребовании поделиться своими избытками со всяким нуждающимся и обделенным на жизненном пире».

В 70-х годах даже в либеральном лагере находились люди, которые ощущали фальшь внезапного «освободительного» ража,

обуявшего «образованное» общество. К. Д. Кавелин писал 13 июля 1876 года М. М. Стасюлевичу: «Думаю и даже имею наглость быть убежденным, что прежде чем создавать счастие и благоденствие других народов, следует устроить счастие и благоденствие своих».

Щедрин не ограничился беспомощными сетованиями в келейных разговорах и переписке. Продолжая цикл «В среде умеренности и аккуратности», сатирик посвятил «славянолюбам» высшего общества очерк «День прошел — и слава богу!».

Уже в одном из писем к Некрасову, уехавшему лечиться в Ялту, Михаил Евграфович отметил, что «под шумок» воззваний к борьбе за свободу славян комитет министров еще больше усилил власть губернаторов, наделив их правом издавать обязательные постановления.

«...Серьезность минуты не мешает вести борьбу с нигилизмом, — многозначительно подчеркивал он и в письме к П. В. Анненкову. — Политические процессы следуют одни за другими, не возбуждая уже ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою...»

«Отвлекающий» характер царской политики был совершенно ясен писателю, и картины турецких злодейств не могли укрыть от его глаз зрелище изуверской расправы самодержавия с цветом русской молодежи.

Для большинства привилегированного общества трагедия освободительной борьбы славянства была просто средством убить время, поупражняться в красноречии, симулировать «полезную» деятельность и... отвернуться от серьезной работы мысли. В очерке «День прошел — и слава богу!» есть любопытная деталь: когда рассказчик со своим другом Глумовым спешат в клуб, где только и разговору, что о «братьях славянах», Петербург живет своей обычной, суетливой жизнью — «только книжные лавки смотрели уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянский вопрос освобождает ее от обязанности читать что-либо, кроме газет, позабыла даже дорогу к ним...»

Это явление — падение подписки на журналы и спроса на книги и в то же время бурный рост популярности шовинистической газеты «Новое время» — отмечал Щедрин и в письмах. Оно встревожило его не только как писателя и редактора журнала, но и как общественного психолога. Не случайно и Елисеев вскоре раскаялся в своих воинственных статьях по славянскому вопросу и убедился, что «настроение, возбужденное в публике славянскою войною, вовсе не благоприятно тем идеям, которые наш журнал стремится насадить и утвердить...».

Если сначала генерал Черняев, который отправился командующим в Сербию, рисовался многим чуть ли не новым Гарибальди и Щедрин, приходивший в ярость от этого сопоставления, оказывался в одиночестве, то со временем авантюристические действия и интриги Черняева обнаружились во всей

своей неприглядности. Его поведение в Сербии лишь в наиболее откровенной форме выказывало истинную сущность «освободительных» поползновений самодержавия. И Щедрин был прав, когда писал Анненкову: «...Черняев с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы...»

Интересно, что Лев Толстой, весьма далекий от «Отечественных записок» и от самого Щедрина, во многом сходился с ним в оценке экспедиции Черняева и отношения светского общества к славянскому вопросу вообще.

«Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян, — говорится в последней части «Анны Карениной». — Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам».

Щедринский Глумов упрашивал своего словоохотливого приятеля: «Уж сделай ты для меня милость: придержи язык за зубами! Теперь ведь многие около славян-то прохаживаются! Скажешь слово не по шерсти — разорвут!» В свою очередь, и в «Анне Карениной» скептически настроенные Катавасов и старичок военный помалкивают, *«по опыту»* (курсив мой. — *А.* Т.) зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев...»

Щедрин как тип добровольца выводит памятного читателям по «Губернским очеркам» Живновского, который рыскал повсюду в поисках злачного места. У Толстого же среди добровольцев фигурируют хвастливый, промотавшийся купец, отставной офицер, производивший «неприятное впечатление» — «как видно, человек, попробовавший всего», и пожилой недоучка-юнкер.

В черновом варианте романа, когда еще не было и слуху о черняевской экспедиции, а Вронский назывался Гагиным, его судьба после смерти Анны была намечена короткой фразой: «...Гагин в Ташкенте». В окончательном варианте Ташкент заменен Сербией, но эта замена ничего, в сущности, не меняет: не все ли равно, куда едет Вронский «развалиной», чтобы как-нибудь избыть ненужную, постылую жизнь? Он тоже своего рода авантюрист, хотя ищет не денег, а всего лишь смерти, — один из тех «потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые (по словам толстовского Левина. — *А. Т.*) всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...».

Заключительная часть «Анны Карениной» настолько шла против течения, что Катков отказался ее печатать в своем журнале (должно быть, при этой вести Лев Николаевич пожалел о том, что предпочел «Русский вестник» «Отечественным запискам», несмотря на предложение Некрасова!).

Однако Л. Толстой лишь постепенно пришел к отрицательному воззрению на «славянскую лихорадку». Щедрин же оставался неколебим с самого начала. «Ваш взгляд на дело, по моему мнению, совершенно правилен», — писал он еще 8 сентября

1876 года поэту А. М. Жемчужникову, который стоял в славянском вопросе примерно на одних с ним позициях.

Рисуя в очерке «День прошел — и слава богу!» тень Булгарина, который «явился порадоваться на потомков своих», сатирик недвусмысленно намекал на то, что спекуляция на патриотизме и славянском братстве преследует цель возбудить в читателях шовинистические и ретроградные настроения. Он не отступился от своей оценки и после того, как (24 апреля 1877 года) Россия объявила войну Турции и высказываться приходилось с удвоенной осторожностью.

Бездарные полководцы из царствующей семьи с щедростью игрока, кидающего чужие деньги, оросили кровью предместья Плевны и Шипкинский перевал.

И бойка ж у нас дорога!
Так увечных возят много,
Что за нами на бугре,
Как проносятся вагоны,
Человеческие стоны
Ясно слышны на заре, —

писал Некрасов в последнем опубликованном при его жизни стихотворении. Но ничто не могло помешать царю и в армии вести обычный, заведенный в Петербурге порядок жизни, с той лишь разницей, что теперь он ездил завтракать на позиции (наиболее часто посещавшийся им под Плевной редут так и прозвали «Закусочным»). Его брат, главнокомандующий, и другие великие князья действовали так же вяло, как на маневрах в Красном Селе. Описывая в своем дневнике одну из их проволочек, военный министр Д. А. Милютин иронически перечислял ее причины: «Завтра — воскресенье, ergo[1] необходимо выстоять обедню; на другой день — понедельник, дурной день, да к тому же 1-е августа, а следовательно, надобно опять молиться и вывести гвардейскую роту в церковный парад! — И вот из-за каких пустых поводов отлагается день за днем столь необходимое подкрепление войск, на позиции, которая ежедневно может быть атакована несравненно превосходными силами противника».

Зато когда Плевна была, наконец, взята, постоянный посетитель Закусочного редута кокетливо спросил у приближенных, заслужил ли он золотое оружие; щедрые награды за свои «ратные труды» получили и все прочие воины из царствующей династии.

Золотую табакерку получил Суворин за слезливый рассказ о том, как царь плакал над раненым солдатом.

Щедрин иронически поздравил редактора «Нового времени» с тем, что он становится союзником Каткова.

— Что ж, и прекрасно! — хладнокровно отвечал Суворин.

Он чувствовал себя на гребне быстро подымающейся волны.

---

[1] Следовательно (*лат.*).

Его разбитная и вместе с тем угодливая газета пользовалась все большим успехом у читателей.

Так ловко летает по залу процветающей ресторации расторопный половой, всюду успевая, перед всеми лебезя, рассыпая направо и налево:

— Сию минуточку-с!

— Чего изволите?

— Исполним в самолучшем виде-с!

И сыплются на проворного малого щедрые чаевые.

Как его не любить — ведь он такой же ловкач, как и его клиенты, разбогатевшие на выгодных подрядах и спекуляциях, на дешевом мужицком труде и на солдатской крови.

В цикле «В среде умеренности и аккуратности» Щедрин вывел Балалайкина, сбывающего «нашим доблестным войскам» тухлую кильку. А жизнь как бы соперничала с этой злой сатирой: в «Хронике новых изобретений» «Отечественные записки» сообщали о солдатских сухарях, поставлявшихся князем Урусовым и Перевощиковым; в эти сухари добавляли песок и глину, а стоили они почти вдвое дороже обыкновенных!

Под сенью патриотических фраз процветает совершеннейшее бесстыжество. «Горе той стране, — восклицает один из героев Щедрина, — в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: государство, mon cher! — c'est sacrrré![1] Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог!» Крупный делец, позднее ставший министром финансов, И. А. Вышеградский, даже по воспоминаниям консервативно настроенных современников, «склонен был смотреть на государство как на частное предприятие, как на компанию на акциях, лишь бы дивиденд выходил крупным».

Поддерживаемые круговой порукой «патриотического воровства», расхитители доходят до совершенной наглости. Так, Балалайкин убежден, что возмездие его минует: «Вот если бы я распространял превратные идеи — ну, тогда не спорю...»

Глумов справедливо полагает, что Балалайкина нелепо тащить в участок: оттуда его выпустят (чего, разумеется, не сделают с пропагандистом «превратных идей»). Поэтому он мастерит для пройдохи самодельную петлю, но Балалайкин выскальзывает из нее, так же как впоследствии увиливает и от уголовного наказания и пожинает плоды своих коммерческих затей. «Погодите! — предрекает он, — вот кончится война, и прибудут в Петербург настоящие негодяи... дельцы, хотел я сказать... Тогда — увидите!»

Сочувствие к народу, бескорыстно, ради освобождения братской страны, проливавшему свою кровь в то время, как другие наживают капитал, борется в душе сатирика с горьким упреком этому же народу и прогрессивной интеллигенции. Диалог между рассказчиком и Глумовым отражает эту работу мысли:

---

[1] Мой милый! — это священно! (*фр.*).

«— Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных я имею полное право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства — *всеобщего!* Все, значит, без исключения... Что ж! Коли хочешь, оно ведь и правильно!

— Почему же правильно?

— А потому: не хлопай глазами! Одно из двух: или ты человек, или вол подъяремный. Ежели ты человек, и за всем тем у тебя под носом Балалайкины историю народа российского созидают — стало быть, ты сам потатчик и попуститель...

— ...Во-первых, тут совсем не «хлопают глазами», как ты говоришь, а совершенно серьезно истекают кровью, и никакой историк не увольняется от обязанности знать это. Во-вторых, дела о «претерпении» настолько сложны, что такими дилеммами... их ни под каким видом не разрешишь. Есть, любезный друг, еще третий субъект, коли ты хочешь, тоже подъяремный, но не вол, а человек, мечущийся из стороны в сторону под игом мысли, что его... немедленно жрать будут. Этот субъект не мычит, а песни о своих болях слагает; не потворствует и не потакает, а просто *не знает».*

И это «незнание», бессознательность упорно поддерживались самодержавием. Поэтому так жестоко преследовалась всякая попытка сближения передовой интеллигенции с народом и между ними старательно воздвигалась стена. Мало-помалу прогрессивная интеллигенция была решительно устранена от всякого воздействия на серьезные дела. Даже в «добрую минуту» правительство вело себя с ней так же, как изображенная Щедриным генеральша, возглавлявшая какой-то из славянских комитетов:

«Она с откровенностью, достойной лучшей участи, развивала перед нами свои планы, знакомила нас с ходом и с сущностью своих занятий, а иногда даже спрашивала нашего мнения, но так, что всякий чувствовал, что все уже у нее заранее решено и что нам ничего другого не остается, как с удовольствием согласиться». Словом, это было похоже на то, как Александр II *советовался* с окружающими, заслуживает ли он награды.

Произведения Щедрина полны трагических «отголосков» (так называлась целая серия очерков) этого положения передовой интеллигенции. Подозреваемая, гонимая, слышавшая отовсюду: «не твое дело!», она ощущала себя запертой в четырех стенах, откуда никуда нельзя достучаться. На жестоком опыте ей приходилось убеждаться в парадоксальной истине, сформулированной в «Благонамеренных речах»: «...характеристическою чертою настоящего времени, — писал сатирик в очерке «Погоня за идеалами» (1876 год), — является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение».

Тот, у кого не было за душой ничего, кроме пустозвоннейших фраз о царе-освободителе и неусыпном попечении правительства, стоял в официальном мнении несравненно выше человека, пытав-

шегося оценивать жизненные явления самостоятельно. Подозрительное отношение к «умникам» стремились развить и в народе, поощряя и подогревая наиболее темные инстинкты.

Когда 6 декабря 1876 года у Казанского собора состоялась первая политическая демонстрация, поднявшая знамя с надписью «Земля и воля», полиция организовала избиение участников, пустив слух, будто речь идет... о возвращении земли помещикам.

«...Говорят, что «представители деревни», т. е. извозчики, отличились, — сообщал Щедрин о происшедшем А. Н. Энгельгардту. — Одну женщину головой об тумбу били...»

Сурово и язвительно осуждая либеральных пенкоснимателей, сатирик принимал близко к сердцу всякое умаление роли передовой интеллигенции, все, что могло ей повредить в мнении народа, набросить на нее тень. Неудивительно, что, когда, вскоре после демонстрации у Казанского собора, в «Вестнике Европы» начал печататься роман Тургенева «Новь», не отличавшийся ясностью в оценке шедших в народ революционеров, Щедрин пришел в негодование.

Вероятно, он остро воспринял уже то, что вместо подлинного — но, увы, плохо знакомого автору — революционера Тургенев сделал главным героем Нежданова, неврастеника, который тяжело переживает свое незаконное происхождение и с первых же страниц явно тяготится предстоящей ему ролью пропагандиста. Его товарищ Маркелов тверд в своих убеждениях, стойко держится после ареста, но не чужд некоторой ограниченности. Потерпев неудачу как пропагандист, Маркелов раскаивается, что он не встал на путь насилия: «Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться — пулю ему в лоб! Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет...» Можно представить себе, с каким негодованием читал эти строки Михаил Евграфович, опасавшийся, как бы человечество не переезжало на своем историческом пути из одного Ташкента в другой, переходя от насилия к насилию!

Опереточной выглядела сцена, в которой Нежданов отправляется «агитировать» и «бунтовать» мужиков. И все это было совершенно наивно скомпоновано с таким расчетом, чтобы в выигрыше оставался мудрый и неторопливый Соломин, чуждый революционных «излишеств». Недаром в своих письмах к Анненкову, где Салтыков с необычайной резкостью высказал свое впечатление от «Нови», он ехидно сравнил «архитектуру» романа со школьной игрой, участники которой заранее делятся на группы и потом ловят друг друга до сигнала о конце перемены.

Сатирик был рассержен поверхностностью, проявившейся в последнем романе Тургенева, еще и потому, что сам он касался фигур «новых людей» с крайней осторожностью совсем не только из цензурных опасений. По кругу своих знакомств он принадлежал отнюдь не к самой радикальной части русской интеллигенции и был в то время далек от участия в каких-либо революционных попытках. Однако фигура революционера, который вступает в

неравную борьбу с всемогущим злом и проявляет в ней поразительную стойкость, привлекала его и как человека и как художника.

«Новая русская литература, — писал он еще в 1868 году, — не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь. В этом предприятии ей значительно споспешествует... расширение арены правды, арены реализма...»

Если первая фраза могла бы прийтись по сердцу тем, кто сожалел, что книги Щедрина страдают «голым отрицанием», то вторая сразу устраняла все могущие возникнуть иллюзии об отказе писателя от сатиры или хотя бы об отведении ей второстепенной роли.

Расширить арену правды, арену реализма — значит допустить изображение в литературе таких жизненных ситуаций, где идет наиболее решительная, смелая, бескомпромиссная борьба со всем отжившим, тяготящим страну и народ. Чтобы вперед выступили те положительные типы, которые представляются Щедрину, нужно изобличить всех тех жалких актеров, которые полагают, что они-то и есть подлинные герои времени. Впрочем, сама возможность противопоставить их в живом действии людям, чьи желания и помыслы отвечают подлинным народным нуждам, позволила бы читателю сравнить и оценить обе борющиеся стороны.

Однако это было очень затруднительно не только потому, что всякая попытка такого рода неминуемо встречала бы цензурные препятствия, но и потому, что сами условия русской жизни не позволяли ни этим людям выступать совершенно открыто и так, как бы они хотели, ни писателям наблюдать их деятельность и тем более откровенно описывать ее. Говоря об обстановке, в которой приходится действовать «новым людям», Щедрин писал: «Эта обстановка почти не существует, или, лучше сказать, она до такой степени стеснена, что представляет собой только раздражающую и преисполненную всяких опасностей приманку. Общество слишком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему какое-нибудь деятельное участие в жизни... При таком настроении большинства новый человек делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями».

Поэтому характерные черты нового типа не только не выступают рельефно в действии, но даже «до известной степени извращены отсутствием света и воздуха». Отсюда — неудачи художников, искренне жаждущих запечатлеть этот тип; отсюда же — злонамеренные искажения его, когда, помимо простой клеветы, используется горькая невозможность для «новых людей» показать себя на деле: вынужденная пассивность выдается за склонность к «критиканству» вместо «подлинного дела», второстепенные, а то и случайные, но зато различимые невооруженным глазом признаки объявляются наиболее характерными и т. д.

Щедрин очень часто выступал по поводу книг, в которых вольно или невольно набрасывалась тень на людей нового склада, даже когда авторами этих произведений являлись такие крупные художники, как Гончаров или Достоевский. Он проницательно подметил у последнего «нежелание... отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается нарождение нового явления».

В этих статьях и рецензиях объективно отражалось, по-видимому, и сложное формирование собственного творческого замысла Щедрина, которым он в 1875 году поделился с П. В. Анненковым: «...хочу написать рассказ «Паршивый». Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже, царя храни...». И все ему говорят: стыдно, сударь! у нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек, или остался он равнодушен ко всем надругательствам, и все в нем старая работа, еще давно, давно до ссылки начатая, продолжается? Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта. И этот человек, недоступный никакому трагизму (до всех трагизмов он умом дошел), делается бессильным против *этого* трагизма. Но в чем выражается это бессилие? Я думаю, что не в самоубийстве, но в простом окаменении. Нет ничего, кроме той прежней работы — и только. С нею он может жить, каждый день он эту работу думает, каждый день ее пишет, и каждый день становой пристав по приказанию начальства отнимает эту работу. Но он и этим не считает себя вправе обижаться: он знает, что так должно быть».

Может быть, здесь слышатся какие-то отзвуки вестей, доходивших из сибирской ссылки, о Чернышевском или недавних бесед Салтыкова о вожаке старого «Современника» с Елисеевым во время их совместной жизни в Бадене и Париже. Сквозит в этом подробном и страстном наброске и горькая мысль о сходстве судеб настоящего узника и «вольного» русского литератора, у которого проделанную им работу сплошь и рядом «отбирает» если не становой пристав, то бдительный цензор: ибо рукопись, не ставшая книгой или журнальной статьей, тоже «отнята» у писателя и читателей.

И все же в этом письме речь идет не о той или иной биографии, но скорее о типе человека, остающегося верным своим прежним идеалам, даже если они еще страшно далеки от претворения в жизнь.

В одной из статей 1869 года, посвященной выходу биографии Т. Н. Грановского, Щедрин уже размышлял о мысли, разобщенной со средой, в которой она могла бы действовать. Однако тогда он делал упор на печальные последствия этого разрыва для мысли, не могущей поверять себя на практике.

Замысел, высказанный в письме к Анненкову и — в более кратком виде — к Некрасову, хотя и не исключает такой же возмож-

ности, но явно подразумевает в первую очередь изображение моральной силы узника. Впоследствии Щедрин уже совершенно определенно скажет о своей мечте воспроизвести именно «изумительный тип глубоко верующего человека».

По его словам, он даже не раз пытался осуществить этот замысел: «Но задача оказалась непосильною. Нужно иметь и громадную подготовку и почти сверхъестественное художественное чутье, чтоб отыскать неисчерпаемое богатство содержания в этом внешнем однообразии веры. Часто представлял я себе человека забытого, затерянного и все-таки обращающего глаза к востоку. Он ясно видит, как горит и пламенеет этот восток, и совсем не замечает, что на самом деле и восток и запад, и север и юг — все кругом охвачено непроглядною тьмой. Но ведь это картина — и только; картина, характеризующая лишь момент известного душевного настроения. Повторите этот момент хоть бесчисленное множество раз, вы не выйдете из пределов однообразия, не получите ничего, кроме утомительных перифраз. Чтобы выйти из этого однообразия, необходимо прежде всего понять, что тут главным действующим лицом является «вера» и что представление о «вере» объемлет собой не только всего человека, но весь мир, всю область знания. И вот тот, кто сумеет раскрыть всю беспредельность этого содержания, кто найдет в себе мощь воспроизвести все разнообразие идеалов, которое составляет естественный вывод этого содержания, — тот, несомненно, напишет картину, бесконечное разнообразие и яркость которой зажжет все сердца... Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?»

Если учесть естественную разницу в выражении между письмом к Анненкову, не подлежавшим (за границей) царской цензуре, и приведенным отрывком из очерка, рассчитанного на публикацию в России, то становится ясно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же замысле. За шесть лет он серьезно изменился, но все в том же, прежде намеченном направлении: герой ненаписанного рассказа все больше вырастает в глазах Щедрина. Оставаясь при своем убеждении, что вере героя в грядущую зарю отнюдь не дано осуществиться в исторически обозримые сроки, писатель отдает должное его духовному богатству, напряженнейшей внутренней жизни, передать которую ему кажется очень трудным делом.

Эта эволюция замысла, видимо, произошла под влиянием героического порыва революционной молодежи 70-х годов, стремившейся принести свои знания в народ, а впоследствии вынужденной обстоятельствами в одиночку вступить в героическую схватку с царизмом.

Вряд ли для сатирика осталось тайной, что в начале 70-х годов пылкая молодежь причисляла его, как и всех передовых писателей легально действовавшей литературы, к «либералам», под которыми, по свидетельству Морозова, «понимались все говорящие о свободе и других высоких предметах, но неспособные пожертво-

вать собою за свои убеждения». В том, что на Щедрина сложился такой взгляд, сыграли свою роль статьи Писарева и вторивших ему Н. В. Шелгунова и П. Н. Ткачева.

Чернышевский же оставался и для нового поколения живым примером человека, принесшего свою свободу в жертву своей «вере».

И если некоторые писатели, как, например, Гончаров, почувствовав, что «перестали понимать» многое вокруг, не стали «штудировать», изучать новые, неизвестные им типы, почитая их еще не сложившимися, неустойчивыми, то Щедрин пытливо присматривался, в частности, к молодежи. И образ «Паршивого» приобрел новое звучание едва ли не потому, что сатирик взглянул на своего героя глазами тех юношей и девушек, которые видели в таких людях образец для своей собственной деятельности и до известной степени поколебали исторический скепсис сатирика.

Появление «Нови» как раз и совпало с периодом этих напряженных размышлений и, возможно, делавшихся, хотя и не дошедших до нас, попыток их воплощения. Этим и объясняется неслыханно резкая реакция Щедрина на роман Тургенева, который был им воспринят как досадная компрометация важнейшей темы, легкомысленная попытка с негодными средствами.

В рассказе «Чужую беду — руками разведу» сатирик прозрачно высказал свое отношение к затронутым Тургеневым проблемам. «Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку, — признается рассказчик. — Мне сдается, что я не понимаю их, и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не об том. Выйдет не самоотвержение, а нелепый водевиль с переодеванием... Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями, но всякий, даже снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя!..»

«Факты самоотвержения» — это, конечно, революционные попытки. «Водевиль с переодеванием» — прямая цитата из «Нови», где этими словами оценивает свою деятельность «в народе» Нежданов. Оценка «снисходительного» человека почти дословно совпадает с возмущенным отзывом Щедрина в письме к Анненкову (15 марта 1877 года) о том, как автор «Нови» описывает «новых людей». В переписке с Анненковым сатирик при всем своем раздражении против романа не раз подчеркивал, что его волнует не столько сама оценка книги, сколько более общий вопрос: «Вы, пожалуйста, не думайте, что я хотел *критику* на «Новь» писать. Нет, я просто хотел изобразить, какое должно возбуждать чувство в человеке сороковых годов, воспитанном на лоне эстетики и крепостного права, но по-своему *честном,* зрелище людей, идущих в народ».

Сатирик писал о «современных семейных драмах», о которых читатель узнает из «стенографических отчетов газет» (о судебных процессах); одна из таких драм, причем далеко не самая

трагическая, происходит в семье Молчалиных («Чужую беду — руками разведу»). Столкнувшись с нею, рассказчик и ощущает свою беспомощность и неумелость. В разговоре с молодым человеком он не сумел вступить с ним хоть в какой-нибудь контакт и свернул на банальные упреки «неосторожности» молодого поколения. Узнав, как опростоволосился рассказчик, Глумов сурово резюмирует:

«Говорено было тебе, что нашему брату не с проповедью выходить пристойно, а сидеть в углу и молчать! Да тебя, впрочем, не убедишь! Вот и теперь, чай, придешь домой, сядешь за стол и скажешь себе: а ну-тка, благословясь, я этюд о «новых людях» настрочу! Не хорошо, не моги!»

Жизнь поставляла Щедрину все новые доказательства его правоты в споре с Тургеневым. С 21 февраля по 14 марта 1877 года происходил знаменитый «процесс 50-ти». В числе обвиняемых революционеров находился рабочий Петр Алексеев, который произнес речь, где прозвучало грозное пророчество о будущей революции. «По-видимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеваниями, как полагает Ив[ан] Серг[еевич]», — писал Михаил Евграфович Анненкову.

Однако цензура воспротивилась даже тем приглушенным «отголоскам» этих жизненных драм, которые были в рассказе Щедрина, и вырезала его из февральской книжки «Отечественных записок». Только в ноябре 1877 года удалось писателю провести часть своих мыслей в очерке «Дворянские мелодии», где уже и помину не было о «семейной драме» Молчалиных.

Вероятно, П. В. Анненков передал Тургеневу о щедринском отношении к «Нови». Во всяком случае, находясь в Петербурге в мае 1877 года, Иван Сергеевич не побывал у Михаила Евграфовича. («Вот как трудно уживаться с генералами...» — язвительно заметил тот в письме к Островскому, от которого тоже не скрыл своего отношения к тургеневскому роману.) Но под влиянием многочисленных критических откликов он вскоре и сам признался, что «не *сумел* сделать... так, как бы следовало: верно и живо».

При всей обидности щедринской критики «Нови» она была порождена глубоко принципиальными соображениями, страстной заботой, чтобы литература не уронила в глазах читателя ни «новых людей», ищущих выхода из тягостного положения страны, ни своего собственного авторитета.

Горше несогласия с Тургеневым была все приближавшаяся и приближавшаяся утрата. Когда в ноябре 1876 года вернулся из Крыма Некрасов, стало ясно, что о возвращении его к своим редакторским обязанностям и речи быть не может. «Сегодня... воротился из Крыма Некрасов — совсем мертвый человек, — сокрушенно сообщал Щедрин Анненкову. — Вы бы не узнали его, если бы теперь увидели. Я был хорош, а он теперь — две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги».

На Салтыкова налегло бремя новых хлопот по журналу, необ-

ходимость взять на себя тяжкую обязанность общения с цензорами, которую прежде по преимуществу нес Некрасов.

Еще до возвращения больного из Ялты Михаилу Евграфовичу пришлось побывать у начальника Главного управления по делам печати Григорьева.

С отвращением отправился Салтыков к этому человеку, «прославившемуся» пасквильной статьей о Грановском; но прием, который ему был оказан, превзошел самые худшие ожидания. Два часа просидел Михаил Евграфович, дожидаясь, пока Григорьев освободится. Само же свидание напоминало дурной сон. Начальник управления встретил Щедрина, не встав из-за стола, не предложил сесть и небрежно осведомился, в каком журнале он участвует, будто перед ним был не знаменитый писатель и один из редакторов популярнейшего журнала. На просьбу же прочесть статью, чтобы решить, можно ли ее опубликовать, Григорьев ответил:

— Это не мое дело-с, на это есть цензора.

«Одним словом, — писал Михаил Евграфович Некрасову, — свидание вряд ли продолжалось и минуту, но, несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали».

Правда, зарвавшийся сановник вскоре понял, что хватил через край. Весть о его разговоре с Салтыковым облетела весь город, и возмущенные коллеги по университету, где он читал ориенталистику, потребовали у него объяснений. Григорьеву пришлось сделать вид, что он принял Михаила Евграфовича за кого-то другого. Воспользовавшись этим конфузом, удалось провести в печать злополучную статью, из-за которой Салтыков ездил к Григорьеву. Удовлетворенный этим результатом, Михаил Евграфович решил пойти навстречу стараниям Григорьева замять случившееся.

«Теперь он уверяет, что меня в глаза никогда не видал, — сообщает он Некрасову, — и вчера присылает ко мне Ратынского с просьбой приехать в пятницу и удостовериться лично, что он не видал меня. Хотя все это не особенно лестно, тем не менее, я решился ехать и в случае нужды даже подтвердить, что мы в первый раз видимся».

Некоторое время после этого инцидента цензура как бы совестилась трогать журнал. Но вскоре после возвращения Некрасова она вырезала из ноябрьской книжки новую часть его поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», несмотря на то, что автор («со скрежетом зубовным», по свидетельству его сестры) вписал туда похвалу царю: «Славься, народу давший свободу!». «Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека, — негодовал Щедрин. — К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться».

Все начало 1877 года прошло в бесконечных цензурных придирках, заставлявших задумываться о том, суждено ли журналу уцелеть после смерти Некрасова. Казалось, он на глазах умирает

вместе со своим редактором. «Искалеченным и оскопленным» оказался первый номер, 15 февраля вышел переполох с рассказом «Чужую беду — руками разведу», задержала цензура и мартовскую книжку, добившись исключения двух статей.

Как ни пытался Михаил Евграфович щадить больного, Некрасов чутко угадывал истинное положение вещей, и это удваивало его муки. В письме к Анненкову Салтыков как-то обмолвился: «допеваю, кажется, *последние песни.* Да и все допевают (курсив мой. — *А. Т.*)». Употребил ли он это выражение и при Некрасове, или просто они думали об одном, только поэт так и назвал свой новый сборник.

Весной 1877 года он показал Салтыкову стихи:

Черный день! Как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов,
У друзей, врагов и цензоров...

Страшно было слышать его временами не смолкающие стоны, горько видеть, как мучается он, лежа под портретами Белинского, Добролюбова, Чернышевского, мыслями о том, что «бывало, когда грозил неумолимый рок, неверный звук у лиры исторгала» его рука. Человек, проводивший сквозь всевозможные рифы журнальный корабль, поэт, своими стихами утверждавший тысячи людей в желании отдать свои силы народу, он все казнился своими мнимыми и действительными винами.

Что касается Салтыкова, то его мнение о Некрасове было твердо:

«Замечательна жизнь этого человека, но я всегда был и буду склонен думать, что в ней было более хорошего, чем дурного. Ненужного коварства не было».

Чувствуя, что Некрасова терзают воспоминания о прошлом, о людях, с которыми сводила его жизнь и чьи портреты теперь, кажется, «укоризненно смотрят со стен», Михаил Евграфович старался отогнать от больного эти мрачные мысли. «Мне кажется, — упрашивал он А. Н. Пыпина, — что Вы хорошо сделаете, посетивши его. *Вы в особенности,* как человек „Современника"».

Глядя на собеседника тоскующими глазами, Некрасов вспоминал то презрительный взгляд Муравьева-Вешателя при подношении ему поздравительных стихов, то злые нападки Антоновича и Жуковского и сбивчиво пытался объяснить свое тогдашнее душевное состояние. Естественную неловкость, которую испытывали слушатели, он принимал за осуждение, потерянно замолкал, а потом снова возвращался к мучительным воспоминаниям.

— Представьте себе: даже перед Стасюлевичем исповедуется, — оскорблялся Михаил Евграфович за великого поэта, в предсмертной тоске искавшего сочувствия то у редактора либерального «Вестника Европы», то даже у Суворина.

Новый, 1878 год «Отечественные записки» встретили уже без Некрасова. 27 декабря он умер. Огромная толпа народа провожала его к могиле. Салтыков то хмуро молчал, то взрывался по мелочам. Досталось даже покойнику, который всю жизнь говорил, что желает лежать на Волковом кладбище, рядом с другими литераторами, но перед смертью распорядился, чтобы его похоронили в Новодевичьем монастыре.

А в памяти вставали потухшие глаза Добролюбова, поразившие Михаила Евграфовича при их последнем свидании, и чей-то рассказ о том, как после похорон Шевченко Некрасов понуро влезал в карету, забыв отряхнуться от крупных хлопьев снега...

— Много еще похорон вы увидите, — мрачно сказал Салтыков Михайловскому на прощанье.

В. Буренин притворно сетовал на страницах «Нового времени», что со смертью Некрасова из «Отечественных записок» будто бы ушла «душа жива».

Нет ничего слаще для ренегатов, какими были Буренин и Суворин, чем видеть поражение или упадок того дела, которое они предали. В этом они находят оправдание своей измене.

Но их ликование было преждевременно: «Отечественные записки» не доставили им этой радости.

Правда, Салтыков, ставший главным редактором журнала, по свойственной ему мнительности вначале и сам опасался, что без тонкой дипломатии Некрасова журнал захиреет.

«Как только Некрасов умрет... так, вероятно, рушатся и «Отечественные записки»... Я положительно убеждаюсь, что не гожусь для такой деятельности», — твердил он в письмах.

Далеко не все нравилось ему в своих компаньонах.

Самый молодой из них, Николай Константинович Михайловский, проявлял некоторую наклонность к догматическому окостенению. Уже в 1878 году он печатно подчеркивал неизменность своих воззрений, не особенно скромно оттеняя это на примере Белинского, а в небольшой полемике с Антоновичем крайне болезненно воспринимал слова последнего о падении русской мысли со времен «Добролюбова и его друзей» (прямо назвать Чернышевского было невозможно). Он полагал даже, что его статья о «Капитале» побудила Маркса изменить свою концепцию.

Когда-то Григорий Захарович Елисеев казался Чернышевскому самым юным по духу в редакции «Современника». С тех пор много воды утекло.

В 1875 году в переписке с Салтыковым у него вырвалось знаменательное признание: «Так все опротивело, что сказать нельзя, — и никакого просвета впереди. Чувствуешь себя в положении монаха, потерявшего веру во всякую святыню и, однако же, пребывающего на страже святых мощей. Если бы малейшая материальная возможность, удрал бы и забился в такую трущобу, где люди не только ничего либерального не говорят и не читают,

но где вовсе пока и грамоты не знают и где пока нет даже запаха Антошки — homo novus [1]».

Правда, эти слова были высказаны Елисеевым под влиянием каких-то недоразумений с Некрасовым, но в них звучит и явная растерянность перед нашествием «нового человека» буржуазной складки, вроде Антошки Стрелова, выведенного в щедринских «Благонамеренных речах», и разочарование в прежних идеалах. Как часто бывает, Елисеев пытался спасти исчезающую веру, старательно открещиваясь от фактов, заставлявших подвергать ее критическому пересмотру. Любопытно, что, когда молодой публицист Н. С. Русанов, находившийся тогда под влиянием марксистских идей, предложил редакции «Отечественных записок» статью, в которой оспаривались надежды народников на некапиталистический путь развития России, мнения редакторов разделились следующим образом: «Щедрин высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее... Елисеев», — вспоминал Русанов.

Чем больше заволакивалась для Елисеева туманом историческая даль, тем настойчивее вкрадывалась в его сердце потребность отыскать какой-либо резон для оправдания своей деятельности в настоящем. В таком настроении он становился податлив на любые иллюзии, лишь бы они сулили ему реальное, пусть даже небольшое, дело и осязаемые результаты. Сужение задач, выдвигавшихся перед обществом в его публицистике, вызывало подчас весьма резкий протест Салтыкова. «Прочтите «Внутр[еннее] обозр[ение]» в июньской книжке, — возмущенно писал он Михайловскому 27 июня 1880 года. — Елисеев доказывает, как нужно устроить духовенство согласно с истинным духом православия. Я, впрочем, получил обещание, что дальнейшего развития этому вопросу, а равно и вопросу о том, как повелевает св. церковь насчет постов, — не будет. А ежели будет, то легко может случиться, что я совсем выйду из журнала».

В середине 70-х годов между Елисеевым и Михайловским произошло столкновение личного свойства, после которого прежние близкие отношения между ними порвались.

Салтыков же, все больше и больше отдалявшийся от среды, к которой принадлежал по рождению и чинам, в то же время так никогда и не сделался полностью «своим» в демократической среде, казалось бы, более ему близкой.

Взрывчатый и раздражительный характер Михаила Евграфовича многих отпугивал: Скабичевский с Плещеевым прямо-таки смертельно боялись сатирика. Сложившийся в семье Салтыкова быт оставался чуждым демократическим вкусам значительной части сотрудников; они редко ходили к редактору по делу, а не то что в гости!

Тургенев удивлялся, почему Салтыков не устраивает у себя

---

[1] Нового человека (*лат.*).

приемов, на которых он мог бы ближе сойтись с молодыми литераторами. Салтыков даже руками замахал:

— Куда мне! Я ведь человек дикий, не общественный: разгорячусь — только перессорюсь со всеми. А тут еще жена знакомых — гвардейцев всякого оружия — наведет. Это что же такое будет?!

К захватившему молодежь революционному движению, к его новым вождям и пророкам Салтыков относился довольно скептически. Частью поэтому, частью из опасения погубить журнал он заметно уклонялся от встреч и общения с наиболее видными революционерами.

Правда, он печатал — разумеется, анонимно — статьи некоторых из них и пускал подчас в ход свои старые связи для облегчения участи кого-либо из арестованных «за политику». Но ведь подобные услуги оказывали революционному движению и откровенные либералы!

Понятно, что к восхищению Щедриным как писателем у молодежи примешивалась и нотка разочарования. С юношеским максимализмом она осуждала Салтыкова за осторожность и нежелание открыто примкнуть к революционерам. И Михайловский с другим сотрудником «Отечественных записок», С. Н. Кривенко, принимавшие участие в нелегальных народнических изданиях, а временами даже в конспиративной работе, делали это втайне от Салтыкова.

И все же «Отечественные записки» оставались популярнейшим журналом в демократической среде. Это было не коммерческое предприятие, а скорее какая-то литературная партия, которая при всех существовавших внутри нее разногласиях честно искала ответа на важнейшие вопросы народной жизни.

В одном из своих обзоров В. Буренин ехидничал, что Щедрин вертится в «беличьем колесе почти одних и тех же сатирических мотивов». Действительно, многие мотивы переходят из одной книги Щедрина этих лет в другую. Однако замечание Буренина меньше всего продиктовано эстетической требовательностью: в нем скорее выразился страх определенных кругов перед последовательностью сатирика, который с величайшим постоянством рисовал истинное, «ненасурмленное» лицо русской действительности.

«Убежище Монрепо», «Круглый год», «За рубежом» и начатая в те же годы «Современная идиллия» отразили удивительную по своей напряженности работу мысли Щедрина, всю глубину его анализа, опирающегося на огромное богатство наблюдений.

Щедрин писал эти произведения вперемежку, появлялись они в «Отечественных записках» отдельными главами, содержали отклики на самые злободневные события и воспринимались современниками как почти непрерывные комментарии к происходящему, беседа сатирика с читателями о жизни.

Продажа помещичьего имения Монрепо разбогатевшему неведомо какими путями Разуваеву вырастает в символ: «Все боятся Разуваева, никто не любит его, и в то же время все сознают, что Разуваева им не миновать», — это уже сказано не только о жите-

лях самого Монрепо, но обо всей России. Щедрин не верит в творческую силу разуваевых: недаром же из окон разуваевского дома «никакого другого вида не было, кроме громадного пространства, сплошь усеянного пнями». По его мнению, они не несут с собой ничего нового, полные перенятой у помещиков циничной уверенности в том, что мужицкий труд неистощим. «Ах, вашескородие! йен достаанит!» — с великолепной беспечностью отмахивается Разуваев от рассказчика, когда тот интересуется, откуда возьмутся барыши при стремительном обнищании народа.

«Идет чумазый!» — свидетельствует писатель и в отличие от многих народников, полагавших, что это произошло случайно, исключительно «по оплошности» общества, поясняет: «Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки... Но подготовка эта несомненно существовала, только мы, ошеломленные исконной репутацией несменяемости, которой пользовались явления предшествующие, проглядели ее».

При всем своем презрении к «кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам (дельцам, баснословно наживавшимся на строительстве железных дорог в России. — *А. Т.*) и прочих мирских дел мастерам», воплощающим для Щедрина капитализм, сатирик предвидит, что их могущество отнюдь не эфемерно, что «мироедский период, очевидно, еще не исчерпал всего своего содержания».

Пафосом творчества Щедрина всегда было свободное исследование окружающего. Он остается ему верен и как редактор.

«Самым для нас необходимым писателем» называет он Глеба Успенского в письме к Михайловскому.

Вглядываясь в прекрасное скорбное лицо Глеба Ивановича, Салтыков невольно вспоминал сказанное в одном очерке писателя о «болезни сердца, боли вторгшейся в это сердце правды, убивающей и мучащей одних и наполняющей души других несокрушимою силой».

Слова эти в первую очередь относились к самому Успенскому, который в одном лице совмещал и «одних», и «других».

Салтыков восторгался его талантом и искренностью, готовностью тут же сорваться с места и отправиться за тридевять земель ради встревожившей его истории, наболевшей темы — и боялся за него, огорчаясь его крайней нервностью, порывистостью, разбросанностью. Видал, видал уже Михаил Евграфович подобных мятущихся и сгоравших раньше времени правдолюбцев вроде покойного автора «Современника» и «Отечественных записок» Павла Якушкина, этого, по выражению современников, «первого народника», начавшего свое «хождение» еще при Николае...

«Повесть Успенского — прелесть», — радовался Салтыков в письме к Некрасову и тут же огорченно прибавлял: — «Жаль, что в конце концов видна некоторая небрежность, как будто писать надоело. Впрочем, я это понимаю — относительно себя; но в молодом писателе как-то странно».

Глеб Иванович неоднократно подводил редакцию, но зато порой преподносил и другие сюрпризы:

«Я знал одну барыню, которая придет и скажет: я пойду детям белья купить. А через час воротится: купила зонтик. Так точно и Вы: обещали нам для июньской книжки белья, а прислали зонтик, — весело «выговаривал» Успенскому Салтыков, — Но зонтик вышел такой отличный (речь идет о рассказе «На травке». — *А. Т.*), что я решаюсь Вас просить: нельзя ли такой же прислать и для июльской книжки».

Непрестанно ворча на неаккуратность и другие промахи Успенского, Михаил Евграфович в то же время всячески стремился облегчить трудную жизнь писателя. «Салтыков объявил мне, — сообщал Глеб Иванович знакомому, — что они вместе с Елисеевым, в видах мало-мальски правильного моего обеспечения в материальном отношении, отводят мне надел во 2-м отделе. Каждый месяц я имею право помещать в этом отделе полтора печатных листа, о чем мне будет угодно».

На этом «наделе» и выросла одна из лучших книг писателя — «Крестьянин и крестьянский труд». В «Отечественных записках» появились и «Власть земли», и другие произведения Успенского.

Месяц спустя после того, как профессор А. Н. Энгельгардт в январе 1876 года был выслан в свое имение Батищево, в глухой угол Смоленской губернии, Салтыков прислал ему письмо с предложением «изобразить современное положение помещичьих и крестьянских хозяйств сравнительно с таковым же до 1861 года». «Это могло бы доставить Вам материал для целого ряда статей, — развивал он свою мысль, — которые могли бы иметь тем большую занимательность, что Вы приступили бы к составлению со всеми необходимыми знаниями». Так родился замысел книги, которая, будучи во многом несогласной с воззрениями самого Щедрина, тем не менее била не в бровь, а в глаз людям, которые, «живя совершенно другою жизнью, не зная вовсе народной жизни, народного положения... составили себе какое-то, если можно так выразиться, *висячее в воздухе* представление об этой жизни».

Похоже, что Салтыков отнесся к судьбе Энгельгардта с особым сочувствием еще и потому, что мог легко вообразить себя на его месте после какой-нибудь очередной цензурной бури, почти периодически налетавшей на журнал.

Того и гляди, сам окажешься — если не в знакомой Вятке, так в своем подмосковном Витеневе. Вроде совсем близехонько от Москвы, да на что она или даже Петербург, если тоже от любимого дела отлучат? («Мы до того отожествились с нашей специальностью, литературным трудом, что сделались вне ее почти негодными для существования», — написал Салтыков однажды Некрасову.)

«Должен сознаться, я сам чувствую к Савельичу особенное расположение, — говорилось в первом же энгельгардтовском «Письме из деревни» об одном дворовом крестьянине, — и именно вследствие сходства наших положений... Я — отставной профессор;

он — отставной кондитер. Вместо того, чтобы читать лекции, возиться с фенолами, крезолами, бензолами, руководить в лаборатории практикантами, я продаю и покупаю быков, дрова, лен, хлеб, вожусь с телятами и поросятами, учу Авдотью делать пикули, солить огурцы, чинить колбасы. Он, Савельич, вместо того, чтобы делать конфеты, пирожки, безе, зефиры, караулит горох, гоняет лошадей из зелени, топит печи. Масса специальных знаний, приобретенных многолетним трудом, остается без приложения как у меня, так и у него. И он, и я многое забываем, отстаем».

Кто может поручиться, что ныне подписывающий рукопись в набор редактор вскоре не пополнит эту компанию отставных?

И ведь хорошо профессору-химику, дельному человеку: даже из этого, отдающего горечью, отрывка видно, что Александр Николаевич на все руки мастер, не пропадет.

А вот генералу от литературы (а в недавнем прошлом — от канцелярии) что прикажете в Витеневе делать? Тоже крутиться в беличьем колесе будничных забот, только без энгельгардтовских талантов?

«С утра до ночи голова наполнена хозяйственными соображениями, — говорилось в «Письме втором». — Интересов, кроме хозяйственных, никаких... Сижу я все у себя в деревне, никуда далее 15 верст не езжу... Понятно, что я ни о чем другом, кроме хозяйства, писать не могу».

Ах, хитрец! Салтыков даже повеселел, читая. Так прямо ничего за своими хлопотами не видит?! А вот в суд забежал:

«...судьи все в блестящих мундирах... все бывшие деятели, в ополчении, при освобождении крестьян, в западном крае».

И читатель сразу уразумеет: ташкентцы!

Дальше — пуще:

«Удивительно это хорошая вещь, новое судопроизводство. Главное дело хорошо, что скоро. Год, два человек сидит, пока идет следствие и составляется обвинительный акт, а потом вдруг суд, и в один день все кончено. Обвинили: пошел опять в тюрьму — теперь уже это будет наказание, а что прежде отсидел, то не было наказание, а только мера для пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда и следствия. Оправдали — ты свободен, живи где хочешь, разумеется, если начальство позволит. Отлично».

Каково? Пожалуй, скажут: не ты ли ему вписал? Какое «вписал»! Ему порой самый распрофессиональный литератор позавидовать может!

«Я противник всяких чиновничьих мероприятий, касающихся внутренней жизни... Все такие мероприятия никогда ни к чему не приводят, всегда ловко обходятся и только наносят вред народу, затесняют его и, по мнению мужиков, делаются только им в «усмешку». Точно вот — «на тебе, ходи вверх ногами!». И ходим, то есть не ходим, а делаем вид, что ходим. Идешь обыкновенным порядком, встречаешь начальство — «отчего не кверху ногами?». «А вот сейчас, ваше-ство, отдохнуть перевернулся», — и делаешь вид, что хочешь встать кверху ногами. Начальство само знает, что

нельзя так ходить, но, довольное послушанием, милостиво улыбается и проследывает дальше».

Не чтенье — объеденье! Михаил Евграфович ходит именинником, потчует всех «батищевским гостинцем»: каков крестник-то оказался?

И даже под веселую руку требует с сотрудников... «лапотные»: сказано же у Энгельгардта, что «рядчик имеет только то преимущество перед другими членами артели, что сверх заработанного своими руками получает от артели так называемые лапотные деньги... за свои хлопоты: хождение за приисканием работы — от того и название... расчеты с нанимателем, разговоры с ним относительно работы...» («не то объясняйтесь с Краевским сами!» — с комической угрозой вставляет Салтыков, — да и в цензуру сколько лаптей сношено!»).

Беллетристическая часть журнала полностью держалась на Салтыкове. «Наиболее талантливые люди шли в «Отеч. зап.» как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер», — с гордостью писал Михаил Евграфович впоследствии. («Не гляди, что он бука», — ободряет Энгельгардт сына, робеющего показывать Салтыкову свои «пробы пера»).

Впрочем, знаменитый своей резкостью сатирик просто кажется неузнаваемым в письмах к совершенно неименитым (а ныне почти позабытым) авторам!

«Признаюсь откровенно, Ваши выговоры приводят меня в смущение, — терпеливо пишет он И. А. Салову. — Теперь Вы выговариваете мне за «Дрожжи», забывая, что, присылая эту повесть, Вы мне сами писали, что очень с нею спешили, а потому предоставляли мне право делать в ней изменения, какие сочту нужным. Нельзя ли так устроить, чтобы не забывать прежней переписки и не огорчать меня незаслуженными выговорами».

И в другом письме ему же: «Затем, ежели Вы находите что-либо оскорбительное в моем письме, то прошу Вас извинить меня. Я вообще не мастер в эпистолярном роде...»

«Рассказ Ваш, «Родня», — торопится Салтыков известить Г. И. Недетовского, — я уже прочитал, и он весьма понравился... Что же касается до высылки Вами начатой повести по частям, то делайте, как Вам удобнее. С своей стороны, я буду, по мере высылки, читать и сообщать Вам мои замечания, если это окажется нужным».

«Жаль мне своей статьи, — пишет он после очередного цензурного погрома, — а еще больше жаль рассказа одного начинающего автора, рассказа истинно поразительного по своей задушевности». (Погоревав, Михаил Евграфович рассказ А. О. Новодворского-Осиповича все-таки ухитрился напечатать.)

«Я прочитал Вашу повесть три раза (такова моя должность), — сообщается А. А. Виницкой, — и с каждым разом все с большим и большим удовольствием. Я поистине горжусь, что такая вещь напечатана в „Отеч. зап."».

«Всякий вновь появлявшийся в журнале беллетрист встречал в нем, — писал о своем старшем коллеге Михайловский, — на деле

доброжелательнейшего, усерднейшего покровителя и советника, даже расточительно тратившего свой труд и время на чужие произведения».

В традициях «Современника» и «Отечественных записок» не было мелочной опеки над сотрудниками, стеснения их индивидуальности, и новый главный редактор оставался верен этим преданиям.

«Михаил Евграфович, — вспоминал Елисеев, — в общем держался в ведении журнала той же системы, что и Некрасов... он, так же как Некрасов, не принадлежал к числу тех плохих кучеров, которые бестолковым дерганием лошадей мешают только свободной, спокойной и ровной езде. Но Михаил Евграфович был кучер не только умелый и ловкий, но и кучер-щеголь, который заботился не только чтобы езда была хороша и спокойна, но чтобы при выезде не было никакой неряшливости ни в сбруе, ни в экипаже, чтобы все в выездном ансамбле если не блистало, то было в порядке и чисто... Михаил Евграфович не только не возлагал ни одной строки своей работы на других, но имел терпенье пересматривать работу всех своих постоянных сотрудников...»

Это была поистине египетская, каторжная работа, как временами называл ее сам Салтыков. Но она же приносила ему самые счастливые дни.

Пронесло!

Очередная книжка «Отечественных записок» благополучно вернулась из Петербургского цензурного комитета.

— Как пророк Иона из чрева китова! — острит довольный Салтыков.

В контору редакции нередко забегают студенты, которым не терпится получить еще не разосланный номер.

Михаил Евграфович еще раз придирчиво проверяет, не обидели ли кого-нибудь при расчете. Сейчас он особенно похож на наседку, как уже успели его окрестить за отношение к молодым беллетристам.

Растеряха Плещеев опять задевал куда-то нужную рукопись. В обычное время ему бы несдобровать. Он выскочил бы из редакторского кабинета красный как рак, провожаемый словечками не совсем цензурного свойства. Сегодня же ему просто велено все перерыть, но рукопись найти.

Влетел курносый франт с румянцем во всю щеку — Петр Дмитриевич Боборыкин, любезно поздоровался со всеми, опасливо — с Салтыковым. Отчеканивая каждый слог, как актер французского театра, осчастливил всех сообщением, что кончает новый роман.

Михаил Евграфович и это стерпел. Только когда за гостем уже дверь закрылась, проворчал:

— Опять роман набоборыкал!.. Вот учитесь, а то все рассказиками пробавляетесь!

Застенчивый человек, опирающийся на костыль, услыхав эти

слова, обращенные к нему, мучительно покраснел и с виноватой улыбкой пробормотал:

— Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог... Только я... видите ли... пишу мало... Все у меня не выходит...

Дружный хохот покрывает эти слова.

— У Гаршина не выходит — у Боборыкина выходит! Гаршин Боборыкину завидует! — ухмыляется Салтыков. — Каков, с божьей помощью, оборот! А Белоголовому деньги отослали? — вдруг перебивает он себя.

Очень немногие в редакции знают, что статьи, которые довольно регулярно присылает доктор Н. А. Белоголовый, на самом деле пишет бежавший за границу П. Л. Лавров.

Николай Николаевич Златовратский, завладев общим вниманием, рассказывает, какой он для журнала очерк напишет. Михаил Евграфович слушает — и мрачнеет. Весь смысл задуманного очерка в том, чтобы оспаривать только что напечатанную статью Глеба Успенского.

Златовратский до того влюблен в народ, что, как всякий влюбленный, не желает видеть в предмете своей страсти никаких недостатков. Трезвый и грустный взгляд Успенского ближе Щедрину. Но дело не в этом: в последнее время стоит только появиться в «Отечественных записках» Успенскому, как в следующей книжке Златовратский твердит свое. Это уже становится похожим не на серьезный спор, а на пустое препирательство.

И вот, в первый раз за этот день, в голосе Салтыкова звучит откровенный сарказм:

— Что это вы, Николай Николаевич, от Успенского, как от печки, танцуете? Или своего сказать нечего?

А Успенский вот он — легок на помине. Входит смущенный, долго мнется и, наконец, просит у Михаила Евграфовича... аванс, хотя всего несколько часов назад получил деньги за вышедшую статью.

— Да что же вы с утренними-то деньгами сделали? — поразился Салтыков. — Пророскошествовали?

— Помилуйте, Михаил Евграфович, покупки самые необходимые...

— Какие такие покупки? Ну, сказывайте, что вы купили?

— Прежде всего сапоги. Отличные сапоги... Я уже давно хотел именно такие купить...

— Охотно верю... А еще что?

— А что же еще?

— Я спрашиваю: что еще купили?

— Ах, да... Еще фунт сыру... Превосходный сыр... Я уже давно хотел жену побаловать...

— Вижу, вижу, что побаловали... А еще что?

— А еще извозчик... Хотел поскорее домой... А потом... — бормочет Успенский и замолкает.

— А потом, — насмешливо заключает Салтыков, — вот что я вам скажу, Глеб Иванович: всем вашим покупкам и с извозчиком

и со всей вашей теперешней словесностью красная цена — четвертной, а вы утром отсюда триста рублей унесли...

«Успенский начинает чувствовать себя лучше, — вспоминал потом свидетель этого разговора. — Все-таки старик разговаривает, а мог бы прямо сказать: некогда, корректуру правлю... И уже с облегченной наполовину душой Глеб Иванович чрезвычайно убедительно произносит:

— А сапоги-то!..

— Все не триста!

— А сыр-то!

— Далеко до счета!

— А про извозчика-то забыли, Михаил Евграфович? — уже почти укоризненно говорит все более и более смелеющий Успенский.

— Ну, сколько вам стоил извозчик? — спрашивает, наоборот, все более и более смягчающийся Салтыков.

— Да ведь если бы один извозчик был, а то сыр...

— Ну, а сыр сколько?

— Но ведь еще сапоги...

— Тьфу ты пропасть! С вами, Глеб Иванович, натощак не сговоришься! Ну что вы, как малое дитя, в трех соснах блуждаете: сыр-сыр, сапоги-сапоги, извозчик-извозчик... Вот вам ордер пока на двести рублей, а там на будущей неделе посмотрим...»

Только спустя некоторое время выясняется, что сердобольный Глеб Иванович отдал чуть ли не все полученное утром знакомому извозчику, тужившему, что не может собственной лошадью обзавестись.

Салтыков с комическим ужасом хватается за голову: что за сотрудников ему бог послал! Плещеев неизвестно куда — скорее всего на лимонад — потратил состояние. Успенский — сами изволите видеть — прямо-таки министр финансов! Кривенко от прибавки к гонорару отказывается, недаром его Михайловский величает иконой, сорвавшейся со стены!

Чуть усмехнувшись, Михайловский говорит, что никак не может вспомнить фамилию одного чудака: стал редактором журнала и первым делом отказался от лишней тысячи рублей, которую получал его предшественник. Может быть, Михаил Евграфович помнит этот случай?

Михаил Евграфович не помнит. Михаилу Евграфовичу эти воспоминания совершенно ни к чему. И вообще, по правде сказать, лучше пойти к Унковскому в карты играть, чем якшаться с такими добродетельными людьми.

Уличенный редактор исчезает.

Он и у Унковских всех нынче поражает своей мягкостью. Не ругает жену, не тиранит смирнейшего хозяина, не кричит проштрафившемуся партнеру: «Я этот ремиз вам на лысине запишу!».

Пронесло!

Книжки журнала беспрепятственно рассылаются читателям.



X

Чрезмерную цену заплатил народ за Плевну и Шипку, а сам не получил ничего. Славословия русскому солдату превосходно уживались с лютой бранью, которой по-прежнему осыпали чиновники недоимщиков. Снова, как в 1812 и 1855 годах, недавний «спаситель отечества» был грубо возвращен к исполнению своих всегдашних обязанностей — кормить многочисленных нахлебников.

Тысячи крестьянских лошаденок пали на дорогах войны, пришли в упадок многие хозяйства, донимали неурожаи...

Давление других великих держав заставило царизм отказаться от значительной части добычи, изменить к своей невыгоде заключенный с турками Сан-Стефанский договор. Недоволен был, царь, громко осуждали его московские славянофилы; недовольна

была и либеральная буржуазия: даже новорожденному Болгарскому государству было дозволено иметь конституцию, в то время как в самой России и на робкие мечтания о ней смотрели косо.

То тут, то там прорывались голоса недовольства, раздававшиеся из самых разных лагерей, возникали отдельные крестьянские волнения, занимались первые рабочие стачки.

Еще до начала войны военный министр Д. А. Милютин пришел в страшное раздражение, когда в совете министров обсуждался вопрос о Противодействии революционной пропаганде. Министр юстиции граф Пален представил... чертеж, на котором было изображено, какими путями идет зловредная пропаганда из Петербурга; министр внутренних дел Тимашев предлагал создать очередную комиссию, а адмирал Грейг философствовал о том, что не надо всякого бедняка допускать к высшему образованию! Как ни толковал Милютин, что надо раскрыть причины, по которым пропаганда оказывается возможной, и что органическую болезнь наружными пластырями не излечишь, дружный хор царедворцев твердил свое.

С тех пор положение во многом обострилось, и примерно через два года после этого совещания Кавелин писал из своей деревни в Петербург: «...пропаганда у нас идет своим чередом и не может не идти. Ее обильно питают печальное положение крестьянского люда и непроходимая дрянность помещиков, которые наивно воображают, что имеют дело с прежним крепостным людом... Живя в деревне и видя, что кругом делается, невольно сам чувствуешь в себе нигилистическую струнку...»

В это время многие из русских писателей, прежде относившихся к революционной молодежи довольно настороженно, вынуждены были изменить свое мнение. Нотки несомненного сочувствия к ней звучат в письмах Л. Толстого, Достоевского, Тургенева. Действительно, самоотверженность и преданность делу среди людей, вызвавшихся служить народу, были поразительны. Но положение их было необычайно трагическим.

Те, кто шел в народ, вначале надеялись, что их слова произведут почти мгновенное действие, подобно факелу, брошенному в пороховой погреб.

Находились энтузиасты, которые уже выбирали артиллерийские позиции для будущих боев с войсками!

Но те самые деревни, которые так легко вспыхивали от одной спички, совсем не спешили заниматься революционным пожаром.

Постепенно революционеров охватывало все большее и большее разочарование в результатах пропаганды. Вместо порохового погреба им стала мерещиться «бездонная бочка Данаид», бесследно поглощавшая все усилия и бродячих агитаторов и целых «оседлых» групп. Крестьянская беднота была невежественна и забита, а кулаки и кабатчики быстро поняли, что непрошеные просветители могут кое-что порассказать об источниках их обогащения. Эти новоявленные хозяева деревни пустили в ход все свое влияние на соседей, чтобы аттестовать революционную пропаганду как

«барские затеи» и «крамолу», за пособничество которой не поздоровится. Кулаки, помещики, попы — все они оказывали живейшее содействие рыскавшим в поисках пропагандистов полицейским чинам, число которых все увеличивалось (в 1879 году правительство ввело урядников). Началась форменная вакханалия расправ, доносов, облыжных оговоров, сведения личных счетов под видом защиты «священных основ». Появившаяся в деревне книжка вызывала подчас сложнейшее и строжайшее расследование, способное навек отвадить от дальнейшего чтения. Еще Некрасов описывал недоумение иностранного путешественника, удивленного «странным» поведением своих собеседников-крестьян:

...заикнулся про школу, про книги —
Прочь побежали. «Помилуй нас бог!

Книг нам не надо — неси их к жандарму.
В прошлом году у прохожих людей
Мы их купили по гривне за пару,
А натерпелись на тыщу рублей!»

Позднее, при расследовании, даже злейший враг революционеров Победоносцев приходил в ужас от того, что творили «защитники порядка». «Относительно многих молодых людей, сосланных в отдаленные губернии или в Сибирь, не могли даже добиться сведений, за что они были подвергнуты такому жестокому наказанию. В большинстве других случаев поводы были самые ничтожные и подозрение вовсе не доказанное», — свидетельствовал Чичерин, которого также трудно было заподозрить в симпатиях к прогрессивной молодежи.

Разочаровавшись в деятельной поддержке народа, преследуемые кровожадной сворой полицейских и добровольных сыщиков, годами без суда томившиеся в тюрьмах, подвергавшиеся не только жестоким наказаниям, но и беззаконным издевательствам, революционеры все больше проникались мыслью о необходимости ответного террора. Не только самозащита и жажда мести толкали их на этот путь: они надеялись, что хотя бы взрывы бомб и пистолетные выстрелы приведут в действие дремлющие в народе силы и подвигнут на более смелые поступки робких либералов.

Царское правительство, со своей стороны, сделало как будто все, чтобы мысли о терроре, смутно бродившие в горячих головах, претворились в действие.

В июле 1877 года петербургский градоначальник генерал-адъютант Трепов при посещении дома предварительного заключения ударил и велел высечь арестованного Боголюбова-Емельянова. Вся тюрьма словно взвыла от боли, от неслыханного оскорбления. Возмущенные крики, звон разбиваемых стекол, гул дверей под ударами кулаков не заставили Трепова отменить свое позорное распоряжение.

— Я ничего против него не имею, но нужен был пример, — объяснил он свой поступок на следующий день и в доказатель-

ство своей объективности добавил: — Я ему послал чаю и сахару.

Барабанная трескотня шовинистической пропаганды на время заглушила этот скандальный эпизод. Но 24 января 1878 года в приемную Трепова вошла невысокая, гладко причесанная девушка, назвавшаяся Козловой, и, когда градоначальник потянулся за принесенным ему прошением, выстрелила в него из спрятанного в муфте револьвера.

Это была революционерка Вера Засулич. Вскоре Степняк-Кравчинский среди бела дня убил на петербургской улице шефа жандармов Мезенцева.

На суде над Засулич вопиющее насилие, которому подвергся Боголюбов, обрисовалось во всей своей неприглядности. Поразительна была и судьба самой девушки: два года ее держали в тюрьме, а затем подвергли высылке и всевозможным притеснениям. К ярости царя, присяжные оправдали обвиняемую, а наэлектризованная молодежь отбила Засулич у пытавшихся арестовать ее снова жандармов.

В апреле 1879 года Соловьев повторил попытку Каракозова, и так же безрезультатно. Вслед за этим, почти целиком оставив пропаганду, террористы, объединившиеся в партию «Народная воля», предприняли подлинную охоту за царем. Она поглотила всю их энергию, стоила немалых жертв и увенчалась успехом только через два года.

Горстка героев сумела навести ужас на правительство.

Вдоль железнодорожного полотна теперь вытягивались цепи полицейских и солдат, и поезд Александра II мчался мимо пустых платформ и старался миновать большие города ночью. Царскосельский дворец выглядел как угрюмая крепость: «все подъезды, кроме одного... заперты; ворота в сад заперты; везде кишат городовые, полицейские, переодетые мушары[1]», — записывал очевидец. Александр II испуганными глазами следил за каждой приближающейся женщиной, если по обличью она казалась ему похожей на нигилистку. Министр народного просвещения Д. А. Толстой не выходил в свою приемную без револьвера в кармане. Перепуганные сановники то носились с мыслью о строгом обыске всех жителей столицы, то предлагали разом выслать всех «подозрительных» из Петербурга, то заговаривали о необходимости пыток.

«Что у нас делается, так Вы даже во сне этого представить не можете, — писал Салтыков П. В. Анненкову, — а что говорится, предвидится, придумывается, рассказывается, переходит из уст в уста, так просто умереть хочется — так это нехорошо».

И если бедная литература и всегда могла ожидать внезапного обыска, дознания и наказания, то теперь она все время чувствовала себя посаженной на скамью подсудимых.

Особенно нелегко приходилось «Отечественным запискам». Не прошло и полугода с тех пор, как Салтыкова утвердили ответ-

---

[1] Шпионы (*фр.*).

ственным редактором, а уже он был вызван в цензурный комитет, где и получил выволочку за несколько опубликованных в октябрьской книжке материалов, которые, по зловещему выражению «лиц, на заставах команду имеющих», «характеризуют направление журнала» (в других случаях прямо пояснялось: «социалистическое»!).

«На вопрос мой, — сообщал Салтыков Михайловскому, — что будет дальше, мне было ответствовано: это будет зависеть от вашего поведения, но хорошего ожидать едва ли можно».

Если и есть здесь шарж, то в самой минимальной дозе. А заключается письмо тревожно и горестно: «Со времени издания «Отеч. зап.» это случается в первый раз, но, вероятно, на будущее время будет принято за правило. Мне даже дали понять, что это „любезность"».

В последующие годы цензура не раз требовала исключения из журнала произведений самого редактора или жестоко калечила их купюрами.

«Институт урядников зачислен в число священных, и писать об нем, яко об институте или возвести урядника в перл создания — значит совершить преступление, — жалуется Салтыков Энгельгардту, который тоже опрометчиво «заносит руку» на этих «неприкосновенных» особ. — У меня весь этюд «Тревоги в Монрепо» таким родом перепакостили, выкинув все, что касается урядников».

За одну из статей Елисеева, где затрагивался вопрос об истоках революционного движения в России, редакция получила предостережение: «Явно отрицается существование у нас преступной шайки агитаторов, — докладывал царю министр внутренних дел в апреле 1879 года, — вопреки правительственным о том заявлениям, и с умыслом, совершенно голословно изображается состояние крестьян в безвыходном положении».

В эти дни распространился слух о якобы произведенном у Салтыкова обыске, во время которого хозяин квартиры расхаживал по комнатам, распевая: «Славься, славься, Святая Русь!», а в начале декабря из уст в уста передавалось, что «Отечественные записки» велено закрыть. В этом не было ничего невероятного, и Салтыков едва не захворал. Что было делать? У кого искать защиты? Не сам ли Щедрин вложил в уста Молчалина возмущенную отповедь тем, кто думает оспаривать начальственные распоряжения:

«Очень уж вы набалованы... оттого вам и думается, что тут диалог какой-то произойдет: вы вопросы будете предлагать, а вам будут ответы давать... Вместо того, чтоб искренно, благородно: виноват, ваше превосходительство! — а вы все с азартом да наступя на горло!»

Только на следующий день Салтыков узнал, что слух о закрытии журнала ложен.

Тем, кто следил за судьбой «Отечественных записок» из-за границы, они часто казались хрупким кораблем, который того гляди поглотят бушующие волны.

«...редакция «О. З.» еще цела, но я боюсь, и их пощупают... и воображаю, как теперь все там неспокойны», — делилась с Лавровым своей тревогой жена Белоголового. А сам он предполагал, что редакции придется пойти на тяжелые уступки, чтобы миновавшая гроза не вернулась снова.

«Финал этой истории очевиден, — писал Белоголовый. — В декабрьской книжке снова явится благодарственный молебен к господу богу о сохранении драгоценной жизни монарха. Бедный Салтыков!»

Опасность подстерегала журнал на каждом шагу, и Салтыков, буквально дрожавший за судьбу своего детища, напрягал все силы, чтобы угадать, откуда может прийти беда.

Сообщая Елисееву о необходимости исправить кое-что в статье некоего Ткачева, однофамильца известного революционера-эмигранта, Михаил Евграфович предлагает пустить ее без подписи. «Я знаю, что это другой Ткачев, но имя это все-таки обратит внимание цензуры на статью и возбудит желание придраться к ней», — писал он, сам совестясь предложения. Что может быть унизительнее не покидающей писателя заботы о том, как лучше обмануть стоящего на пути к читателю «таинственного незнакомца», как предугадать все волчьи ямы, стерегущие впереди! И добро бы высказались прямо, что подлинная литература, желающая исследовать жизнь во всей ее полноте, не нужна. Так нет! С каким возмущением отречется любой гонитель литературы от этого «клеветнического» утверждения: он только против преувеличений, несвоевременных и неуместных требований, опасных заблуждений — всего-навсего!

— Напротив, — поучает своего дядю-литератора один из щедринских героев, — все охотно допускают, что литература должна играть очень серьезную роль, что она может даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодействие. Вот что необходимо различать.

— То есть дифирамбы писать? — простодушно переспрашивает дядя.

Но его собеседник, разумеется, опять оскорбляется этими словами.

«Очевидно, это был порочный круг, — поясняет сатирик. — И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть опять-таки нужна «известная» критика! Словом сказать: подай то, неведомо что, иди туда, неведомо куда!»

Точно так же, как и интеллигенция, литература отовсюду слышит: не твое дело!

В январе 1880 года министр внутренних дел пригрозил арестовать номер журнала, если редакция опубликует статью А. Н. Энгельгардта «Как мужик о земле думает». Салтыкову пришлось подчиниться. «Вот каковы мои похождения...» — невесело писал он автору статьи.

И все же февральская книжка была арестована: цензуре не

понравились целых пять напечатанных вещей, начиная с рассказа Щедрина «Вечерок». Придралась она и к тому, что «Отечественные записки» после взрыва, произведенного Степаном Халтуриным в Зимнем дворце, ограничились перепечаткой официального сообщения, не сопроводив его «благодарственным молебном». Хорошо еще, цензоры не знали, что Халтурин был усерднейшим читателем «Отечественных записок»!

«Никогда ничего подобного не бывало, то есть такого разгрома», — жаловался Салтыков писательнице Хвощинской, упрашивая ее прислать хоть что-нибудь, дабы заполнить пробитые цензурой бреши.

Ему казалось, что журналу наступает конец.

Так оно, вероятно, и случилось бы, если бы правительство не сочло за лучшее изменить свою тактику.

«Никогда еще не было предоставлено столько безграничного произвола администрации и полиции, — подводил итоги прежней политики Д. А. Милютин. — Но одними этими полицейскими мерами, террором и насилием едва ли можно прекратить революционную подпольную работу...»

К мысли о необходимости лавирования и некоторых уступок все более склонялся и председатель Особого совещания «для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопасности в Империи» П. А. Валуев. Было очевидно, что упорные политические преследования, не приносящие решительных результатов, начинают раздражать даже умеренные элементы общества. В то же время запросы либерального лагеря оставались настолько скромными, что самых неопределенных обещаний было достаточно, чтобы в сильнейшей мере смягчить это недовольство.

Правительство предприняло маневр, клонившийся к тому, чтобы предотвратить какие-либо симпатии умеренной части общества к революционерам. 12 февраля 1880 года была учреждена Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, и председатель ее — граф М. Т. Лорис-Меликов — начал с либеральных, хотя и весьма туманных, посулов и уничтожения знаменитого Третьего отделения (что было вполне безопасно, поскольку департамент полиции с успехом заменил его).

Либералы охотно клюнули на эту удочку, провозгласив устами газеты Краевского «Голос», что наступила «диктатура сердца и мысли». Когда же Лорис-Меликов добился отставки Д. А. Толстого, среди них наступило ликование. Редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич устроил у себя на окне иллюминацию. К. Д. Кавелин намеревался опубликовать свои «Мысли о представительстве», где речь, собственно, шла не о конституции, а о необходимости соблюдения уже существующих законов.

Среди общего восторга мало кто обратил внимание, что один из бывших постов Д. А. Толстого — обер-прокурора Святейшего синода — занял человек, который впоследствии, по словам Блока, «над Россией простер совиные крыла», — К. П. Победоносцев.

К этому времени он уже давно перестал быть кабинетным ученым, профессором гражданского права, довольствовавшимся скромной жизнью в небольшом деревянном домике в Хлебном переулке. Приближенный ко двору наставник наследника, будущего Александра III, он все более и более преображался, продвигаясь по ступеням государственной лестницы. Если сначала он еще ощущал «опасность превратиться в пресмыкающееся», то потом, по ядовитой характеристике Чичерина, «положение пресмыкающегося начало ему казаться естественным состоянием человека, а хождение на своих ногах непозволительным своеволием».

Салтыков весьма скептически отнесся к либеральным восторгам.

Хотя ему и понравились некоторые личные качества и поступки Лорис-Меликова, он не верил в решительность правительственного поворота. Поживем, мол, увидим. По поводу же отставки ненавистного всем министра народного просвещения он писал к оптимистически настроенному Елисееву: «...Если поют: «Христос воскрес», то отчего же не думать, что можно запеть и «Толстой воскрес»?» — и, как показало время, оказался пророком.

Великодушная мягкость, которой красовалось правительство перед либералами, тут же исчезала, когда ему приходилось иметь дело с революционерами. Когда 20 февраля 1880 года Млодецкий совершил покушение на нового диктатора, то уже на следующий день был приговорен к смерти, и казнь была назначена на завтра. «В первый раз дело решается с такой быстротой», — записывал Милютин. А либеральная газета, основанная Стасюлевичем и получившая характерное название «Порядок», беспокоилась о том, что публичные казни могут вызвать сочувствие к преступникам, и рекомендовала проделывать их в тайне.

Впрочем, какими бы соловьями либералы ни разливались, даже умереннейшие из них по-прежнему вызывали к себе настороженное отношение царских министров, и правительство вовсе не собиралось следовать их советам. Чем более оно убеждалось, что либералы не окажут поддержки революционерам-народовольцам, тем решительнее изменялась любезная мина Лорис-Меликова, ставшего после закрытия Верховной распорядительной комиссии министром внутренних дел. В сентябре 1880 года он объявил представителям печати, что им не следует волновать общество, обсуждая возможность его привлечения к участию в управлении страной: ничего подобного правительство в виду не имеет, все это «мечтательные разглагольствования» и «иллюзии». «Вот, значит, и либерализм выяснен», — заметил Щедрин. Когда же в конце января 1881 года Лорис-Меликов представил царю свой план «умиротворения» страны, стало ясно, что гора обещаний родила мышь: по его предложению создавались временные подготовительные комиссии, с тем чтобы выработать законопроекты о преобразовании губернского управления, земского и городского положений, дополнении Положений 19 февраля...

Летом 1880 года Салтыков прислал из-за границы, куда он снова был отправлен на лечение, первый очерк из задуманной им серии «За рубежом». Очерк начинался словами:

«Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу самосохранения».

Эта фраза воспринималась сначала всего только как отголосок тоски, которую испытал больной писатель, снова очутившись в ненавистной ему атмосфере немецких курортов (Эмса и Баден-Бадена). Все как будто автобиографично и в последующем: и рассказ о том, как «люди науки» посоветовали больному «позабыть прошлое, настоящее и будущее», а он притворился довольным, хотя и знал, что «процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разрозненный организм».

С сочувствием отнесшись к злоключениям больного, но все же сочтя эту часть вступительной виньеткой, читатель следовал за Щедриным в его пути по Германии и Франции.

Франция смолоду привлекала его «неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше». Это выглядело заманчивым контрастом рядом с убогими российскими реформами.

Однако уже во время первой своей поездки в Париж Салтыков заприметил охватившую французскую буржуазию «безыдейную сытость»: «Француз-буржуа хотя и не дошел еще до столбняка, но уже настолько отяжелел, что всякое лишнее движение, в смысле борьбы, начинает ему казаться не только обременительным, но и неуместным».

Буржуа вздыхает о потерянном в войну 1870 года Страсбурге лишь из-за того, что там пекут отличные пироги, плотоядно смакует бесчисленные подробности натуралистических романов и оценивает науку лишь с точки зрения прикладных результатов, отмахиваясь от «бесполезных» истин.

Щедрин оговаривается, что не знает, насколько доволен парижский рабочий французской «республикой спроса и предложения» — «республикой без республиканцев» (эту меткую характеристику часто вспоминал В. И. Ленин). Не знает, потому что русскому писателю вообще «нельзя дотронуться до рабочего человека, чтоб из этого не вышло превратного толкования».

Однако вскоре сатирик рисует картину того, как, «не будучи в состоянии заглотить все, что плывет к нему со всех концов любезного отечества», буржуа уделяет меньшой братии объедки своих трапез. И это подчеркнуто натуралистическое «кулинарное» описание обретает острополитическое звучание: «...как ни благодушен буржуа, но он поступается мясцом только в форме объедков», — заключает Щедрин и делает вывод, что у рабочих «особенного повода для благодарности не имеется», а, напротив, накапливается враждебность.

Более пессимистически относился писатель к тогдашней Герма-

нии. В приснившемся путешественнику сне встречаются немецкий «мальчик в штанах» и русский «мальчик без штанов».

Этому сновидению сопутствуют горькие мысли рассказчика о невыгодном контрасте между русской и немецкой деревнями. Беспощадно высмеивает сатирик надежды, возлагаемые на русскую общину, на особый путь, якобы уготованный России, которой предстоит сказать миру «новое слово». «Несомненно, что и он, — писал Щедрин о «западном человеке», — в свое время прошел сквозь все эти «слова», но только *позабыл* их». И действительно, «мальчик в штанах» смутно, как варварские времена, вспоминает эпоху, когда и в Германии царило такое же бесправие, про которое рассказывает «мальчик без штанов».

Однако немецкий мальчик не видит и ныне ничего постыдного в том, чтобы «безмолвно склонять голову под ударами судьбы». «По моему мнению, — филистерски рассуждает он, — тут один выход, чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтобы устыдиться...»

— Держи карман, — насмешливо отвечает ему собеседник.

Позже Щедрин проводит параллель между русской и немецкой лошадьми: для первой кнут — жестокая реальность, вторая же давно не испытывала его, но готова подчиниться ему заранее.

Сатирик присматривается к Германской империи с явной тревогой. Он прозорливо отмечает, что вся суть современного Берлина сводится к зловещему зданию Генерального штаба и что вся остальная жизнь немецкой столицы подчинена его замыслам и деятельности. Даже науке, вроде бы процветающей, уготована всего лишь скромная роль «комментатора официально признанных формул».

Вряд ли Салтыков мог знать про то, что немецкий император Вильгельм I, приходившийся Александру II дядей, в 1880 году давал племяннику советы самого реакционного свойства, отговаривая его от всяких уступок конституционалистам. Однако и без этого сатирик великолепно почувствовал удушающую атмосферу, воцарившуюся в новой «великой державе», которая, по его убеждению, уже тогда питала «ничем не оправдываемую претензию на вселенское господство».

Щедрин начал свои очерки в разгар правительственного флирта с легковерными либералами. Даже в глазах двух сановников, Удава и Дыбы, один из которых прошел школу «графа Михаила Николаевича» (Муравьева-Вешателя), а другой — школу «графа Алексея Андреевича» (Аракчеева), путешественники читают снисходительность: «нынче и у нас в Петербурге... вольно!» В Швейцарии рассказчик встречает отставленного от дел графа Твэрдоонто, который довел в недавнем прошлом произвол до крайних пределов. Этот государственный муж, по уверению Щедрина, «даже слово «пошел!» не мог порядком выговорить, а как-то с присвистом, и быстро выкрикивал: «п-шел!». Именно так должен был выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь...» В пору бы счесть этот образ невероятным преувеличением, если бы наиболее выдающие-

ся государственные деятели этой эпохи не оставляли столь же беспощадных характеристик своим коллегам как людям, которые «не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового».

Появление фигуры графа Твэрдоонто сатирически подготовлено описанием обезьяны, томящейся в берлинском зоологическом саду. Рассказчик подозревает, что в родных лесах старый шимпанзе был исправником или даже министром и теперь с тоской вспоминает про «девяносто тысяч (по числу населяющих его округ обезьян) непроизведенных обысков».

Совершенно того же рода и переживания графа Твэрдоонто, который всегда считал, что «для нашего отечества нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники». Арсенал его приемов управления поражает своей скудостью; кажется, что перед нами политический мертвец, тем более что из России не перестают доноситься «отрадные вести». Так, один из знакомых рассказчика, учитель Старосмыслов, очутившийся в Париже почти на положении эмигранта, внезапно получает любезнейшее письмо от своего недавнего гонителя, который, «в согласность с полученными начальственными предписаниями, просил забыть его недавние консервативные неистовства и иметь в виду одно: что отныне на всем лице России не найдется более надежного либерала, как он, Пафнутьев».

«Но в иллюзии все-таки убеждал не верить», — едко добавляет Щедрин, прямо намекая на сентябрьские «разъяснения» Лорис-Меликова. Не кажется писателю невозможным и воскрешение графа Твэрдоонто на государственном поприще. Знаменательна история пребывания в Париже купца Блохина. Вначале он сочувствует злоключениям Старосмыслова и негодует на шарящих по домам становых, но вот, очутившись в Версале, Блохин выслушивает рассказ о том, «как отлично проводил тут время Людовик XIV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе». История французской революции явно насторожила его и оттолкнула от свободомыслия. В нем начинает проглядывать готовность к предательству: «Сейчас он об Старосмыслове печалуется: «что они с ним изделали?», а вслед за тем вдруг по поводу того же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! сицилист!» — опасается рассказчик.

Мрачные предчувствия Щедрина оправдались. Убийство народовольцами Александра II (1 марта 1881 года) ускорило переход к реакции. Салтыков, вообще колебавшийся в вопросе о необходимости революционного насилия, к террористическим актам относился отрицательно, хотя и понимал, что они часто были спровоцированы неимоверным гнетом.

«Те редкие проблески энергии, которые, по временам, пробиваются наружу, — писал он в шестой главе «За рубежом», появившейся в мае 1881 года, — и они приобретают какие-то чудовищные, противочеловеческие формы... Когда жизнь растекает-

ся и загнивает, то понятно, что случайные вспышки энергии могут найти себе выход только или в изуверстве, или в презрении».

Мало того, что «удачное» покушение оказалось бесплодным; предложение народовольцев Александру III согласиться на амнистию и созыв народных выборных (в обмен на прекращение террора) не только осталось без ответа, но и вконец охладило конституционные надежды либералов, которые опасались, что их могут счесть союзниками революционеров.

Еще до 1 марта крохотные уступки Лорис-Меликова вызывали ожесточенное сопротивление заядлых реакционеров. За две недели до цареубийства Тимашев, Делянов и Победоносцев жаловались на то, что новый министр внутренних дел «совершенно распустил печать». Это было как раз в те дни, когда из февральской книжки «Отечественных записок» вырезали все «Внутреннее обозрение» Елисеева и кромсали страницу из «За рубежом», посвященную версальским впечатлениям Блохина!

Взрывы на Екатерининском канале придали консерваторам новые силы. Напрасно на совещании 8 марта, собранном новым царем, группа министров (Абаза, Милютин, Сольский, Сабуров, Набоков и др.) пытались доказать, что в проектах Лорис-Меликова «конституции нет и тени» и что «трон не может опираться исключительно на миллион штыков и армию чиновников». Бледный как полотно Победоносцев произнес длинную речь о смертельной опасности, грозящей России от любых представительных учреждений. Он напоминал про Генеральные штаты, созванные накануне французской революции, обвинял земства и новые суды, в которые поклялся никогда ногой не ступать, ужасался свободе печати. Даже многоопытные министры нервно вздрагивали в некоторых местах речи Победоносцева, где оратор вещал, что реформы прошлого царствования были роковым заблуждением...

Если кто из них даже знал, то предпочитал помалкивать о том, что говорящий не всегда придерживался подобных взглядов и даже внес свою лепту... в герценовские издания, напечатав там, например, в сборнике «Голоса из России» памфлет, посвященный памятному нам Виктору Никитичу Панину, где, между прочим, говорилось, что «с тех пор как начал проникать со всех сторон свет в Россию по смерти Николая и со всех сторон явилось живое стремление к свету, все начали понимать, какую роль играет министр юстиции в старой системе противодействия всякому свету, под предлогом охранения власти и порядка».

Теперь, как видим, он заговорил по-другому и сам рвется превзойти Панина по части «противодействия всякому свету». Тоже знакомый щедринский сюжет, не правда ли? — «Вчера существовало крепостное право — я был крепостником; сегодня крепостное право отменено — я удивляюсь, как можно было дожить до настоящей вожделенной минуты и не задохнуться», — откровенничал один из героев писателя. Но ведь можно пустить эту «ленту» и в обратном направлении!?

Победоносцев демагогически провозглашал, что представитель-

ные учреждения «разобщают царя с народом» и тем подрывают основу самодержавия. И эта точка зрения восторжествовала.

«Странно слушать умных людей, которые могут *серьезно* говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма», — писал царь Победоносцеву 21 апреля 1881 года об «оппозиционных» министрах. А 29 апреля появился манифест, где говорилось о намерении Александра III утверждать и охранять самодержавную власть «для блага народного, от всяких на нее поползновений». Один за другим выходили в отставку министры, предпочитавшие более гибкую тактику, — сам Лорис-Меликов, Абаза, Милютин, Сабуров.

Зато подымали голову заведомые мракобесы, тупицы и казнокрады. В последние месяцы жизни Александра II обнаружилось колоссальное расхищение казенных земель в Уфимской губернии. «Выплыло нечто ужасное, — возмущенно писал Салтыков Анненкову. — Из 420 т[ысяч] десятин казенных оброчных статей осталось налицо только 18 десятин. Остальное все роздано... Это одно из самых крупных событий, и ужасно любопытно, успеют ли его проглотить и скомкать или же ему суждено иметь развитие». Теперь же посыпались письма в защиту «невинных»: «... все это дело... начато по повелению социалиста (!!) армянина Лориса, — писал неизвестный корреспондент Победоносцева, — защитите усмирителей бунтов и консерваторов вообще, на них все опрокинулось, не давайте их в обиду, пусть царь своим могучим: «оставьте моих верных слуг в покое» воротит защитникам своим и, следовательно, всем порядочным людям потерянную ими смелость...»

Убийство Александра II многим «верным слугам» помогло поправить свои дела: так, Каткову удалось замять неприятнейшее обвинение в присвоении той части доходов с «Московских ведомостей», которая причиталась их официальному издателю — университету.

Недаром Щедрин рисовал следующую картину времяпрепровождения «убитых горем» консерваторов: «Шумели, пили водку, потирали руки, проектировали меры по части упразднения человеческого рода, писали вопросные пункты, проклинали совесть, правду, честь, проливали веселые крокодиловы слезы...»

— Довольно кокетничать с так называемыми либералами, пора замазать им рот... Не забудьте, что застенчивость войска сгубила Людовика XVI!

— По-нашему, все эти «балаганных дел мастера» изменники: Кони, председатель, судивший Засулич, Александров, защищавший ее, прокурор, столь осторожно обвинявший ее, присяжные, оправдавшие ее...

— Необходимо принять меры, и меры строгие, чтобы публицисты не мутили воду и не бунтовали и без того взволнованную страну.

— Ежели вы хотите порядка и спокойствия, то теперь на вре-

мя по крайней мере система нашего управления должна быть: цыц, молчать, не сметь, смирно!

— Я просил бы правительство познакомиться хорошенько с профессорами, много между этими господами сволочи, сбивающей сыновей наших с истинного пути.

Таковы были отдельные голоса, вырывавшиеся из угрожающего гула и укреплявшие царя в его намерении не только расправиться с революционерами, но и приструнить «гнилую» интеллигенцию, как он выразился в разговоре с женой И. С. Аксакова, высказывая сочувствие идеям ее мужа.

— У них нет ничего общего с народом, — со старательностью тупого ученика повторяет царь мысль Победоносцева. И Д. А. Милютин записывает в дневник, что намеченная новым правительством программа — это «реакция под маскою народности и православия».

Злые языки утверждали, что в составлении манифеста 29 апреля принимал участие Катков. И идея противопоставления «здорового» народа «гнилой» интеллигенции тоже вычитана из «Московских ведомостей».

«Вот в «Ведомостях» справедливо пишут, — довольно ораторствовал в «Убежище Монрепо» становой Грацианов, — вся наша интеллигенция — фальшь одна, а настоящий-то государственный смысл в Москве в Охотном ряду обретается. Там, дескать, с основания России не чищено, так сколько одной благонадежности накопилось!»

Охотнорядские молодцы, петербургские приказчики, уже неоднократно натравливаемые полицией на революционных демонстрантов, — вот кто в первую очередь призывается как представители народа.

Не исключено, что реакция попытается сыграть и на вековом невежестве более широких масс, размышлял Щедрин. Явно имея в виду разглагольствования манифестов и верноподданнической публицистики о близости царя к народу, он утверждает, что «тут речь идет совсем не об единении, а о том, чтоб сделать из народа орудие известных личных расчетов».

Сменивший Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел Н. П. Игнатьев вел так называемую «народную политику», потворствуя самым темным инстинктам несознательной массы. В эту пору новым преследованиям подвергается интеллигенция, а на юге России прокатывается волна еврейских погромов.

Необычайно тяжело переживает Салтыков народную доверчивость, легкость, с какой толкают темную массу и на шовинистические выходки и на преследование интеллигенции. Появление «Торжествующей свиньи», которая приснилась рассказчику в «За рубежом», — одна из самых мрачных щедринских страниц. Она явственно перекликается со сценой избиения лодочника полицейским при полном одобрении толпы. Но на этот раз жертвой становится уже не робкий обыватель, а сама Правда. Допрос свиньей Правды, которая изобличается в «лжеучениях» и «измене», идет под

непрекращающийся одобрительный гогот публики: «В одно мгновенье ока Правда была опутана целою сетью дурацки-предательских подвохов, причем всякая попытка распутать эту сеть встречалась чавканьем свиньи и грохотом толпы: давай, братцы, ее своим судом судить... народным!!»

Сон это или в самом деле явь? Не так же ли, как слово «народный», искажено до неузнаваемости, передернуто какой-то человеконенавистнической гримасой и лицо народа, в которое с такой надеждой всматривались лучшие люди России?

Утешает ли история? — задавал себе вопрос Щедрин еще в первую пору реакции, в 1864 году. Теперь он снова возвращается к нему, с болью размышляя о тягостном положении «среднего человека», тянущегося к высоким идеалам, но не всегда способного к героическому самоотвержению и к удовлетворению неминуемым торжеством их... в будущем. «...встречаются поколения, — мрачно размышляет сатирик, — которые нарождаются при начале битья, а сходят со сцены, когда битье подходит к концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой иронией должен звучать для этих поколений вопрос об исторических утешениях!» Вокруг Щедрина — сплошь такие поколения, и он сам принадлежит к одному из них.

Это горькое прозрение может обернуться общественной деморализацией, апатией, стремлением к тому, чтобы уберечься хоть самому. И вот когда раскрывается смысл первых же слов, какими открывается «За рубежом»: «Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу самосохранения». Культ самосохранения, казалось бы, продиктован «среднему человеку», оправдан всей окружающей его обстановкой. Но это гибель, и не только для него самого, но и для всего общества, к которому он принадлежит.

Поэтому, когда рассказчик возвращается домой, в Россию, «облака густыми массами неслись в вышине, суля впереди целую перспективу ненастных дней». А при переезде через границу — нежданная встреча: бывший «мальчик без штанов», служащий теперь на железной дороге и получивший штаны от Разуваева. Рассказчик, естественно, поражен, когда мальчик, прежде говоривший, что русский буржуа, Колупаев, ему надоел, оказывается его послушным подчиненным, и пристает к нему с расспросами. Но оделенный штанами мальчик не приобрел вместе с ними послушливости своего немецкого собрата. Он отделывается молчанием и немногословными, почти загадочными ответами. Когда-то в ответ на упрек русского мальчика, что немецкий продал своему господину Гехту, немецкому Колупаеву, душу за грош, последовал обиженный ответ: «Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали». Теперь рассказчику не терпится понять, что изменилось в отношениях мальчика с колупаевыми и разуваевыми.

«— По контракту? — спрашиваю.

— Не иначе, что так.

— Крепче?

— Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.

— Значит, даже надежнее, чем у «мальчика в штанах»?

— Пожалуй, что так.

— А как же теперь насчет Разуваева? помните, хвастались?»

Мальчик безмолвствует и лишь потом на новый вопрос, действительно ли за последнее время на «мальчиков» мода пошла, отвечает: «На нас, сударь, завсегда мода. Потому господину Разуваеву без нас невозможно».

Совестится ли мальчик своей былой самоуверенности?

Или он так же не пускает постороннего в свою душу, как парижские рабочие, с которыми не удалось свести знакомство рассказчику, но которые, по его догадке, «прикапливают» враждебность против буржуа?

«Я понимаю очень хорошо, что, с появлением солнечного луча, призраки должны исчезнуть, — писал Щедрин в «Круглом годе», — но, увы! Я не знаю, когда этот солнечный луч появится».

И сам писатель видел впереди лишь долгую вереницу ненастных дней.



«А что вы тут делаете, добрые люди? Что за сборище такое?» М. Е. Салтыков-Щедрин «Письма к тётеньке»

XI

Еще при жизни Александра II состоялась выставка картин художника Верещагина, которой царь остался крайне недоволен. «Действительно, — сокрушался Д. А. Милютин, — Верещагин, неоспоримо талантливый художник, имеет странную наклонность выбирать сюжеты для своих картин самые непривлекательные; изображать только неприглядную сторону жизни и, вдобавок, придавать своим картинам надписи в виде ядовитых эпиграмм...»

Однако «ужасы», изображенные на полотнах Верещагина, кажутся вымученными плодами бедного воображения по сравнению с теми картинами, которые «выставлял» Щедрин в своих произведениях 70—80-х годов.

Летом 1881 года Щедрин жил в Висбадене. Временами к

нему спускался занимавший бельэтаж в том же доме граф Лорис-Меликов, чтобы поделиться полученными из России новостями и позлословить о промахах своих бывших коллег или «новичков». После одного из таких разговоров Михаил Евграфович тут же уселся за стол.

«Сегодня Лорис-Мел[иков] сообщил мне следующее, — писал он Белоголовому. — В Петербурге, под покровительством в[еликого] кн[язя] Владимира Алекс[андровича] учреждена Дружина спасения, цель которой есть исследование и истребление нигилизма, не останавливаясь даже перед *устранением* таких личностей, как Гартман, Кропоткин и т. п. Дружина организована в виде тайного общества, но с субсидией от государя, *пятерками,* так что одна пятерка не знает другую, но все повинуются известному лозунгу. Пятерки эти рассеялись и за границей...»

Адресат для письма был выбран не случайно: Белоголовый был дружен с Лавровым и многими другими революционными эмигрантами, которым теперь угрожала опасность. Впоследствии Салтыков еще раз предупредил Белоголового о замысле «Священной дружины» (как называлось тайное аристократическое общество) убить Кропоткина и французского журналиста Анри Рошфора руками нанятого дуэлянта.

В это время сатирик писал «Письма к тетеньке». Тетенька — это интеллигенция, которой реакционеры в новой обстановке ставят в счет все ее прежние «бредни». В третье письмо Салтыков смело ввел намек на деятельность «Священной дружины», фигурирующей у него под названием «Общество частной инициативы спасения». Выслушав хвастовство сделавшегося охранителем Ноздрева, рассказчик заподозрил, что «за фантастическими формами, в которые он облек свой рассказ, скрывается какое-то ядро, которое было бы нелишне раскусить. Раскусить и, разумеется, сейчас же выплюнуть». Оказывается, что в трактире, где произошел разговор с Ноздревым, значительная часть прислуги — переодетые члены «Общества частной инициативы спасения». Под флагом спасения отечества орудуют тупые Амалат-беки, придворные и растленные проходимцы.

Даже будущий видный деятель царского правительства, С. Ю. Витте, который один из первых предложил создать это тайное общество, вскоре убедился, что «туда направилась всякая дрянь, которая на этом желала сделать себе карьеру». Таков именно у Щедрина шулер Расплюев: став на «стезю благонамеренности», этот герой из комедии Сухово-Кобылина делается теперь статским советником. Он цинично выбалтывает рассказчику всю незамысловатую механику действий «общества»: «Заведем по всем городам агентов оздоровления, да и объявим под рукою на премию: кто связанного либерала представит — тому приличное вознаграждение, а кто с либералом потихоньку на свой риск обойдется — тому против первого вдвое».

Белоголовый усомнился в верности сведений, полученных Лорис-Меликовым. «А между тем, — возражал ему сатирик, — чита-

ли ли Вы в «Порядке» (газета М. М. Стасюлевича. — *А. Т.*) об учреждении в Симбирске тайного общества, выдающего 100 р. за каждого превратного толкователя? Разве это не то же самое?»

«В Симбирске уже образовалось «тайное общество» именно в расплюевском роде! — пишет Щедрин «тетеньке». — Состоит оно, очевидно, из местных Амалат-беков...»

Действительно, в подобных проектах в то время недостатка не было, «...главные деятели Драгоманов (известный либерал. — *А. Т.*), Лавров и им подобные злодеи, даже известные иноземные социалисты, должны погибнуть, — требовал один «патриот», — это необходимо для спокойствия не только русского царя и русского народа, но необходимо для спокойствия всего мира, избиение же их в Цюрихе, Париже, Лондоне и других местах может быть очень легко произведено деньгами и помощью искусных людей, преданных делу».

Можно себе представить, какой переполох произвело третье из «Писем к тетеньке», когда оно попало в цензуру!

Салтыков получил приглашение явиться к министру внутренних дел. Граф Игнатьев принял его со своей неизменной сладкой улыбкой и сообщил, что он давал читать «Письмо» царю, который, дескать, ничего против содержания оного не имеет, но согласился с цензурным комитетом, посчитавшим печатание этого письма несвоевременным.

Салтыкову пришлось отказаться от мысли печатать и следующее «Письмо», тесно связанное с запрещенным, и писать оба заново, «...ежели я желаю переписываться с родственниками, — саркастически замечал он в новой редакции третьего письма, — то должен писать так, чтобы мои письма заслуживали вручения».

Мрачен пейзаж Петербурга, нарисованный в этих письмах. Уже первые впечатления человека, только что вернувшегося из-за границы, достаточно колоритны: «Едем: на улицах чуть брезжит, сверху изморозь, лошади едва ногами перебирают, кнут так и стучит по крышке кареты». Прохожие, если у них книжка под мышкой, выглядят робкими. По вечерам поражает обилие неосвещенных окон: то ли торопятся пораньше спать залечь, то ли пытаются шторами отгородиться от улицы, от торжествующей ябеды, готовой со злорадным любопытством огорошить даже компанию невинных картежников ехидным вопросом: «А что вы тут делаете, добрые люди? Что за сборище такое?» Даже упавший за стеной цветочный горшок приводит в трепет.

А на улице, в газетах, повсюду — тучи мерзавцев, играющих, как комары при благоприятной погоде: «Зашел я в трактир закусить, взял кусок кулебяки и спросил рюмку джина. И вдруг сбоку голос: «А наше отечественное, русское... стало быть, презираете?»... Однако покуда молчу. А «мерзавец» между тем продолжает: «Ныне все так: пропаганды проповедуют да иностранные образцы вводить хотят...»

Даже под семейным кровом нет спасения от «веяний» современности: «...намеднись как-то начал я, по обыкновению, фрон-

дировать, а он вдруг: вы, папенька, на будущее время об известных предметах при мне выражайтесь осторожнее, потому что я, по обязанности, не имею права оставлять подобные превратные суждения без последствий», — рассказывает отец прокурора Сенички.

«В такое время, во всяком обществе, которое не имеет совершенно интимного характера, надо как можно менее говорить обо всем том, что не подсказывается вам вашими прямыми обязанностями, что я и делаю».

Последние слова могут тоже показаться цитатой из «Писем к тетеньке». Однако это отрывок из написанного годом позже письма одного из царских министров — М. Н. Островского, вовсе не склонного к сатирическим преувеличениям.

Еще в середине 60-х годов, в первую пору реакции, Герцену мерещилась встающая из гроба николаевщина. Но мертвецы редко возвращаются в своем прежнем обличье. Чаще они поступают как упыри, стремясь придать себе видимость живых и вызвать румянец на провалившихся щеках. Щедрин зорко подметил одно из орудий реакции — умение примоститься к «хорошему слову» и извратить его смысл.

Лгун-паша, как прозвали графа Игнатьева турки в бытность его послом в Константинополе, и в министерстве внутренних дел остается Хлестаковым, жаждущим всех очаровать, всем понравиться, всех отуманить. Он обещает, обещает, обещает — направо и налево. Он обещает, что правительство «примет безотлагательные меры, чтобы установить правильные способы, которые обеспечивали бы наибольший успех живому участию местных деятелей в деле исполнения высочайших предначертаний». Он обещает, что правительство позаботится о сложении недоимок с крестьян: дайте только управиться с крамолой! Он носится с идеей о земских соборах, поддерживая Ивана Аксакова в его призывах создать «самоуправляющуюся местно землю с самодержавным царем во главе», созывает в Петербург выборных земских «сведущих людей».

В «Письмах к тетеньке» Щедрин ясно доказывает, что под видом «народа», «земства» к власти стремится подобраться реакционное дворянство, маскирующееся ныне либерально звучащим термином «содействие». Видимость «выборности», «демократического» происхождения этих возможных будущих хозяев России кажется ему очень опасной. Дракин (псевдоним земца) пойдет по тому же пути, что и прежний царский бюрократ Сквозник-Дмухановский, и даже превзойдет его своими подвигами, но будет представляться народным избранником.

«И жаловаться на него я не могу, — представляет себе эту перспективу сатирик, — потому что, прежде чем я разину рот, мне уже говорят: ну что, старичок! поди, теперь у вас не житье, а масленица! Смотришь, ан у меня при таком приветствии и язык пресекся. Никогда я его не излюблял, а мне говорят: излюбил! Никогда я его не выбирал, а только шары клал, а мне говорят: выбрал!» В этом замечательном отрывке содержится глубокая

мысль о том, что даже внешне демократические формы могут превратиться в обман народа и насилие над ним.

Но царизму даже игнатьевская «народная политика» казалась либерализмом; даже эти «холостые выстрелы», как метко определил политику «лгун-паши» Д. А. Милютин, казались Александру III и его вдохновителям опасной, разрушительной канонадой.

Игнатьев увлекался своей ролью и был по-своему искренен, как Хлестаков. «Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал, как птица поет, как собака лает, лгал на каждом шагу, без малейшей нужды и расчета, даже во вред самому себе», — писал об Игнатьеве современник. И все это знали. Почему же терпели на посту министра-лгуна? Он был нужен. Это не он лгал, это лгал его устами сам царизм, колеблясь, не пора ли выпустить на сцену нового актера.

Однажды утром Михайловский и Кривенко, принимавшие в редакции посетительницу, услышали тяжелую и торопливую поступь Салтыкова, сопровождавшуюся звуками, более всего походившими на разъяренное рычание раненого льва. Михаил Евграфович появился в дверях с «Правительственным вестником» в руках.

— Читали? Читали? — спросил он, не здороваясь. Высочайшее повеление о назначении министром внутренних дел графа Д. А. Толстого привело его в неистовство, хотя совершалось только то, что предчувствовал он в «За рубежом»:

«Разве не бывало примеров, что и в оставленных храмах вновь раздавались урчания авгуров, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать алмазными очами?»

— Как, — кричал Салтыков, — этого тюремщика, который дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет?! Да он теперь всю Россию в кандалы закует! Только как бы им не проиграться!

Невидящим взглядом глядел он на женщину, с которой разговаривали его сотрудники, и не знал, что через три дня эта народоволка (А. П. Корба) будет арестована и как одно из последних впечатлений унесет с собой «во глубину сибирских руд» его страстное и грозное пророчество.

В «Современной идиллии» сатирик сделал намек на возможность катастрофы, к которой придет правительство, вступив на путь реакции. Напомнив библейский рассказ о гибели фараона в Красном море, Щедрин пояснил его: «Старожилы рассказывают, что в старину здесь, полевее, брод был, а фараон ошибся, взял вправо, да так с колесницей и ухнул».

«Теперь надо писать о светопреставлении», — сообщает он Белоголовому, рассказывая, что собирается кончить «Современную идиллию».

Возвращение к книге, начатой еще в 1877—1878 годах, продиктовано тем, что «фараонова колесница» самодержавия, в свою очередь, вернулась на путь, каким она следовала до «диктатуры сердца», и упрямо двинулась по нему, все больше увязая в грязи

и крови. Не случайно этот своеобразный сатирический роман Щедрина как бы вбирает в себя многие образы и мотивы, звучавшие в «Убежище Монрепо», в «Круглом годе», «За рубежом», написанных на рубеже двух десятилетий.

Благонамеренное негодяйство все бесстыднее вторгается в жизнь «средних» людей, запрашивая с них все более высокую цену за относительное спокойствие. Уже мало простого устранения от, какой-либо деятельности, в которой можно было бы подозревать хотя бы отдаленное подобие неблагонамеренности. Воздержание от участия в ликованье торжествующей свиньи уже становится подозрительным. Отсутствие каких бы то ни было предосудительных поступков не является оправданием, ибо настает черед «сердцеведения».

Исправник Колотов в «Благонамеренных речах» намерен «ожидать поступков», не полагаясь на одни добровольные доносы; Алексей Степанович Молчалин тоже еще «снисходителен» по сравнению со становым Грациановым («Убежище Монрепо»), который уже «всенепременно» собирается читать в сердцах, и с квартальным Иваном Тимофеевичем и его подручными («Современная идиллия»).

Во многих произведениях Щедрина этих лет («В среде умеренности и аккуратности», «Круглый год», «Письма к тетеньке», «Современная идиллия») действуют рассказчик и Глумов.

Отношения рассказчика с Глумовым с точки зрения внешнего правдоподобия мотивированы старой дружбой, общими воспоминаниями о пережитом времени недолгого общественного подъема, а ныне общими... тревогами. Многие их разговоры необычайно типичны для тогдашних треволнений петербургской интеллигенции. Вот к рассказчику, который уже три дня «лежит во чреве» (то есть трепещет в ожидании исхода цензурного просмотра журнала), является Глумов:

«— Да, брат, видно, быть бычку на веревочке! — сразу огорошил он меня, войдя в кабинет.

— Что? Что такое? разве что-нибудь слышно? — встрепенулся я.

— Как не слыхать! слухом земля полнится! Да, брат, нельзя! Нельзя, мой друг, таким образом... невозможно!

— Что такое случилось? Говори, сделай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... Да и напроказничали же вы, должно быть!»

Глумов шутит, но это горькая шутка, могущая завтра же оказаться правдой.

«Представьте себе, — писал Салтыков Елисееву из Парижа, где он находился вместе с редактором либерального «Вестника Европы» Стасюлевичем, — Пыпин (соредактор Стасюлевича. — *А. Т.*) телеграфировал сюда приблизительно следующее: произошло у нас нечто, о чем Вы узнаете из письма... С тех пор добрый Стасюлевич лишился сна, а отчасти лишил и меня такового... А так как мы третьего дня с ним обедали и он именно за обедом

сообщил нам о телеграмме, то я, разумеется, старался уверить его, что, судя по обертке сентябрьской книжки, он ничего, кроме плахи, заслуживать не может. И он поверил».

Салтыков здесь сам разыгрывает роль Глумова, причем можно смело утверждать, что Стасюлевич вел себя в точности, как рассказчик в приведенном отрывке: «как истинный либерал оглашал стены кабинета возгласами: «за что же, господи! за что»? И было бы вполне правомерно заподозрить, уж не этот ли случай лег в основу разговора рассказчика с Глумовым, если бы последний не появился в печати еще в 1875 году, в то время как эпизод со Стасюлевичем относится к 1880 году.

Закадычная дружба щедринских героев, привыкших понимать друг друга с полуслова, в какой-то степени объясняет нам характер их разговоров, когда собеседники угадывают даже не высказанные вслух мысли:

«Глумов словно отгадал мои намерения», — читаем мы, например, в «Письмах к тетеньке». И все-таки некоторые эпизоды могут показаться нарочитыми, происходящими «по щучьему велению, по моему хотению»: «Не успел я мысленно произнести имя Глумова, как почувствовал, что кто-то берет меня за локоть. Оглянулся — он!» «Едва Положилов успел посетовать, что между нами нет Глумова, как в столовой раздался его голос!» («В среде умеренности и аккуратности»).

Однако это почти сказочное появление вполне отвечает истинной логике щедринского повествования, которую сатирик откровенно обнажил в одной из «Недоконченных бесед», «...ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль, — говорит Глумов рассказчику. — ...Ну, так смотри же, сколько ты обходов должен был сделать, чтобы пустить в ход эту совершенно простую мысль... Во-первых, ты должен был затеять статью в печатный лист, тогда как все дело ясно из пяти-шести строк; во-вторых, ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует, и пр.».

Действительно, споры и беседы рассказчика с Глумовым часто персонифицируют авторские раздумья. И дело здесь не просто в необходимости вуалировать ту или иную «предосудительную» мысль, приписав ее «безответственному» персонажу («это все Глумов напутал»), а и в желании Щедрина воплотить живую диалектику мысли и чувства, ищущих выхода из жизненных противоречий. Отдаленным «предком» подобного «диалогического монолога», если позволительно употребить этот парадоксальный термин, является беседа «надворного советника» Щедрина с Буеракиным в «Губернских очерках», в которой последний изобличает иллюзии своего собеседника о возможности «всех блох переловить», то есть ликвидировать злоупотребления царской администрации, не затрагивая самих основ ее существования.

Своеобразие сатирической пары рассказчик — Глумов, в обрисовке которой причудливо сочетаются реалистическое правдоподобие и явная условность, придает повествованию особый характер

и вполне гармонирует с тем головокружительным полетом фантазии, которым отличается в особенности «Современная идиллия».

Щедрин решил выставить всю позорность несомненного торжества реакции, всю кощунственность ее триумфа и живо представить бесцельность, крайнюю унизительность каких-либо попыток моральных компромиссов с наступающим мракобесием, продемонстрировав их естественные последствия. С необычайной изобретательностью пользуется он красками, поставляемыми ему жизнью, используя их в самом разнообразном смешении с вымыслом.

В «Круглом годе» описаны чествования, которым подвергается по приезде в Петербург племянник рассказчика — Сашенька Ненарочный, ставший после недолгого увлечения «пропагандами» доносчиком. Этот юноша, который, «будучи высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики», становится предметом высоких почестей, пародирующих шумиху вокруг «спасителей отечества» вроде пресловутого Осипа Комиссарова.

Одна из манифестаций разыгрывается в демидовском семейном саду (Демидроне, как переиначил его Щедрин), где навстречу герою дня «в предшествии околоточного надзирателя вышел содержатель сада, сопровождаемый девицами Филиппо и Салинас (обе были «на сей только раз» одеты в трико, наподобие древних статуй), и прочитал Сашеньке адрес».

Уже эта «величавая группа», где полицейский блюститель «порядка и нравственности» выступает рядом с исполнительницами скабрезных песенок, достаточно характерна. Потом Филиппо поет «патриотическую» шансонетку, посвященную... родительской экзекуции над Сашенькой, и «так выразительно хлопает себя по ляжке, что публика просто-напросто выла». Таким образом, выражение «патриотических» восторгов приравнивается к проявлению самых низменных инстинктов. Но этого мало: обнаружилось, что «девица Филиппо некогда жила в семействе Ненарочных в качестве наставницы и первая посеяла в сердце Сашеньки семена благонравия».

Пикантность выступления девицы Филиппо в качестве «воспитательницы» «патриотического» русского дворянского юношества усугублялась для тогдашних читателей тем, что незадолго до публикации очерка в Петербурге разыгралось шумное судебное дело гувернантки Маргариты Жюжан, совратившей своего воспитанника. Жюжан — и это главным образом и привлекло внимание Щедрина — написала донос на юношеский кружок.

Вслед за первой сатирической картиной триумфа доносчика возникает другая, окончательно проясняющая характер этих торжеств. На следующий день дядя с племянником отправились в зверинец:

«Увы! в Зоологическом саду нас ожидало торжество еще более умилительное, нежели в Демидроне. Едва подъехали мы к решетке сада, как единодушный и радостный рев животных и птиц возвестил нас, что мы — давножеланные здесь гости. И действительно,

совершилось нечто волшебное. Прежде всего выступил вперед громадный жираф и, от лица всех своих товарищей, приветствовал Сашеньку краткою, но прочувствованною речью... Даже гиена вильнула хвостом в знак сочувствия...»

Поцелуй девицы Филиппо, одобрение гиены, ироническая параллель обоих чествований доносчика — все это достаточно красноречиво.

Любопытно, что дядюшка-рассказчик рассматривал присутствие Сашеньки у себя в квартире как гарантию собственной благонадежности. Эта готовность на любые сделки с совестью ради самосохранения характерна для Глумова и рассказчика как следствие охватившей общество паники. Медленно, но верно опускаются в грязь люди, спасовавшие перед враждебной действительностью.

В первых строчках «Современной идиллии» рассказчик еще поражен и оскорблен новыми вынужденными уступками:

«Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин и говорит:

— Нужно, голубчик, погодить!

Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу.

Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл!»

Оказывается, даже робкие сочувствия, тайные надежды, «неумеренные» восторги по поводу реформ 60-х годов уже представляют в глазах правительства опасность. Еще в 1859 году либерал С. Громека приходил в справедливое негодование: «И за то, что мы сами верим и надеемся и возбуждаем теплую веру в других, друзья наши называют нас красными!»

Смиренные причитания Глумова пародируют эти либеральные вздохи.

Покаяния Глумова в «буйном» прошлом поведении выглядят издевательством и над умеренностью либеральных «порывов» и над угрюмой подозрительностью власти: «Ведрышко на дворе — мы радуемся, дождичек на дворе — мы и в нем милость божию усматриваем... Радуемся, надеемся, торжествуем, славословим — и вся недолга... только и слов: слава богу! дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь квартал!»

В полном ужасе от своего прошлого герои погружаются в сонное бездействие, все более и более утрачивая дар слова, потому что даже самые невинные сюжеты угрожают возможностью «превратных толкований». Как преследуемые звери, они притворились мертвыми — и до того удачно, что духовная жизнь полностью замерла в них. Это такая же «победа», о которой «мечтал» рассказчик в «Письмах к тетеньке» (то есть к интеллигенции): «Сядем по уголкам, закроем лица платками — авось не узнают. У тех, скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят... Вот было бы хорошо, как бы не узнали! Обманули... ха-ха!»

Но, увы, мало и того, что заплывшие жиром герои даже не замечают, как к ним в карты заглядывает сыщик из соседнего квартала, приглашенный в «компанию». Мало того, что их искренне радует даже гнусная полицейская похвала: «мы целый день выступали такою гордою поступью, как будто нам на смотру по целковому на водку дали».

Выяснилось, что их унылое затворничество поселило в полицейских сердцах новые тревоги.

Глумов и рассказчик мечтали отделаться тем, что просто затаятся в своей норе и будут «жить да поживать»... как премудрый пескарь из щедринской сказки, который жил — дрожал и помирал — дрожал.

Не тут-то было! Оказывается, и в норе можно заподозрить подкоп под «основы» самодержавного режима! И вот наших героев уже извлекают оттуда и обнюхивают на все лады то ли щучья, то ли волчья морда Ивана Тимофеевича, лисья — письмоводителя Прудентова и тупо-медвежья — исполнительного брандмейстера Молодкина.

Сцена «испытания мыслей» в участке написана виртуозно. Тут и неуклюжая попытка «хозяев» попригляднее приодеть фактический допрос, и отчаянные, заячьи петли, которыми ставит в тупик преследователей Глумов. «Торжество» этой изворотливости и смешно и горестно.

Смешно, потому что патетические «верноподданнические» речи Глумова хватают через край и звучат издевательством. Горестно, потому что если и удается этой словесной эквилибристикой отвести от героев тяготевшие над ними подозрения, то избавление это горше иного наказания.

Если слегка видоизменить некрасовские строки, Иван Тимофеевич «пригвождает жирным поцелуем несчастных к позорному столбу» — радушно вводит их в мир своей «внутренней политики» и даже двусмысленно представляет знакомым как своих «сотрудников». Да и в самом деле, разве не вызывается златоуст Глумов для пущей безопасности внести лепту в чудовищное творение полицейского «гения» — «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении», вызывая законную ревность Прудентова и Молодкина!

Надо заметить, что устав зло пародирует действительные законы Российской империи и таким образом как бы демонстрирует реальную жизненную канву, служащую основой для сатирических «вышивок» Щедрина.

Ради того, чтобы доказать свою лояльность по отношению к торжествующему злу, Глумов с рассказчиком готовы даже поступиться обыкновенной порядочностью — принять участие в подлоге, в лжесвидетельстве и т. д., иными словами, так вымазаться в житейской грязи, чтобы в них опять-таки никто не узнал вчерашних мнимых «посягателей на основы».

Вокруг них воцаряется атмосфера дома терпимости: она сквозит в их разговорах, в их новых друзьях. Адвокат Балалайкин

нанимает квартиру, где прежде обитали проститутки, и появляется перед гостями «в утреннем адвокатском неглиже»: «Лицо, отдохнувшее за ночь от вчерашних повреждений, дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента, что бы он ни попросил». Бывший тапер публичного дома Очищенный ныне редактирует «ассенизационно-любострастную газету» «Краса Демидрона», но, в сущности, он «тапер более, нежели когда-либо»: его газета всего лишь услужливо аккомпанирует веселью и развлечениям петербургских нуворишей, обслуживая их досуги легким, незатруднительным, щекочущим нервы чтивом (весь характер описания этой газеты, не говоря уже об упоминании среди ее сотрудников «г. Зет», то есть Буренина, свидетельствует о том, что одним из главнейших прототипов ее в числе других бульварных изданий этого рода было «Новое время» Суворина).

В довершение всего Глумов становится любовником содержанки богатого купца Парамонова — Фаинушки. «Поступив на содержание к содержанке, он сразу так украсил свой обывательский формуляр, что упразднил все промежуточные подробности», — завистливо рассуждает рассказчик, которого в это время донимают настоятельными предложениями заняться «статистикой» — то есть доносами. Его отговорки встречаются крайне неодобрительно: «То-то вот вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, да еще претендуете, чтобы она вам даром досталась!»

Глумов не оставляет приятеля в беде, и они всей компанией, прихватив Фаинушку, Парамонова, Очищенного и корреспондента «Красы Демидрона», покидают Петербург.

Однако атмосфера доноса и сыска по-прежнему преследует их. «В прошлом году, — рассказывают им в приволжском городке Корчеве, — Вздошников купец объявил: коли кто сицилиста ему предоставит — двадцать пять рублей тому человеку награды! Ну, и наловили. В ту пору у нас всякий друг дружку ловил». В этом эпизоде использован тот реальный факт, о котором говорилось в «Письмах к тетеньке»: «Воображаю, в какой восторг придет вся Симбирская губерния, прочитав этот клич! — писал тогда Салтыков. — Помещики бросят рациональное хозяйство, мужички перестанут собирать в житницы... И все поголовно примутся превратных толкователей ловить!»

Щедринские герои едут, однако, не в эту заведомо воинственно настроенную губернию, а в «либеральную» Тверскую, но тем не менее не могут избежать злоключений. Впрочем, они уже заранее деморализованы: еще в Корчеве, увидав подозрительные гороховые пальто, в которых ходили сыщики, они испытывают непреодолимый ужас при возникновении любого «скользкого» разговора. При посещении одной мещанской семьи речь зашла о возрастающей бедности, и кто-то из героев нерешительно задал вопрос, не урядники ли в этом виноваты. Внезапно таинственный голос произнес:

— Урядники да урядники... Да говорите же прямо: оттого, мол, старички, худо живется, что правового порядка нет... ха-ха!

«Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто из нас

этой фразы не произносил. В то же время мы почувствовали какое-то дуновение, как у спиритов на сеансах. И вдруг мимо нас шмыгнуло гороховое пальто и сейчас же растаяло в воздухе.

— Это не настоящее пальто... это спектр его! — шепнул мне Глумов: — внутри оно у нас... в сердцах наших... Все равно, как жаждущему вода видится, так и нам...»

Таким образом, покинув Петербург, герои увезли его с собой; преследующая их галлюцинация — всего лишь отражение гнездящегося в их душах страха, тягостной зависимости от «околоточной правды», воинственно проповедуемой торжествующей свиньей.

«Нам все мерещится за спиною квартальный», — заметил както М. В. Петрашевский. Впоследствии один из былых членов его кружка высмеял это чувство, весьма упростив его содержание. В рассказе Достоевского «Тритон» приводится мнение «известного нашего сатирика г. Щедрина»: «Он полагает, что выплывший Тритон просто-напросто переодетый или, лучше сказать, раздетый донага квартальный, отряженный... для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся».

Любопытно, что после 1 марта 1881 года жизнь «перешибла» эту гиперболу, которую сам Достоевский считал разящей сатирической стрелой. «Я сам не купаюсь, — писал Щедрин Н. А. Белоголовому из Ораниенбаума 11 августа 1882 года, — но купальщики рассказывают: купаешься — и вдруг начнет вокруг шпион нырять и политические разговоры разговаривать. И все знают этих шпионов...» Однако дело, разумеется, не в этом совпадении, и недаром Щедрин, трижды рассказавший в письмах о купающихся шпионах, ни разу не припомнил при этом насмешку Достоевского. В 1883 году была опубликована следующая заметка из записной книжки покойного писателя: «Тема сатир Щедрина это — спрятавшийся где-то квартальный, который подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя».

— Это правда, — сказал Салтыков Глебу Успенскому, — только добавить нужно: опасаюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаюсь.

Он имел в виду не только откровенно-доносительские наклонности, возникавшие и укреплявшиеся в атмосфере реакции, но и тормозящее действие опасливого представления о том, что «можно» и что «нельзя» думать, говорить, писать с точки зрения полицейского участка.

В имении рассказчика Проплеванной тоже не оказывается идиллии — и не только потому, что оно заброшено, разорено и уныло.

— Вон уж Усплень на дворе, — сообщает староста, — а мы, благослови господи, сеять-то и не зачинали!

— Что так?

— Все сицилистов ловим. Намеднись всем опчеством двое суток в лесу ночевали, искали его — ан он, каторжный, у всех на глазах убег!

По всему видно, что «каторжный» социалист столь же реален,

сколько и «спектр» горохового пальто: это плод всеобщего разгоряченного воображения и надежд поживиться вздошниковскими деньгами. И вдруг — о счастье! — вместо мифического «сицилиста» — непонятно зачем заявившийся в бывшее гнездо рассказчик с друзьями! Вскорости на столь лакомую добычу налетают ни больше, ни меньше как двенадцать урядников — хотя, может быть, число их несколько преувеличено нашими перепуганными героями. Несмотря на сердоболие и либерализм тверской администрации, путешественники возвращаются в Корчеву со связанными руками.

Не успело выясниться это недоразумение, как герои узнали, что их петербургский покровитель Иван Тимофеевич смещен за... якобинский дух, который был усмотрен в проектированном им «Уставе». Источник же якобинского духа — «вожаки революционной партии, свившей-де гнездо на Литейной». Глумов с рассказчиком с ужасом понимают, что речь идет о них.

Подобная квалификация умереннейших либералов чрезвычайно характерна для первомартовской эпохи. «Удивительное дело! — писал Салтыков Тургеневу о Стасюлевиче (11 января 1882 года). — Этот поистине средний человек прослыл чуть не за Робеспьера». Либеральная газета «Голос» именовалась в доносах «органом французской коммуны», а ее издатель А. А. Краевский, если верить добровольцам-«статистикам», «всегда был солидарен с редакцией революционных газет, издаваемых социалистами».

Как будто собственное вероятное будущее щедринских героев, развертывается перед ними заседание кашинского суда над... хворым пискарем, не донесшим начальству о преступных замыслах своих бежавших, чтобы не попасть в уху, сотоварищей. Извлеченный из тины, два года протомившийся в тарелке «подсудимый» еле жив, но главная свидетельница — лягушка, уже много лет квакающая о потрясенных основах, честит его «первым поджигателем». Увидев разинутую пасть щуки, тоже выступающей как свидетельница, пискарь тут же испускает дух со страху.

Впрочем, судьба путешественников была счастливее, хотя главное обвинение против Глумова и рассказчика было необычайно коварным и трудноотразимым: их подозревали «в тайном сочувствии к превратным толкованиям, выразившемся в тех уловках, которые мы употребляли, дабы сочувствие это ни в чем не проявилось».

Оправданные судом, щедринские герои получили лестное предложение редактировать газету владельца фабрики ситцев и миткалей Кубышкина. Участие в этой газете, которой они дали название «Словесное удобрение», — последняя ступень их падения.

Когда-то они познакомились со «странствующим полководцем» Редедей, исполнявшим обязанности метрдотеля Фаинушки. Военная карьера Редеди, ознаменованная рядом поражений, когда он выступал как «странствующий полководец», пародировала некоторые моменты биографий генералов М. Г. Черняева и Р. А. Фадеева. Положение приживала при петербургском богаче Базилевском занимал один из сподвижников Черняева — генерал Но-

воселов. Однако, как и всегда у Щедрина, конкретные факты и лица получают куда более широкое историческое осмысление. «...Пленял Редедя купеческие сердца тем, — пишет сатирик, — что задачу России на Востоке отождествлял с теми блестящими перспективами, которые, при ее осуществлении, должны открыться для плисов и миткалей первейших российских фирм».

Что же касается чествований, которые, в свою очередь, устраивают Редеде «весьегонские» (то есть русские) интеллигенты, то Щедрин прозрачно объясняет это отсутствием у них какой-либо реальной деятельности:

«Будучи от природы сжигаемы внутренним пламенем и не находя поводов для его питания в пределах Весьегонского уезда, они невольно переносили свои восторги на предприятия отдаленные, почти сказочные, и с помощью воображения успевали обмануть себя».

Трагикомизм их бескорыстного восторга состоит в том, что они смотрят на Редедю и не видят его истинного лица с глазами, которые «подергивались мечтательностью» при первом намеке на еду (деталь, характеризующая не столько личную плотоядность «странствующего полководца», сколько аппетиты поддерживающей его буржуазии). Им представляется тоже своего рода «спектр», отражающий их неясные, мечтательные упования на будущее. Недаром с их уст срывается кощунственный по отношению к Редеде возглас: «Да здравствует русский Гарибальди!»

И вот сначала Глумов вытесняет образ полководца из сердца Фаинушки, а затем оба друга начинают с не меньшим рвением, чем Редедя, защищать интересы Кубышкина: «Странным образом, заботы о благоустройстве и благочинии переплетались у нас с заботами о ситцах и миткалях... Скажу более: так как ситцы представляли кульминационный пункт, под сению которого ютились все надежды и упования «Удобрения», то, по временам, мы не прочь были даже допустить вмешательство потрясательных элементов, лишь бы пристроить ситцы». Лишь бы пристроить ситцы! — вот побудительный мотив и «благородной» внешней политики и эпизодических «либеральных» веяний, проповедуемых печатью, которая, осознанно или неосознанно, защищала интересы разноименных Кубышкиных, или, точнее, многоликого Кубышкина — капитала (характерна сама фамилия, производная от «кубышки» — копилки).

Только внезапное появление жгучего Стыда за все содеянное прерывает подвиги героев на охранительный стезе. Однако это моральное торжество человеческих начал еще не знаменует никакого перелома в самой действительности. «Что было дальше? к какому мы пришли выходу? — пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые, от времени до времени, прорывались среди масс Бесстыжества, а

затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа» — так заканчивает Щедрин свою книгу.

Задумываешься: что же все-таки хотел сказать сатирик этим кратким заключением? Когда «изнуренные, обруганные и уничтоженные» глуповцы впервые устыдились своего положения при Угрюм-Бурчееве, это стало рубежом их истории, началом осознания ничтожности правителя и поисков избавления. Почему же теперь Салтыков как будто колеблется признать за стыдом эту революционизирующую силу? Потому ли, что, как думали некоторые критики, он не хотел солидаризироваться с моралистической концепцией преобразования общества, к которой пришел тогда Лев Толстой? Или десятилетие, миновавшее после появления «Истории одного города», изобиловавшее неудачными попытками пробудить спящего богатыря — народ, подточило его надежды?

Но, как это часто бывает у Щедрина, его сатира перерастает свои конкретно-исторические рамки. Прав был позднейший исследователь его творчества, когда писал о «Современной идиллии»: «Автор так глубоко проник в подоплеку реакционной политики, так метко обозначил ее родовые признаки, что, когда перечитываешь страницы сатиры, впечатление о ее национально-исторической приуроченности словно исчезает».

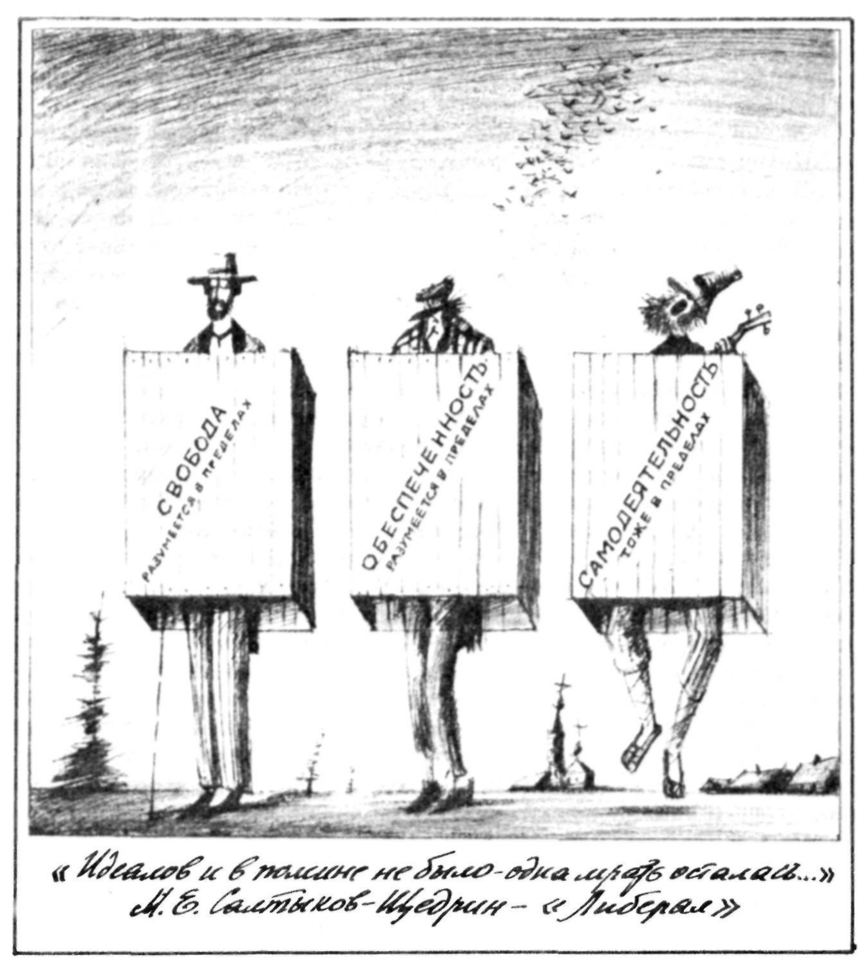
Уже современник — П. В. Анненков — писал, что «Современная идиллия» «открывает бесконечные галереи для мысли». Нынешнему читателю этот образ, возможно, покажется несколько странным, но лишь "потому, что за минувшие с той поры десятилетия стерлось, исчезло (даже из толковых словарей) одно из значений слова «галерея», еще вполне ощутимое для проницательного Павла Васильевича: подземные ходы в рудниках и при осадных операциях против вражеских крепостей.

И если сам Щедрин был среди тех, кто десятилетиями упорно и отчаянно штурмовал твердыни, казавшиеся еще неприступными, то проложенные им минные галереи (был и такой термин!) уходили куда дальше, угрожая уже тем бастионам и фортам, которые еще только будут лихорадочно сооружаться потомками его противников, защитниками обреченных крепостей. (Легко, однако, написать: «обреченных». Скоро сказка сказывается...).

Человечеству приходится порой сталкиваться с тем, что в новейшей истории воскресают такие явления, которые казались исключительным достоянием прошлого.

«Мертвецы, может быть, и не все... а именно те, которые неглубоко и плохо зарыты, по временам точно выходят из своих могил... и притом непременно в темные ночи — в ночи светлые они не выходят», — писала одна провинциальная газета в шестидесятых годах.

Эти наивные, если говорить о подлинных мертвецах, строки нередко оказываются справедливыми по отношению к истории.



XII

Возможно ли, что еще несколько лет назад Салтыков был похож в журнальной упряжке на молодого коня?

Люди, которые долго не виделись с Михаилом Евграфовичем, были в ужасе от происшедшей с ним перемены. Вместо подвижного, оживленного, хотя и желчного, человека они видели старика, «кандидата на могилу», как с ужасом записала в дневник одна из его знакомых.

Одышка, изнурительный кашель, участившиеся нервные припадки временами совершенно обессиливали больного. Даже сидя на стуле, он дышал так, как будто в гору подымался.

Необычайная мнительность делала состояние Салтыкова особенно тяжелым. Перед его глазами вставали картины близкой

смерти или — еще того хуже! — полной своей беспомощности, нищеты, злых попреков жены.

Он глотал массу лекарств и выпрашивал у докторов всё новые в несбыточной надежде, что они ему помогут.

Жалобы на болезнь занимали все больше и больше места в его разговорах и письмах.

Знакомые начинали тяготиться этими монотонными беседами, а Салтыков, в свою очередь, обижался на охлаждение друзей.

Образ писателя как бы раздваивается.

В письмах и воспоминаниях людей, вхожих в салтыковскую семью, возникает фигура надоедливого, взбалмошного старика. Он докучает всем, а в особенности докторам, подробным описанием своих недугов и ворчливо жалуется на невнимание жены, детей, знакомых, публики. При этом первое же слово сочувствия может привести его в крайнее раздражение, и на собеседника обрушится буря колкостей и ругательств.

«...Вы хотите утешить Салтыкова и желали бы, чтобы ваши утешения были доведены до его сведения, — писал Белоголовый Лаврову в 80-х годах. — Очевидно, вы знаете того идеального Салтыкова, которого создали в воображении, я же, зная его au naturel[1], могу вас уверить, что на такие утешения он только рассердится и закричит: «а какое мне дело, что на Луне самого превосходного мнения о моей деятельности?»

Совсем иным представал Салтыков с пером в руках, Салтыков — писатель и журналист.

— Ну, этот бывало... — вспоминал современник (притом отнюдь не радикально настроенный!). — Вот новая книжка «Отечественных записок», и, смотришь, целый угол какой-нибудь святыни-гадости старого уклада нашей жизни отвалился, как его и не бывало.

Гипербола, разумеется, — но весьма характерная!

«Знаете, что мне иногда кажется, — говорил в мае 1881 года Тургенев Кривенко: — Что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он».

На его плечи ложились все новые заботы. В конце 1881 года тяжело заболел Г. З. Елисеев, и врачи на несколько лет отправили его за границу.

По существовавшему соглашению его участие в доходах от издания журнала должно было бы уменьшиться. Но Салтыков рассудил иначе.

«Было бы несправедливо и даже бесчестно что-нибудь изменять», — объяснял он Елисееву несколько месяцев спустя. Несмотря на то, что Михаил Евграфович недолюбливал своего компаньона, он все оставил по-прежнему.

А работы прибавилось немало. Михайловский и Кривенко, который стал вместо Елисеева писать внутреннее обозрение, были связаны с народовольцами и участвовали в их нелегальных

[1] В натуре (*фр.*).

изданиях. К тому же Кривенко увлекался мыслью издавать артельный журнал «Русское богатство» (а потом «Устои»). Все это мешало сотрудникам отдавать «Отечественным запискам» столько же сил, сколько вкладывал в них сам Салтыков, целиком сосредоточенный на этом своем детище.

В разговорах и переписке Салтыкова с сотрудниками часто звучали нескрываемые обида и огорчение. Действительно, львиная доля редакционной работы лежала на нем, тем более что он обладал поистине несчастной способностью взваливать на себя чужие обязанности и приходить в ужасное волнение даже по пустякам.

И, однако, его огорчение ходом дел в редакции порождалось не просто неудовольствием старого служаки тем, что молодые «манкируют» своими обязанностями, или брюзжанием тяжко больного человека, который сам чувствует, как у него портится характер. Ведь резкие выходки сочетались у Салтыкова с удивительной деликатностью и заботливостью, хотя и облеченными порою в грубоватую, лишенную всяких сантиментов форму.

«Я попросил бы Вас спросить у Новодворского (Осипович тож), сколько ему нужно денег... Он, кажется, нам совсем не должен и, вероятно, нуждается», — пишет он из Парижа Михайловскому 23 сентября 1881 года, и в следующем письме (28 сентября): «Златовратского необходимо печатать. Ему деньги нужны». «Мне кажется, что Вы из своих книжек не извлекаете, что следует», — огорчается он житейской непрактичностью Глеба Успенского — и это в самый разгар суматохи вокруг «Писем к тетеньке» (17 октября 1881 года)! А выручив из ссылки библиографа Д. П. Сильчевского, Салтыков заботился об устройстве его денежных дел и брюзгливо выговаривал: «Вы всегда останетесь младенцем, которому нянька нужна... Тоже революционер — а сам рук ни к чему приложить не умеет...»

Но дружба дружбой, а служба службой. Сочувствуя болезни Елисеева, Салтыков тем не менее видел из переписки с ним, что, даже выздоровев, он уже не станет «прежним Елисеевым». Он очень верно понял, что бессознательно Григорий Захарович «спрятался» в свою болезнь, стал на путь того «самосохранения», о котором говорилось в «За рубежом».

«Из трех первоначальных редакторов остался только я, — писал Михаил Евграфович Белоголовому 5 декабря 1883 года. — Я всегда считался самым слабым и самым больным, а живу. Может быть, потому и живу, что не очень-то дорожу жизнью. Елисеев, впрочем, тоже живет, но какое же значение имеет его жизнь? Только со смертью борется — и больше ничего».

Салтыков решился не допускать возвращения своего былого соратника к работе в редакции. Трудно далось ему это. Порой, сжалившись над больным, Михаил Евграфович скрепя сердце уверял Елисеева, что не мыслит себе журнала без его участия. В июле 1883 года во время заграничной поездки Салтыков пережил тяжелые часы: «Вчера сюда приехал Елисеев с супругой, —

писал он из Баден-Бадена Боровиковскому. — Сидят оба и ждут, что я скажу, что они необходимы в Петербурге. А я молчу. Наконец Катерина Павловна не вытерпливает и начинает полемизировать: «Были и мы когда-то полезны, а теперь...»

Недовольство Щедрина вызывал публицистический раздел журнала, который вел Н. К. Михайловский. Его раздражало многописание народнических публицистов Воронцова и Южакова. Первого из них уже в 1881 году сатирик уподобил «кладезю неистощимому», с годами резкость этих оценок все более возрастает. В 1884 году Салтыков называет обоих публицистов «унылыми элементами» журнала. Он иронически отмечает в письме к Г. З. Елисееву, что Южаков «теперь кончает каждую статью словами: об этом поговорим в след[ующий] раз». В устах сатирика это упоминание имело особый смысл: формула, к которой стал прибегать Южаков, настораживала его, так как была характерным присловием либеральной публицистики, помогала ей уклоняться от наиболее острых вопросов. Щедрин часто высмеивал эту ходячую фразу.

«Требуй смело, — иронизировал он в «Убежище Монрепо», — так прямо и говори: долго ли, мол, ждать? И если тебе внимают туго, или совсем не внимают, то пригрозись: об этом, дескать, мы поговорим в следующий раз...»

Если вспомнить, что в 80-х годах народники все больше склонялись к ординарному либерализму и к упованиям на правительство, то замечание Щедрина не покажется нам простой стилистической придиркой. Поэтому не только мнительностью, надо думать, было продиктовано опасение, высказанное им в письме к Белоголовому 23 февраля 1882 года:

«Вообще, около «Отеч[ественных] записок» постепенно все хиреет, а нового ничего не нарождается».

И все же журнал оставался бельмом на глазу у цензурного начальства, всегда готового придраться к любой его строке.

При свидании с Игнатьевым по поводу «Писем к тетеньке» Салтыков просил указать, в чем заключается «социалистическое направление», в котором часто обвинялись «Отечественные записки» и в печати и в цензорских докладах. Игнатьев уклонился от ясного ответа, но упомянул, что «подследственные политические беспрестанно ссылаются на статьи» из журнала.

В 1881 году во главе департамента полиции стал В. К. Плеве. Некоторые сотрудники журнала рассказывали, что он отлично знаком с произведениями сатирика. Михаил Евграфович от этой начитанности ничего хорошего для себя не ждал и не ошибся. В октябре 1882 года Плеве обратил внимание Д. А. Толстого на то, что рассказ Редеди о Зулусии явно метит в современную Россию. В свою очередь, и цензор Лебедев оценил следующие главы «Современной идиллии» как «предосудительные», а январскую книжку за 1883 год, где было опубликовано описание суда над пискарем, предложил арестовать. Но Главное управление по делам печати еще более «расщедрилось» и объявило журналу

второе предостережение, придравшись, однако, совсем к иной статье журнала.

«Мотивировка *предостережения...* сделана очень суровая, — растерянно и недоумевающе писал Салтыкову Елисеев 12 февраля 1883 года. — Видно, что автору его было наказано напрячь все силы, чтобы сочинить ужасное обвинение, из которого бы всякий малограмотный непременно убедился, что убить этот журнал необходимо для блага общего».

Не только находившийся за границей Елисеев, но и сам Салтыков не подозревали, что послужило причиной этой суровой кары. В декабре 1882 года от провокатора Сергея Дегаева полиция узнала о поездке Михайловского в Харьков к скрывавшейся там Вере Фигнер. Стало известно также, что Н. Я. Николадзе, один из авторов журнала, возил в Женеву конспиративное письмо Кривенко.

27 декабря 1882 года Михайловский был выслан в Выборг якобы за выступление на балу студентов Технологического института.

«Я об этом Елисееву не пишу — боюсь, чтоб его новый удар не хватил», — читая эти строки, доктор Белоголовый дивился, как сам-то Михаил Евграфович перенес случившееся. Действительно, и без того хворавший, Салтыков, по свидетельству Плещеева, чуть не умер от испытанного потрясения.

«Происшествие это до того меня сразило, что я жестоко заболел, и теперь пишу Вам весь в огне», — делился он даже со Львом Толстым, хотя отлично знал, что тот довольно равнодушен к событиям в журнальном мире («Неинтересно ему — вот и все»). И, упомянув о тяжелом состоянии Тургенева, Салтыков с горестным юмором заключил: «Но он, по крайней мере, собственной смертью умирает, а каково умирать на основании такой-то статьи положения об усиленной охране? А ведь, пожалуй, и этого дождаться можно».

Тучи сгущались. В самом начале января 1883 года начальником Главного управления печати стал Е. М. Феоктистов. «...Это может дать Вам меру, что ожидает нас в будущем», — лаконично заметил Салтыков, извещая об этом новогоднем сюрпризе Елисеева.

Оба понимали, к чьим советам будет почтительно прислушиваться Феоктистов.

«Десница Каткова явно распростерлась надо мною...» — прокомментировал Михаил Евграфович второе предостережение, объявленное вскоре журналу за статью Николадзе, в которой было усмотрено «восхваление одного из французских коммунаров». Салтыков же был убежден: «Николадзе, на которого ссылаются, — только для прилику; главная же цель — я».

Он не ошибался: особую неприязнь цензурного ведомства, действительно, вызвали напечатанные в январской книжке главы «Современной идиллии», описывавшие воцарившуюся повсюду атмосферу шпионства и суд над хворым пискарем: «...хотя и не

было с его стороны деятельного участия в заговоре (собратьев, не явившихся добровольно в уху. — *А. Т.*), но сие произошло не от воли его, а от воспрепятствования хворостью...»

Михаил Евграфович с печальным сарказмом сообщал знакомым, что, трезво взвесив все обстоятельства, с «отважным отчаянием» (выражение это было им почерпнуто из чьей-то рецензии) предпринимает «смелую меру» — решил вовсе «прекратить писание».

«Остаюсь твой М. Салтыков, бывший литератор», — заключил он одно из писем. В душе же терзался тем, что читатели подумают, будто он «струсил или иссяк».

А тут и знаменательный юбилей подоспел: в конце апреля исполнялось тридцать пять лет со дня ссылки в Вятку!

Несколько друзей и знакомых собрались по этому случаю торжественно отобедать. «Юбиляр» был явно тронут, хотя сумрачно острил, что сам похож на своего полудохлого пискаря и что, поскольку все его соредакторы «в разъезде» (Елисеев — за границей, Михайловский — в Выборге жизнью жуирует), ему приходится не только работать, но даже болеть за троих.

А между тем ползли слухи о новой ссылке Салтыкова.

«Может быть, и накличут, — заметил Михаил Евграфович. — Это уж почти: глас народа — глас божий», а в другом случае иронически предположил: не напоминают ли газеты «деликатно», что не мешало бы его, и в самом деле, выслать?

Вспоминалось, что подобные же слухи опередили арест Чернышевского. «Беспрестанно заходят, и к швейцару и в контору (журнала. — *А. Т.*), спрашивают, не выслан ли я. В газетах уже известие было, что я проехал через Одессу в Тифлис, а из Самары я письмо получил, что мне готовили там адрес, да не знают, *в какой уезд Пермской губернии* я сослан», — писал Салтыков Н. А. Белоголовому в мае 1883 года. В это же время, публикуя заключительные главы «Современной идиллии», он сообщает, что должен «на скорую руку свести концы с концами», и открыто обвиняет общество в пассивности при виде угрожающей журналу катастрофы:

«Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но ежели бы он напомнил мне об ответственности писателя перед читающей публикой, то я отвечу ему, что ответственность эта взаимная. По крайней мере, я совершенно искренно убежден, что в большем или меньшем понижении литературного уровня читатель играет очень существенную роль».

Отголоски невеселых размышлений о собственной судьбе слышатся и в салтыковском некрологе Тургеневу: «Но знает ли русский народ о Тургеневе? Знает ли он о Пушкине, о Гоголе? Знает ли о тех легионах менее даровитых тружеников, которых сердца истекают кровью ради него? — вот вопросы, над которыми нельзя не задуматься».

Когда последние главы «Современной идиллии», словно мощная, но лишенная возможности маневрировать армия, стали за-

стревать в цензурных тесницах, Щедрин попробовал перейти к своеобразной партизанской войне.

Еще в 1869 году он напечатал в «Отечественных записках» три сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик». Тогда это его выступление осталось эпизодом. Теперь он вернулся к сказочному жанру.

Из части «регулярной» армии, какой она была в «Современной идиллии» («Сказка о ретивом начальнике...»), сказка снова превратилась в самостоятельно действующий род литературного войска. Она казалась Щедрину наиболее «пронырливым» жанром, способным благополучно миновать параграфы цензурных инструкций и уставов; к тому же запрещение сказки (а это бывало не раз!) не влекло за собой катастрофы или тяжелых затруднений, какие испытывались в таком случае при публикации сатирических романов и циклов.

Читая щедринские сказки, меньше всего можно подумать, что обращение сатирика к этому жанру в какой-то степени вынуждено обстоятельствами. Нет в них ни натужливого стремления сделать сказочный жанр всего лишь «оберткой» для той или иной пропагандируемой мысли, чем так грешила народническая литература. Нет, наоборот, и опасливого подражания готовым образцам.

Печатая сказки отдельным изданием, Салтыков включил в книгу рассказ «Игрушечного дела людишки» (1880 год). Герой его — мастер Изуверов делает куклы, воспроизводящие реальные типы — мздоимца, мужика, чиновника-взяточника и т. п. Разговор Изуверова с рассказчиком содержал откровенные намеки на трудности, с которыми сталкивается сатирик: «Материалу покуда у нас, вашескородие, еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать», — вздыхает Изуверов. Он объясняет, что нарядил своего «мздоимца» (взяточника) в несуществующий мундир «для цензуры», и сетует: «...сколько я ни старался добродетельную куклу сделать — никак не могу!» В этом лукавом рассказе звучит вызывающая отповедь тем, кто укорял Салтыкова за пристрастие к исключительно отрицательному изображению сильных мира сего, за отсутствие среди них положительных типов. Интересно, что впоследствии во втором из «Пошехонских рассказов» автор якобы задался целью нарисовать «отрадные» типы и явления из чиновничьего быта. Однако на деле пришлось поведать еще о целом ряде злоупотреблений: добродетельных кукол из-под его пера так и не выходит!

Введение «Игрушечного дела людишек» в книгу сказок было закономерно еще и потому, что мысль о невозможности «добродетельных» поступков для волков, лис и щук составляет одну из главных тем книги. Все робкие заячьи или карасиные надежды на милосердие встречного хищника разлетаются в прах. «Бедный волк» захотел отказаться от своего образа жизни, но не может этого совершить по самой своей природе. Мотив непримиримой розни тех сил, которые олицетворены в сказках Салтыкова, звучит

очень страстно, настойчиво, противостоит лицемерию и сладенькому вранью.

Поэтому так отвратительны пустоплясы со своими приторными восхищениями изнывающим в труде Конягой; сквозь все их восторги явственно прорывается их истинное к нему отношение: «Н-но, каторжный, н-но!»

Поэтому так потрясает сердце ребенка в «Рождественской сказке» преследование правды: на нее ополчаются те самые люди, которые с умилением рассуждают о ней... пока она не посягает на то, чтобы перестроить жизнь по своим законам!

Щедринская сказка обладает высшей художественной свободой, какой — при всей разнице жанров — обладали его другие сатирические произведения — от «Истории одного города» до «Современной идиллии». Крайняя фантастичность и условность не мешают сугубому реализму и злободневнейшей конкретности лиц, фактов и деталей. Черты зверей когда горестно, а когда зло и уморительно-смешно переплетаются с картиной общественной жизни тех лет, создавая необычайный художественный эффект.

Изображаемый в щедринских сказках мир с тупыми и злобными воеводами-медведями, прожорливыми лисами и волками и вечно дрожащими зайцами живет по тем же законам, что и тогдашнее самодержавное государство.

«Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание... Нет конца работе! Работою исчерпывается весь смысл его существования...» За этой «сказкой» — горестная быль жизни миллионов русских крестьян, той истинной России, которую писатель любил «до боли сердечной». Впоследствии даже отнюдь не бывший почитателем сатирика поэт Иннокентий Анненский, иронически относившийся к его более ранним произведениям, признавал: «Но великолепен был тот же Салтыков скорбным певцом коняги...» Порою это сходство «выдумки» с будничной реальностью делается чрезвычайно разительным. Так, поведав о том, как Топтыгин 1-й спросонья чижика съел, сатирик замечает: «Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими приемами до самоубийства довел...» (Известно, что в ту пору в результате толстовских реформ в гимназиях воцарилась тягостная атмосфера отупляющей зубрежки и слежки, нередко действительно приводившая к самым трагическим последствиям.)

И совет, который дают «верному Трезору» в одноименной сказке: «Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот по-пёсьему лаять обязывается!» — тоже вполне отвечает «духу времени».

Баран, который задумался о своем положении, получает от овец кличку умника и философа, что, оказывается, на овечьем языке звучит хуже, чем моветон. Разговаривая с неосторожным карасем-идеалистом, ерш не без опаски замечает, что головель неподалеку «похаживает» и «прислушивается». Что же касается

«верного Трезора», то этот верный страж хозяйского добра ведет себя с замечательным «тактом»:

«Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, — думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!»

Это было язвительное сопоставление пафоса, который проявляла рептильная пресса в гонениях на всех инакомыслящих, с ее «застенчивостью» перед сиятельными ворами.

Многие краски, которые кажутся нам сейчас не отличимыми от общего сказочного колорита, воспринимались современниками как злободневная полемика. Так, Трезорка вдруг понял, что цепь, на которой он сидит, не просто цепь, а «нечто вроде как масонский знак. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь... сняли и купили бы новую, крепкую».

Все эти рассуждения выглядели как едкая пародия на демагогические выступления Каткова против конституционных мечтаний, «...желают наделить нас, русских подданных, политическими правами, — негодовал он, например, 12 мая 1882 года. — ...Но у нас есть политические обязанности, а это больше. В обязанностях уже заключаются права, обязанности нерушимо сопровождаются правами».

«Здравомысленный заяц» расхвастался своим привольным житьем: «Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим».

Здесь «сказочно» сконцентрировались те запуганность, приниженность, привычка к вечной оглядке, которые Салтыков с горечью наблюдал даже среди своих ближайших знакомых.

Подтрунивая над тихим, словно в воду опущенным Плещеевым, В. С. Курочкин как-то сказал, что он так и ходит расстрелянный (со времени несостоявшейся казни петрашевцев). А сам Щедрин в 1884 году писал Елисееву, что их общий знакомый Матвеев «имеет вид зайца, высматривающего, откуда его застрелят».

Усилению этих настроений в либеральном обществе соответствовало сгущение сатирических красок у Щедрина. Приятель рассказчика и Глумова Положилов «...считался в молодости передовым и крайним, и в свое время даже потерпел за свои мнения. Потерпел он не особенно много, но испугался настолько, что и доныне вздрагивает и оглядывается, когда в его присутствии произносится какая-нибудь резкость» («В среде умеренности и аккуратности»).

Эта аттестация могла бы показаться списанной с Плещеева, если бы последний, в свою очередь, не был плоть от плоти значительной части тогдашнего общества.

В цикле «Круглый год» сборище у Положиловых, где разговоры уже выродились в унылые, опасливые вздохи, описано еще более

иронически: «Поликсена Ивановна слушает это тысячекратно повторяемое междометие, и не радуется, а беспокоится, как бы из-за этого чего не вышло» (будущая присказка чеховского Беликова!). Это уже компания, совершенно готовая превратиться в заячье сборище сказок!

В образе «здравомысленного зайца» с тоской узнавали себя многие либеральные деятели, принимавшие те же предосторожности перед тем, как что-либо «осмелиться заметить» по адресу существующих порядков. А конец сказки звучал лютой насмешкой: поймав зайца, лисица предлагает ему попытаться улизнуть от нее. «Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании». И хотя косой так и не решился на какую-либо попытку убежать, но «у зайца, действительно, нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило».

В сказочной форме Щедрин продолжал здесь полемику против наводнивших тогда печать рассуждений о необходимости «дела», противопоставляемого «мечтаниям» и «бредням». Требование консервативных кругов «дело делать» означало требование отказаться от каких-либо помышлений изменить существующий порядок и удовольствоваться предоставленными начальством клочками прав. Поддержка этих же лозунгов, хотя бы в прикрашенном и приглаженном виде, либеральной интеллигенцией и известной частью вчерашних революционеров была равносильна капитуляции, отступничеству от прежних идеалов. Провозвестником этих настроений выступает героиня другой сказки — вяленая вобла. Она не устает восхищаться проделанной над ней операцией: «Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет... и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!»

Эта «добровольческая» воблушкина деятельность, пропаганда «здравых» понятий чрезвычайно на руку открытым реакционерам, которые не смогли бы одержать многих побед без ее скромного содействия. И, однако, даже это добропорядочное поведение не приносит вяленой вобле совершенной безопасности в глазах клеветников и человеконенавистников!

В 1884 году истекал срок контракта с Краевским, и Салтыков испытывал тяжкие сомнения в необходимости возобновлять его. «...Вокруг меня, умирающего, но еще живого, — писал Михаил Евграфович Белоголовому в сентябре 1883 года, — образовалась целая свистопляска самых паскудных ругательств, не предвещающая ничего доброго, ибо сигнал идет из «Моск. ведомостей», которые, по-видимому, намерены заняться мною вплотную».

Неустойчивое цензурное положение журнала, крайнее ослабление редакции, неотступная болезнь — все, казалось, понуждало сложить с себя тяжкую ношу. Однако писателю было тяжело

расстаться со своим любимым детищем и как бы сложить оружие перед хором улюлюкающих врагов.

Салтыков дорожил редакционной работой еще и потому, что она была для него надежным убежищем от непрекращавшейся семейной драмы.

«У жены моей идеалы не весьма требовательные, — грустно размышлял Михаил Евграфович. — Часть дня (большую) в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти, и чтоб дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей — много-много конфект, а в четвертой — чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех потчует, а по временам заходит в будуар и переодевается. Вот. Я боюсь, что и детей она таких же сделает...»

Вся та пустота, сосредоточенность на нарядах и блеске, которую глубоко презирал Салтыков, казалось, решила ему отомстить, прочно обосновавшись в его собственной семье.

Он извлекал из этого только одну горькую выгоду: женщина, которую он продолжал горестно любить и вместе с тем яростно ненавидел, служила ему как бы натурщицей для всех его Natali Неугодовых, «куколок», дамочек, у которых «в прошлом... декольте, в будущем — тоже декольте». Она молодилась, баловала детей, читала французские романы, порхала по магазинам. Неужели он будет коротать старость, «окруженный ласками любящей жены, которая будет с утра до вечера твердить: денег! денег! денег!»? Уж лучше в редакции помирать...

И Салтыков, который уверял, что ждет не дождется, когда же окончится этот проклятый контракт с Краевским, неожиданно продлил его еще на два года:

— По крайней мере умру на месте битвы!

В декабре 1883 года предатель Дегаев, чтобы искупить свою вину, организовал убийство Судейкина.

— Михаил Евграфович, за что же его убили-то? — спрашивал у Салтыкова знакомый земец.

— Сыщик он был.

— Да за что же его революционеры убили?

— Русским языком вам говорю: сыщик он был!

— Ах, боже мой, я слышу, что он сыщик, — да за что же...

— Ну, если вы этого не понимаете, — рявкнул Салтыков, — так я вам лучше растолковать не умею.

Он очень опасался, что это убийство снова тяжело отзовется на делах журнала. Видимо, это волнение и вызвало тяжелый припадок сердечной астмы, который приключился с ним в начале января 1884 года. По мнению врачей, жизнь Салтыкова теперь исчислялась уже не годами, а месяцами.

И волнение его не было напрасным: 3 января 1884 года был арестован Кривенко.

«...Горе Салтыкову, а с ним вместе и Отеч. запискам!» — взволнованно писал Белоголовый, который знал и о деятель-

ности Кривенко и о том, что жизнь Салтыкова висит на волоске.

Узнав о намерении Лаврова написать предисловие к переводу «Господ Головлевых», Белоголовый настойчиво отговаривает своего друга от этой затеи: «Я не утверждаю, — пишет он, — что самый факт Вашего предисловия... был бы Салтыкову неприятен, в глубине души он, может быть, был [бы] и доволен, но что он струсит, взволнуется и что сопоставление вашего имени с его может навлечь ему по теперешним временам неприятности — все это более чем вероятно — и, по моему мнению, неблагоразумно вливать последнюю каплю в его переполненную всякими неприятностями чашу догорающей жизни».

Салтыков физически чувствовал нависавшую над журналом угрозу.

Из февральской книжки были изъяты четыре его сказки, пришлось вынуть и другие — из следующей: ибо, как объяснял автор Михайловскому, «там действующим лицом является Орел, а... в февральских сказках главным образом обращено было внимание на Льва», «...ныне и Крылову запретили бы писать на эти темы», — прибавлял он. «Вероятно, минуты «Отеч. зап.» сочтены», — делился Салтыков своей тревогой с друзьями.

Когда наивно обольщавшаяся вежливостью полицейских чинов сестра Кривенко рассказывала о своих хлопотах за брата, Михаил Евграфович проницательно подмечал характерные детали ведущегося расследования. «...Жандармы удивляют ее своей прозорливостью, — писал он Н. К. Михайловскому. — Представьте себе, знают, что тогда-то она получила в конторе 100 р., а тогда-то сто семьдесят пять... «У Вас деньги есть — мы знаем». Всего хуже в этом упоминовение об Отеч. Зап. в качестве источника благ». Из посещения Главного управления по делам печати он также в феврале 1884 года вынес тревожное впечатление: «В сущности, очевидно, что у них уже все подстроено и готово».

И хотя еще в марте Феоктистов при личном свидании с Салтыковым заверял, что никаких мер против журнала без предварительного согласования с глубокоуважаемым Михаилом Евграфовичем предпринято не будет и что граф Дмитрий Андреевич никак не намерен притеснять однокашника по Лицею, — гроза разразилась.

20 апреля 1884 года «Правительственный вестник» оповестил, что совещание министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурор Святейшего синода постановили прекратить издание «Отечественных записок». Толстой, Делянов, Набоков и Победоносцев — целая компания могильщиков, из-за спины которых вдобавок выглядывали Плеве, Феоктистов, Катков!

«Некоторые органы нашей периодической печати несут на себе тяжелую ответственность за удручающие общество события последних лет, — зловеще начиналось сообщение о закрытии журнала. — Свободой, предоставленной печатному слову, пользовались они для того, чтобы проповедовать теории, находившиеся

в противоречии с основными началами государственного и общественного строя...»

Можно было подумать, что в составлении этого сообщения участвовал публицист Скоморохов, выведенный в «Пошехонских рассказах» Щедрина месяцем ранее, — до того оно походило на его рассуждения:

«Говорят о свободе совести, о праве на свободу исследования — прекрасно! Мы первые готовы защищать все эти свободы, но не там, где идет речь об *общем благе.* Ввиду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии».

Связь сотрудников «Отечественных записок» с революционерами, появление некоторых запрещенных цензурой произведений Салтыкова в нелегальной печати, само «направление этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества», — все было поставлено в счет редакции.

Сбылись худшие опасения Салтыкова.

«Мы надеемся, — писалось в студенческой прокламации, — что русское общество не будет по обыкновению равнодушно к судьбе своих защитников. Мы надеемся, что русское общество выразит свое сочувствие великому писателю-гражданину Салтыкову и его сотрудникам, свой протест и негодование русскому правительству...»

Но этот призыв потонул в общем испуганном молчании...

«Обидно следующее, — жаловался Михаил Евграфович Анненкову: — человека со связанными руками бьют, а Пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой!

...В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие, что я застрелился; третьи, что я написал сказку «Два осла» и арестован. А я сижу себе на Литейном № 62 — один-одинешенек!»

Салтыков с удвоенной энергией занимался разнообразными хлопотами, передавал своих подписчиков московскому журналу «Русская мысль», выдерживал тяжкие баталии с Краевским из-за каждой сотни рублей, которыми хотел на первое время обеспечить оставшихся без работы сотрудников, терпеливо выслушивал попреки старого выжиги, что тот мог бы еще пользоваться журналом, если бы не опрометчивость редакции.

Самое страшное было — остаться одному, ощущать тишину и вынужденную праздность. Уже не войдет метранпаж Чижов с ворохом свежих гранок, не промелькнет нескладный Плещеев, на котором и брюки-то, как на покойнике, сидят. Не надо волноваться, что Кривенко, как всегда, запаздывает с обозрением; не надо вымарывать целые абзацы из очередных южаковских «Заметок публициста».

Тихо, тихо — как в гробу.

А вот и общество откликнулось — стоял в Тверском музее бюст Салтыкова, как местного уроженца, а теперь его с испуга

куда-то убрали. Хорошо хоть Катковым не заменили. Впрочем, все еще впереди.

Он знал это заранее. «Вот отчего так трудно иметь дело с пошехонцами, — писал он месяц назад. — Нельзя надеяться на их поддержку, нельзя рассчитывать, что обращенная к ним речь будет сегодня встречена с тем же чувством, что и вчера. Вчера существовало вещее слово, к которому целые массы жадно прислушивались: сегодня — это же самое слово служит не призывным лозунгом, а сигналом к общему бегству. Да хорошо еще ежели только к бегству, а не к другой, более жестокой развязке».

Стасюлевич посочувствовал, но сотрудничать в «Вестнике Европы» пригласить до поры поостерегся. Лев Толстой, видимо, и не заметил за своими религиозными размышлениями исчезновения журнала, в котором он недавно открыл для себя «целую *новую* литературу — превосходную и искреннюю»!

А остальные, кажется, перепуганы, как будто на их глазах и в самом деле раскрыли адский заговор против государства. Велика радость читать сочувственные письма, авторы которых побоялись подписаться.

Одиночество до того тяжело, что Салтыков не выдерживает и обращается к некоторым своим знакомым с горьким упреком.

«Многоуважаемый Константин Дмитриевич! — пишет он Кавелину. — Разница между покойным Тургеневым и прочими пошехонскими литераторами (я испытал ее теперь на собственной шкуре) следующая: если бы литературного собрата постигла бы такая же непостижимость, какая, например, меня постигла, Тургенев непременно отозвался же (описка: «бы». — *А. Т.*). Прочие же пошехонские литераторы (наприм[ер], Гончаров, Кавелин, Островский, Толстой) читают небылицы в лицах и, распахнув рот, думают: как это еще нас бог спас!»

Далее следует подпись без всяких обычных учтивостей. Не письмо, а пощечина. Не удивительно, что и Кавелин и Анненков, который получил более пространное и менее суровое послание, поспешили отозваться. Но заноза в сердце у Салтыкова осталась. «Благодарю Вас за участливое письмо, которому, впрочем, — признаюсь откровенно — я придал бы еще больше цены, если б оно не было вызвано моим собственным письмом», — отвечал он Анненкову.

«Вот она, милая тетенька-то, какова», — писал Салтыков Белоголовому, сообщая о резком падении подписки на «Отечественные записки» на 1883 год. Теперь тетенька-интеллигенция еще пуще отличилась.

«Получивший от правительства удар всегда был виноват, — характеризовал либеральных пошехонцев В. Берви-Флеровский, — повторялась стереотипная, всегда одна и та же фраза: «Во всяком случае с его стороны была маленькая неосторожность».

Как-то еще при жизни Тургенева Салтыков посетовал на то,

что у него много ненавистников. «...Кто возбуждает ненависть — тот возбуждает и любовь», — утешал его уже смертельно больной Иван Сергеевич. Может быть, может быть, но ненависть так предприимчива, а любовь так бессильна!

Вдобавок Салтыков не мог совладать со своим характером. Раздраженный трусостью либеральной части общества, он — может быть, неожиданно для самого себя — выместил досаду на депутации студентов, которая пришла выразить соболезнование и глубокое уважение к направлению закрытого журнала.

— Вам мало того, что закрыли «Отечественные записки»? — кричал Салтыков ошеломленным студентам. — Вам хочется, чтобы меня сослали в каторжные работы?

Делегаты уже обратились было в бегство, когда Михаил Евграфович справился с вспышкой раздражения и удержал гостей. Он усадил их, стал втягивать в разговор, а свою выходку старался оправдать тем, что приход депутации может быть невыгодно для него истолкован властями.

Слух об этом происшествии вряд ли мог вдохновить еще кого-либо на изъявление сочувствий!

Салтыкову казалось, что у него опечатали душу.

Наступило лето, он перекочевал на дачу возле станции Сиверской и очутился с глазу на глаз с Елизаветой Аполлоновной. Она по-прежнему швыряла деньгами, будто ничего не случилось, донимала мужа пустяками.

И хоть, казалось бы, эта по-прежнему изящная, молодящаяся женщина ничем не походила на Арину Петровну Головлеву, в душе у Салтыкова шевельнулась та же тоскливая мысль, что некогда у Степана Владимировича, вернувшегося в материнское имение: «Съест!»

Дача была холодная, как ледник. Салтыков, нахохлившись, сидел под пледом.

Гости появлялись редко. Как-то приехал Гаршин. Узнав о закрытии журнала, он ощутил такое горе, как будто умер любимый им человек. Но, приехав навестить Салтыкова, как всегда, в его присутствии чувствовал себя скованно. Жаловался, что ему не пишется.

Сам Михаил Евграфович тоже брал перо в руки только для того, чтобы перемолвиться словцом со знакомыми.

«Ничего не пишу и вряд ли буду, — делился он мыслями с Михайловским. — Слишком велик переполох, и я слишком стар. Надо новую дорогу прокладывать, а это и трудно да и противно».

До Михаила Евграфовича доходили слухи, что редактору московского журнала «Русская мысль», его школьному приятелю Сергею Андреевичу Юрьеву было сделано предупреждение, чтобы он не вздумал зазывать к себе бывших сотрудников «Отечественных записок». Это выглядело правдоподобно (да так оно и было); и, как всегда, когда его что-нибудь волновало, Салтыков

не мог удержаться от того, чтобы не поверять своих тревог друзьям, кому на словах, кому в письме.

Не то чтобы Михаила Евграфовича огорчало, что ему могут помешать печататься именно в «Русской мысли». Сергей Андреевич при всей своей честности и благодушии всегда вызывал у него ироническое отношение попытками сочетать несоединимое. Когда Юрьев в 70-х годах издавал журнал «Беседа», Михаил Евграфович шутливо называл эту редакцию лабораторией, в которой происходит соединение философии с религией. Теперь же он охотно повторял выражение Г. Успенского, что «Русская мысль» похожа на телячий вагон.

Но где же все-таки печататься? После подобных слухов редакторы, пожалуй, молебны служить начнут, чтобы только опальный сатирик к ним не обращался.

«Новое время» не без злорадного торжества уже выразилось о Михайловском как о критике, сошедшем со сцены. «Может быть, и обо мне будут так же выражаться, — писал Салтыков своему недавнему соратнику, — и с полным основанием, потому что чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности».

Ему уже мерещился заговор молчания, полное забвение его как писателя. Вспоминался, прежде казавшийся смешным, разговор с приказчиком, который восхищался сочинениями юмориста Лейкина:

— Всё очень верно подмечают и, прямо сказать, цивилизации служат. Прогрессивный писатель, на каламбурном амплуа собаку съели, первоклассный сатирик, смело можно аттестовать.

— Помилуйте, вроде Щедрина?

— Не слыхали-с; с нас господина Лейкина достаточно.

Осенью Салтыков перебрался в Петербург, но одиночество, казалось, шло за ним следом.

«Из старых знакомых вижусь только с Лихачевыми и Унковскими, — пишет он Елисееву. — Из бывших сотрудников — очень редко со Скабичевским. Все остальные точно растаяли в воздухе».

Что за странность? Ведь некоторые его знакомые, напротив, полагают, что писателю никогда не оказывалось больше внимания. Может быть, это просто каприз, мнительность больного? Недаром же такой старинный приятель Салтыкова, как Унковский, признавался, что характер Михаила Евграфовича остается для него загадкой.

Конечно, при раздражительности и болезненности Салтыкова не было недостатка и в капризах и во вспышках ярости, порожденных сущими пустяками.

Быть может, прав Белоголовый, часто негодовавший на своего приятеля? «По случаю Пасхи, — пишет он, например, 13 мая 1888 года, — много наград, и в числе награжденных находятся

Боткин и Лихачев... и вообразите, это приводит в зависть М. Е. Салтыкова, — и эта зависть, по мне, неизмеримо противнее этих наград чуть не единственных его близких приятелей. Сегодня я получил от него такое злобствующее по этому поводу письмо, что читать было противно; вот бы я ему удружил, если бы сохранил это письмо для потомства...»

Что же все-таки писал Салтыков про Боткина с Лихачевым (мы можем это прочесть, ибо Белоголовый решил «удружить» своему пациенту)?

«Вероятно, теперь и тот и другой позабудут о моем грешном существовании — и недосужно, да и компрометирует. По крайней мере, я предчувствую, что так выйдет, так как Лихачев уже начал с того, что не приехал ко мне в праздник, чего прежде никогда не бывало. Такое, впрочем, уж время, что необыкновенно благоприятствует благоразумию. Выходят люди на арену деятельности и говорят: это я не для карьеры, а для общей пользы, а потом потихоньку облаживают свои делишки, зная, что никто им даже не бросит укора. Г. З. Елисеев много тут виноват с своей пошлой теорией хождения об руку с начальством».

Пусть Салтыков ошибся, и Лихачев до самой смерти сатирика не порывал с ним дружеских отношений. Пусть охлаждение Боткина к больному было в известной мере вызвано тяжелым характером Михаила Евграфовича.

Но не писал ли про Лихачева сам Н. А. Белоголовый (тоже оставаясь в весьма приятельских с ним отношениях!), что главное у него «личное честолюбие, а никак не самая (общественная. — *А. Т.*) деятельность»? Не он ли уподоблял Лихачева «карьеристу и юркому человеку» из французских политиканов — Жюлю Ферри?

Белоголовый не понял, что возмутившее его письмо вышло не только из-под пера мнительного больного, но и из-под пера сатирика. Салтыков действительно был болезненно раздражителен, но в этом случае, как и во многих других, его мнительность соседствовала с интуицией великого художника, способного, по выражению Горького, уловить политику в быту.

Недаром частный, казалось бы, факт — награждение двух знакомых — в конце концов подводит писателя к размышлению о характерном для наступившей эпохи примирении части либералов и народников с начальством,

— Салтыков делает из мухи слона, волнуется из-за пустяков! — досадовали его близкие приятели. А на самом деле в угасающем теле Салтыкова по-прежнему жил Щедрин, способный увидеть все «готовности» того или иного явления и сатирически гиперболизировать их.

Житейски он часто бывал глубоко несправедлив к Унковскому, деспотически пользуясь его мягкосердечием и глубокой привязанностью к себе. И некоторые ядовитые характеристики, которые Михаил Евграфович давал приятелю, на первый взгляд кажутся просто досадливой выходкой.

«Унковский больше всего — обедает, — ворчливо пишет Салтыков. — И с Поляковым обедает, и с Каншиным, и с Лермонтовым, а иногда и с нами, — и нигде его не тошнит. Говорят, на днях у какого-то министра завтракал... Есть термин: космополит, а Унковский — космодинатор (французское слово «дине» означает обед, обедать. — *А. Т.*)».

Можно подумать, что Салтыков до того избалован вниманием приятеля, что не может простить ему иного времяпрепровождения, кроме как «с больным сидеть и день и ночь». Попади же это письмо к Белоголовому, тот, пожалуй, снова заподозрил бы Михаила Евграфовича в зависти к тому, что Алексей Михайлович вхож в дома министров и денежных тузов. Однако заглянем в другое письмо Салтыкова:

«...Со времени упразднения «Отеч[ественных] Зап[исок]» и объявления меня опасным дураком круг знакомых мне тайных советников постепенно суживается. И, быть может, недалеко время, когда и действительные статские советники будут чуждаться меня. Совсем другое происходит относительно А. М. Унковского, который чем больше живет, тем больше заслуживает любовь тайных советников. Теперь последние отзываются о нем не иначе, как «симпатичный Унковский», точно так же как о Лихачеве: «умный Лихачев», а обо мне: «эта гадина Салтыков». И я имею слабость думать, что самое лестное прозвище все-таки выпало на мою долю».

Нет, комплименты противников по-прежнему не прельщают Салтыкова. Ему просто грустно... а может, судя по его характеру, не грустно, а зло берет, когда он видит, как даже ближайшие его знакомые, вчерашние прогрессисты, замешиваются в толпу, осаждающую «парадные подъезды» нынешних заправил.

Да, они по-прежнему его навещают, не перечат его словам, поддакивают, чтобы не раздражать больного, чтобы не вызвать обессиливающей его вспышки. А на самом деле они уже так далеко от него мыслями!

Их ждут дела, от которых зависит их положение. Семейная обстановка Салтыковых тяжела, но, по совести говоря, подчас приятелям удобно по этой причине бывать реже.

Может быть, они отчасти приходят к нему не ради него самого, а ради воспоминаний прошлого, словно на могилу своих былых убеждений. И знаки их внимания похожи на быстро вянущие цветы и венки, без которых как-то не принято являться на кладбище.

Втайне они уже похоронили его. А он был еще жив и даже тосковал по той самой журнальной работе, которая, по мнению докторов, медленно убивала его.

Он следил за судьбой своих прежних сотрудников — любимых и нелюбимых, как будто чувствуя себя виноватым в том, что они лишились «своего угла» в литературе. «Взяли бы Скабичевского для литературных обозрений — право, человек с голоду погибает...» — писал он редактору «Русских ведомостей» и ему

же рекомендовал бывшего метранпажа «Отечественных записок» Чижова. Узнав о том, что Михайловский пишет роман, Салтыков предлагает ему посредничество для переговоров с «Вестником Европы», уговаривает Стасюлевича печатать Зайончковскую, Гаршина, Фирсова, Ясинского.

Но, как ни жаждал Салтыков снова прилепиться душой к журнальному делу, он ясно сознавал, что ни одно из существующих изданий не заменит ему «Отечественных записок», «...многие заключают, что я *перешел* в «В[естник] Евр[опы]», — писал он. — Но я уверяю Вас, что я никуда не *переходил* и остаюсь на прежней квартире, хотя она и разорена».

В журнале Стасюлевича он чувствовал себя чужим, почти иностранцем. Но даже этот «крашеный гроб» и «тараканье кладбище», как в сердцах именовал сатирик «Вестник Европы», приходилось теперь ценить.

«В начале этого месяца, — сообщал Салтыков Белоголовому 27 октября 1887 года, — я написал статейку «Дети» и послал ее в «Рус[ские] вед[омости]». Оттуда мне ее возвратили, так как они при первом случае ожидают, что их совсем закроют, и хотя моя статья ничего противоцензурного не представляет, но самое имя мое противоцензурно. Я отдал статью в «Неделю», но Гайдебуров прибежал ко мне в таком трепете, что я сам уже взял ее назад».

Салтыкову приходилось искать новую дорогу не только в том смысле, что надо было найти журнал или газету, которые бы решились печатать его произведения. Он давно уже задумывал книгу довольно необычного для себя плана.

Если «Пестрые письма», которые стали появляться в «Вестнике Европы» с конца 1884 года, были написаны в традиционных для него приемах, то «Мелочи жизни» (1886—1887 годы) оказались для многих читателей неожиданностью.

Где головокружительный полет щедринской фантазии, еще недавно, в «Пестрых письмах», уносивший статского советника Передрягина к медведям, которым понадобилась конституция?

Где привычная гротескность изображения?

На этот раз краски Щедрина строги, юмор приглушен. Перед нами — огромная портретная галерея: хозяйственный мужичок, сельский священник, помещики-мироеды, светский шалопай, который дожидается выгодного места, расчетливый карьерист, чета мелких служащих, умирающий студент, адвокаты, газетчики, читатели...

Это как будто последний смотр всех героев, которые когда-либо появлялись из-под пера Салтыкова. Что дала им жизнь? Чем облагодетельствовало их «дело», воспеваемое в статьях и речах?

Когда-то, в ранней повести Салтыкова, приехавший из провинции Иван Самойлыч Мичулин, который видел от фортуны один только зад, так и умер в номерах, не добившись никакого

места. Тихо угасает в чахотке и студент Чудинов в «Мелочах жизни».

В предсмертных виденьях Иван Самойлыч представлял себя женатым на своей соседке по номерам и уже видел их будущую жизнь, голодных детей.

В жизни супругов Черезовых не возникает несколько мелодраматической ситуации, которая чудилась Мичулину; жене не приходится идти на улицу ради того, чтобы накормить мужа и детей. Но всю жизнь они проводят в вечном страхе лишиться места, заболеть, очутиться без средств к дальнейшему существованию. Они переносят свои страхи даже на едва родившегося ребенка, с ужасом провидя впереди расходы, расходы, расходы. И еще неизвестно, что страшнее: сон Мичулина или жизнь Черезовых.

Загнанное вглубь, насильственно задавленное ощущение мизерности своих жизненных целей лишь перед самой смертью всплывает в душе Черезова, усугубляя его мучения: «что мы делали? зачем жили?.. Ах, какие все пустяки!»

Умирающий Чудинов более отчетливо представляет себе, чем могла бы наполниться его жизнь; не стоило пытаться одолеть барьеры, расставленные на пути к высшему образованию: «Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает...»

Деревня, которая рисуется Чудинову как поприще деятельности, — это «деревня идеальная, так сказать, предрасположенная» к принятию знаний. Однако даже скромная сельская учительница Анна Петровна Губина, которая вряд ли помышляла о серьезном воздействии не только на крестьян, но и на своих малолетних учеников, быстро столкнулась с тем, что заведенный в деревне быт и подозрительность начальства заставят ее «влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического оцепенения». Личная драма приводит Анну Петровну к самоубийству, но если бы даже она вырвалась из этой обстановки, ее ожидала или судьба Чудинова, или — в лучшем случае — тот бессмысленный круговорот филантропических мелочей, в который попадает изверившаяся в возможности «дела» в деревне Ольга Ладогина («Христова невеста»).

«Мелочи жизни» — это суровая, трезвая, предельно объективная расшифровка туманных разглагольствований о «необходимости делать дело». Жизнь героев книги, которые смирились с предназначенными им «делами», подобна унылому хождению по кругу лошади, занятой своим однообразным трудом.

В рассказе «Портной Гришка» драматизм судьбы человека, который не видит впереди ни малейшего просвета, достигает особого накала. Его донимают всякие беды, большие и малые оскорбления, колотушки и побои; они сыплются на него со всех

сторон. А ведь в нем есть и недюжинная острота ума и тяга к любви и красоте.

В то время как многие литераторы оплакивали запущенные дворянские усадьбы, ставшие жертвой новых порядков, Салтыков нарисовал картину на первый взгляд довольно парадоксальную. «Обиженный» тягой дворовых на волю, помещик учинил в своей усадьбе форменный погром: «...какие были «заведения» — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — все собственной рукой сжег! — ужасается Гришка. — Не доставайся, говорит, ни черту, ни дьяволу!» И когда много лет спустя Гришка оказывается на старом пепелище, именно он испытывает ту поэтическую грусть, которая якобы была свойственна только утонченным дворянским натурам: «...в саду — и не вышел бы! Кусты, кусты, кусты — так и обступили со всех сторон... И на дорожках, и на клумбах — везде все в один большущий куст сплелось! И сирень тут, и вишенье, и акация, и тополь! И весь этот куст большущий поет и стрекочет!»

Не противоречит ли это сказке о Коняге, где писатель утверждал, что последний видит в поле не раздолье, поэзию, простор, а кабалу, и в природе вообще — «бич и истязанье»? Конечно, нет, ибо глаза Коняги просто слишком залиты п*о*том и слезами, чтобы что-либо различать во все время его тягостной маеты, а совсем не от рождения лишены способности любоваться окружающей его ширью.

Ведь и Гришкины глаза скоро застилает тяжкая обида на жизнь, на обманутую любовь — скорее даже не любовь, а острую жалость к истерзанным стиркой рукам его Феклиньи.

Узнав о том, что жена «гуляет», он какое-то время пытается надеть на себя маску циника и гаера. Примечательно, что именно в эту пору ему живется проще всего: за его грязные выходки на него льются двугривенные, ему охотно дают заказы.

— За что ласкаете, ваше степенство? — благодарит Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселых! А то кукситcя человек, сам не знает чего! — одобрительно ответствует купец Поваляев.

Это купеческое рассуждение — совершенно в духе времени, когда унылость уже считалась признаком неблагонамеренности. «Спрос нынче на газетные ликования большой, — иронизировал Щедрин в «Пестрых письмах». — И сверху, и снизу, и с боков только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконец!»

Однако Гришка не смог примириться со своим положением и в конце концов покончил с собой.

Судьба Гришки, Чудинова, Черезовых, Анны Петровны и даже «хозяйственного мужичка», который подвергает всю свою семью ежедневной каторге ради того, чтобы свести концы с концами, — все это плоды порядка вещей и правительственной политики. Сатирик словно измеряет тяжесть, которая приходится «на душу населения», в ее разнообразных выражениях.

«Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, — писал он в 1885 году редактору «Русских ведомостей»

В. М. Соболевскому, — но нужно ее развить и всесторонне объяснить».

Эту задачу писатель во многом и решил в «Мелочах жизни».

Но, быть может, над миром тяжких усилий и несмолкающих стонов, над морем слез и крови высится сказочный остров, где, отрешась от житейских забот и треволнений, люди погружены в высокие думы, предаются искусствам и наукам, и это хоть в какой-то мере оправдывает приносимые другими жертвы?

Ничуть не бывало! Переходя из мира нищеты в мир сытости и довольства, читатель не находит там ничего, кроме оголтелой суеты, жонглирования мелочами, мельканья пустых новостей, лживых сплетен, воздыханий по еще более жирному куску или еще более высокому креслу.

Помещик Конон Лукич Лобков, этот более практичный Иудушка, который осуществил на практике мечтания об опутывании крестьянина, «около хозяйства колотится», а свободное время посвящает такому специфическому роду «изящной словесности», как доносы. Шалопай Сережа Ростокин и более «дельный» Евгений Люберцев десятилетиями гарцуют на какой-либо бессодержательной, но модной фразе. Процветающий газетчик Иван Непомнящий истощает свой ум в попытках найти применение деньгам; адвокат Перебоев, наоборот, погружен в жадное добывание оных. Говоря об этих людях, Салтыков с трудом удерживается в рамках объективного повествования и временами даже допускает некоторые отступления от него. Так, изображая земского деятеля, который прославлял в 60-е годы «зарю светлого будущего», он сообщает о его теперешнем времяпрепровождении: «Нередко видали его сидящим у окна и как будто чего-то поджидающим. Вероятно, он поджидал зарю, о которой когда-то мечтал... Но заря не занималась...»

Щедрин, как и в «Сказках», далек от каких-либо идиллических надежд на исчезновение «терзающих мелочей» с чьей-либо «внешней помощью». «Все в этом деле, — пишет он, — зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия».

Свою личную цель, равно как и цель всей литературы, Салтыков видел именно в подъеме общественного сознания. Поэтому его особенно потрясло, когда из-за закрытия «Отечественных записок» он «лишился употребления языка» и вместе с тем испытал тяжкие сомнения в действенности своей литературной деятельности.

«Сказка-элегия» «Приключение с Крамольниковым» переполнена глубоко личными признаниями. В одном из писем к А. Л. Боровиковскому, обычно грубовато-юмористических, с весьма солеными шутками, у Михаила Евграфовича внезапно вырвались горькие слова: «Мне представляется, что меня *нет.* Т. е. что я уже

не литератор, а ревизская душа». Эти строки, как и многие другие, рассыпанные в письмах Салтыкова 1884—1885 годов, заключали в себе зерно «сказки-элегии». Как и сам Щедрин, литератор Крамольников оказывается окружен людьми, на лица которых «уже успела лечь тень отступничества».

Однако переживания Крамольникова все же не равносильны щедринским. Крамольников словно бы впервые доходит до мысли, что в отсутствии сочувствия к его горю «кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей». Для Щедрина же это было ясно давно.

«Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их не сумел понять, — говорит Крамольникову внутренний голос. — Ты думал, что *вчера* они были иными, нежели сегодня». Что же касается Щедрина, то чуткость к таящимся в либеральном обществе готовностям буквально пронизывает все его произведения 60-х и 70-х годов.

Образ Крамольникова, очевидно, перерастает биографические рамки, это олицетворение прогрессивного литератора, которого перенесенные испытания побуждают более пристально и трезво вглядываться в окружающую действительность.

Конечно, и сам Салтыков был не чужд горестного сознания, что он не может решительно указать ясный путь к общественному переустройству, что части революционной молодежи он, со своим идеалом свободного исследования, кажется либералом, «лишь говорящим о свободе и других высоких предметах, но неспособным пожертвовать собою за свои убеждения». Но уж, во всяком случае, мысли эти посещали его много раньше катастрофы с «Отечественными записками» (вспомним хотя бы «Чужую беду — руками разведу»).

«Приключение с Крамольниковым» решительно не понравилось Елисееву. Он уже десять лет назад восставал против напечатания щедринского очерка «Отрезанный ломоть», где сатирик писал о существующем в Европе «поветрии на компромиссы и сделки».

В «Отрезанном ломте» был дан прозорливый диагноз политического оппортунизма:

«Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осторожнее! Не спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!»...

Практика компромиссов до такой степени втягивает, что заставляет забывать прежние связи и прежних друзей... Каждый открытый шаг друзей единомышленников кажется компрометирующим; каждое слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии, представляется рискованным, преждевременным. Хотелось бы достигнуть этих целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности процесса движения, а так, чтобы никто не заметил. Все бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались».

Протест Елисеева против этого очерка объективно оказался

самозащитой, ибо его эволюция вправо совершалась очень быстро. «...Наш друг совсем превратился в оппортуниста», — писал Белоголовый Лаврову в 1880 году, а спустя четыре года Елисеев восторженно отзывался об «Исповеди» Л. Толстого, видя в проповеди морального самоусовершенствования «идеал современного человека».

Теперь же Елисееву показалось, что, сочувственно передавая охватившие Крамольникова раздумья, Салтыков толкает литературу на неверный и опасный путь. Протестуя против порыва героя к самоотвержению, подвигу, былой соратник Добролюбова и Чернышевского негодовал:

«И кому какая польза была бы из такого его самоотвержения? Крамольников забывает, что наша страна, по условиям своего исторического развития, живет не в XIX в., а в XVIII, и наша литература есть только литература просветительная, учительная, а никак не протестующая в собственном смысле этого слова. Она может протестовать только против того, против чего позволит ей генерал Сидор Карпович Дворников. Вся беда нашей литературы прогрессивной состоит в том, что она тогда только и постольку только сильна, поскольку идет вполне с этим генералом и помогает ему бороться с его врагами. А генерал этот представитель реформенного дела в России со времен Петра и со времен Петра самою силою вещей влечется только к реформам и натуральный враг допетровского московского застоя. Кажется, чего лучше? Учи его, что так нельзя, — это будет по-московски, а не по-европейски, и он пойдет с тобой куда угодно, и потихоньку да помаленьку будет делать все, чего ты хочешь; только его не трогай».

Елисеев дошел до того, что уподобил всех, кто сомневается в пользе такого союза, пустозвонным Балалайкиным, способным только столкнуть Дворникова с прогрессивного пути на реакционный.

Вероятно, Салтыкову жутко было читать, как Елисеев начинал уже почти повторять выпады против «подстрекателей», которые потом якобы уходят в кусты: «являются разные Балалайкины с пустыми речами такого рода: да что вы привязались к генералу Сидору Карповичу? Ведь он такой, сякой: ведь он увалень, ничего не понимает, только задерживает нас. А вы лучше одни... по-молодецки... А его... да стоит ли об нем толковать? Фюить, да и все тут. Генерал, конечно, обозлится и начинает говорить другие речи: «дай-ка я попробую с допетровскими людьми: прогрессу у нас и так много. Не лучше ли по старине?» И пробует по старине... А Балалайкин... спрячется тогда в свою нору, как будто ни в чем не виноват...»

Понимал ли Елисеев, что, высмеивая мнимого Балалайкина, он оспаривал заветы своих учителей Добролюбова и Чернышевского, что его заявление, будто Балалайкин всегда оказывается в стороне, было очень похоже на обвинения, некогда бросавшиеся Катковым и Громекой? Во всяком случае, былой публи-

цист «Современника» перешел на позиции той самой «умеренной» партии, про отношение которой к революционерам Чернышевский писал: «Умеренная партия постоянно считала этих людей непрактичными, мечтателями, вредными интриганами и по своей рутинности постоянно желала остановиться на переменах, сколько возможно менее значительных. Но старый порядок, кусок за куском, падал под напором интриганов и мечтателей».

Салтыков сурово напомнил Елисееву, что некогда тот служил иной «практике». Отрицая теорию вождения Дворникова за нос, как сатирически обозначил он идею Елисеева, Салтыков утверждал, что Крамольников создаст иную теорию: «Для той практики, которой Вы некогда сами служили, которую теперь забыли и объяснять которую здесь не место».

Едва ли не елисеевскую теорию имел в виду Салтыков и тогда, когда описывал следующую тактическую уловку своего героя в очерке «Имярек» (из «Мелочей жизни»): «Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма. С этой целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник не прочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный...

В оправдание этой теории приводилось то соображение, что вся история русского прогресса шла именно таким путем... Не нужно дразнить, напротив, нужно сглаживать. Не нужно выставлять вперед свою инициативу, а, напротив, делать вид, что сам проникаешься начальственною инициативой. Тогда мало-помалу образуется в облюбованном человеке привычка либерализма, исчезнет страх перед либеральными словами — и в результате получится прогресс».

Сходство аргументации Имярека и Елисеева совершенно очевидно, хотя последний и пытался открещиваться от термина, выдвинутого Салтыковым уже в переписке: «Тут дело идет не о том, чтобы держать генерала за нос, а о том, чтобы показать ему истинный путь, направить на него, приучать к нему, насколько то возможно в данных условиях времени».

Представляется несомненным, что именно эту бессильную попытку Елисеева скрасить истинное содержание своей некрасивой теории едко пародировал Салтыков в «Имяреке»: «Теория эта, в шутливом русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос, или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь». (У Елисеева: «показать ему истинный путь».)

Салтыков рассказывает о неудаче, которая постигла Имярека: «Независимо от того, что намеченные носы не всегда охотно подчинялись операции вождения, необходимо было, однажды вступив на стезю уступок, улаживаний и урезываний, посту-

паться более цельными убеждениями, изменять им... приходилось сознавать, что, в сущности, господином положения остается все-таки «нос», а вожак состоит при нем лишь в роли приспешника, чуть не лакея».

Поскольку многие мотивы в «Имяреке» носят отчетливо автобиографический характер, и в данном эпизоде можно видеть реальную черту служебной карьеры Салтыкова в Вятке. Увлечение Имярека ложной теорией занимает в рассказе очень большое место как «первый фазис теоретических блужданий» героя. Возможно, это происходило и с самим Салтыковым, и он на своем горьком опыте убедился в полной несостоятельности усвоенного идеала. Но почему же он не использовал этот решающий аргумент в завязавшемся споре? Ведь ни в одном из его писем к Елисееву нет ни малейшего упоминания о том, что поднятая проблема знакома ему не только теоретически!

Салтыков и вообще не любил вспоминать о своей службе, а на этот раз спор с Елисеевым справедливо показался Салтыкову настолько важным для судеб прогрессивной литературы и вообще для тогдашнего общественного движения, что он совсем не считал уместным явно сочетать его с эпизодом собственной биографии.

Совершенно очевидна и причина, по которой полемика с теорией «вождения за нос» становилась для Щедрина злободневнейшей задачей. Елисеевская теория широко открывала двери для всевозможных компромиссов. Так можно было — в духе героя щедринской сказки «Либерал» — перейти от формулы «по возможности» к другой — «хоть что-нибудь», и, наконец, согласиться действовать даже «применительно к подлости». В. И. Ленин, который часто обращался к щедринским образам, называл эту сказку историей «эволюции российского либерала»[1].

Опасение раздражить правительство дошло до того, что запрещение праздновать двадцатипятилетие дарования «воли» крестьянам не вызвало никаких протестов, а когда на юбилее Плещеева в чьей-то речи промелькнуло имя Петрашевского, то, по свидетельству очевидца, «легкий шелест испуга пронесся по рядам поздравителей».

Что же касается самого Елисеева, то Белоголовый уже не удивлялся, когда до него дошли слухи, что Григорий Захарович одобряет Суворина!

Задавшись целью идти «об руку с Дворниковым», можно было надолго продлить господство всевозможных «мелочей жизни».

И недаром Салтыков представлялся современнику «орлом русской прессы», погибавшим «от злобы и тоски ввиду того, что совершалось».

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. I. С. 268.



«У меня был плохой характер, но верный глаз.
Я далеко видел...»

XIII

Летом 1885 года, отправляясь за границу, Михаил Евграфович чувствовал себя настолько плохо, что уже подумывал: не спрятать ли на груди карточку с фамилией на случай неожиданной смерти?

Когда Сергея Петровича Боткина спросили, чем болен Салтыков, он ответил: легче сказать, чем он не болен! А сам Михаил Евграфович уверял, будто привозит из-за границы новые фасоны болезней.

Он исхудал так, что его руки стали похожи на руки ребенка. Лицо искажалось нервными судорогами, кашель разрывал грудь. Измученный Михаил Евграфович по-детски досаждал врачам, ожидая от них облегчения, и почти ревновал их к другим больным.

— Не хочет Боткин всерьез за меня приняться, — роптал он, — вот недавно исследовал Унковского, так даже молоточком по коленам стукал, а меня никогда.

В сильнейшее волнение пришел Михаил Евграфович, когда в конце 1885 года Владимир Иванович Лихачев оказался замешан в одну некрасивую историю и его поведение разбиралось в дружеском кругу. В день этого «третейского суда» доктор Боткин получил от Салтыкова непонятную записку: это был даже не набор слов, а бессвязные комбинации букв, будто бы составляющие слова и аккуратно отделенные друг от друга.

Вскоре у больного появились галлюцинации, и Боткин, а также Белоголовый, которому Сергей Петрович подробнейшим образом описывал отчаянное положение их общего пациента, пришли к выводу, что работать он больше не сможет.

По наблюдениям Боткина, Елизавета Аполлоновна почти наслаждалась страданиями мужа. Зная, какое преувеличенное значение придает он точности приема лекарств, как религиозно верит в них, она словно дразнила его, «забывая» дать ему то порошок, то микстуру. А подавая снадобье, не упускала случая посетовать:

— Ах, Мишель, и зачем ты все это пьешь? Ведь все равно ты не выздоровеешь! Ведь ты умрешь!

Она доводила больного до такого состояния, что на редких посетителей он порой производил впечатление полупомешанного, недоступного ничему иному, кроме перебранки с женой.

Прежде к Боткину сиротливо жался умирающий Некрасов: ездил в Ялту — лишь бы быть поближе к знаменитому врачу. Теперь и Салтыков летом 1886 года снял дачу в хмурой Финляндии возле имения Сергея Петровича.

Елизавета Аполлоновна дулась: сиди как привязанная к этому глупому озеру, в глуши, без знакомых... И когда все это кончится!

Дважды она уезжала, оставляя мужа одного: у Боткиных скарлатина, и она не может рисковать детьми ради причуд больного!

Боткин выходил из себя и жаловался знакомым, что своими фокусами Елизавета Аполлоновна уничтожает все его усилия поднять Салтыкова на ноги.

Узнав о скоропостижной смерти А. Н. Островского, Михаил Евграфович даже позавидовал. «Умер прекрасно, то есть внезапно», — писал он и о художнике Крамском.

Его собственная смерть «играла» с ним, как лисица с пойманным зайцем.

Приходила Салтыкову мысль о самоубийстве, но он чувствовал такую слабость, что боялся обрести вместо избавления лишь мучительное увечье.

Руки дрожали, и все же при первой возможности Михаил Евграфович, как встарь, исписывал страницу за страницей, лепя строчку на строчку.

«Извините, что я рассыпался таким градом статей», — пишет он редактору «Русских ведомостей».

И его друзья, которые совсем было поставили крест на его писаниях, снова и снова дивились неистощимой силе таланта, живущей в столь немощном теле. «Вчера прочли последнее «пестрое письмо» в октябрьской книжке Вестника (Европы. — *А. Т.*) — писал Белоголовый, — оно так хорошо, как будто он никогда и болен не бывал, — и я первый радуюсь, что все мои предсказания так блистательно не оправдались».

Летом 1887 года Салтыков часто приходил в уныние, будучи не в силах и нескольких строк написать, и всем сообщал (в который раз!), что теперь его работе конец. Однако осенью он передал в «Вестник Европы» первые главы новой книги, хотя по обыкновению волновался, как они будут приняты.

«Выходит нескладно, бесцельно и даже безобразно, — жаловался он в письме, — юмор совсем исчез, а он всегда был моею главной силой... становится совестно перед читателем».

Бывали минуты, когда Салтыков готов был бросить начатую книгу, несмотря на то, что написать ее было его давней мечтой.

Еще «при жизни» «Отечественных записок» Салтыков думал завершить цикл своих «Пошехонских рассказов» «невинным» повествованием, в котором, как писал он Михайловскому в декабре 1883 года, «речь идет об обстановке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы». Рассказ был вчерне готов и назывался «Пошехонская старина».

Но, как когда-то в «недрах» «Благонамеренных речей» зародились «Господа Головлевы», так и теперь от сатирического цикла «отпочковалась» новая, написанная в другой манере книга.

«Пошехонские рассказы» вообще чрезвычайно разнородны и носят на себе отпечаток тягостной для «Отечественных записок» и Салтыкова поры, когда сатирик перепробовал самые разные манеры, пытаясь избежать новых цензурных преследований.

Грубовато-фривольны рассказы майора Горбылева, где выходки «нечистой силы» перемежаются с «чудесами» реальной жизни царской России — необъяснимыми с точки зрения здравого смысла поступками, назначениями, перемещениями: «Иной всего только в кадетском корпусе воспитание получил, а потом, смотришь, из него министр вышел — как это объяснить?» Фантастика некоторых рассказов майора и притч самого автора о «городничих-бессребрениках» близка щедринским сказкам. Истории о пошехонских реформаторах и пошехонском отрезвлении кажутся вариантами сатирической летописи города Глупова. Собеседования разномастных чиновников в трактире «Грачи» возвращают нас к атмосфере «В среде умеренности и аккуратности» или «Круглого года». Некоторые же рассуждения и персонажи уже прямо подготавливают «Пошехонскую старину». Вот промелькнул — под именем Мемнона Захарыча — предводитель дворянства Струнников, вот заслышалась и главная тема грядущей книги:

«Многие и до сих пор повествуют, что было время, когда пошехонская страна кипела млеком и медом... Действительно, что-то такое было вроде полной чаши, напоминавшей об изобилии. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобилие? — то, по совести, вынужден сознаться, что оно выпадало только на долю потомков лейб-кампанцев, истопников и прочих дружинников (то есть дворян. — *А. Т.*) и что подлинные пошехонцы участвовали в нем лишь воздыханиями».

Во время существования «Отечественных записок» Михаил Евграфович даже ради цензурных благополучий колебался «приняться за что-нибудь бытовое (вроде Головлевых)»; «Не то чтобы у меня матерьялов не было (давно уж я задумал), — объяснял он Елисееву, — но досадно. Вот, скажут, заставили-таки мы его».

Темперамент бойца не позволял Салтыкову отступать, предоставляя противникам полную свободу «односторонней полемики», как он презрительно именовал «идеал», к которому они стремились: полную невозможность спорить с ними, не навлекая на себя обвинений в антипатриотических тенденциях, космополитизме и даже государственной измене. Тяжело переживая разобщенность с сочувствующими ему читателями, их бессилие поддержать литературу в трудное для нее время, Салтыков в то же время опасался, что читатели увидят в его обращении к сравнительно нейтральной теме отказ от дальнейшей борьбы с реакцией.

Эти причины во многом объясняют, почему он и после закрытия журнала довольно долго не обращался к давно сформировавшемуся замыслу «написать большую бытовую картину (целое «житие»)», а продолжал с немалым трудом проводить через «Вестник Европы» и «Русские ведомости» сказки и «Пестрые письма». Правда, уже целая галерея портретов, нарисованных в «Мелочах жизни», по манере письма очень тяготела к отложенному замыслу.

Окончательно же засесть за труд, который долго казался старому журнальному бойцу слишком академическим, Салтыкова побудило то, что правительство Александра III все более явно шло по пути урезывания недавних реформ.

В «Пестрых письмах» рассказчик попадает в компанию отставных губернаторов, которые вздыхают о прежних временах. «Было двенадцать, — описывает он проведенный с ними вечер, — но никому и в голову не приходило, что это час привидений. Напротив, все продолжали сидеть за столом, совсем как бы живые».

Нарисовав фантастическую по внешности картину этого тайного общества «Антиреформенных бунтарей», Салтыков — как он это делал не раз и раньше (в «Помпадурах и помпадуршах», например) — обращается к читателям с настойчивым предупреждением, что за диковинной формой рассказа кроется самая реальнейшая суть: «...существует дух времени, который нельзя назвать иначе, как антиреформенно-бунтарским, и который

с каждым днем приобретает все большую и большую авторитетность».

Победоносцев откровенно и злобно преследовал гласный суд и вообще размышлял о том, что, «сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем в каком-то ином мире, где все идет вспять к первоначальному хаосу...». В царском рескрипте по поводу 100-летия жалованной грамоты Екатерины II дворянству подчеркивалось, что последнее «от древних времен и доныне служило и служит царям земли русской первой опорой в управлении государством и в обороне против врага внешнего».

Герой восьмого из «Пестрых писем» Захар Стрелов после долгих малоудачных попыток примазаться к казенному пирогу, наконец, привлек к себе внимание характерным проектом: «Он предлагал упразднить все: суды, земства, крестьянское самоуправление... Все уезды он делил на попечительства по числу наличных дворян-землевладельцев или их доверенных, и с подчинением всех попечителей предводителю. В руках попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицейская. Они заведовали народною нравственностью, образованием, зрелищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословие. Но преимущественно смотреть, чтоб мужик не ленился».

Перед нами — не что иное, как проект восстановления крепостного права. Щедринская сатира лишь гиперболизировала действительные вожделения крепостников вроде Д. А. Толстого, который вынашивал в то время проект введения земских начальников. Этот позже осуществленный план заключался в том, чтобы разделить каждый уезд на особые участки, единоличную власть в которых осуществляет земский начальник. Он назначается из дворян и наделен весьма обширными правами. «В том беспомощном нравственном состоянии, в котором очутился крестьянин с наплывом в село всякого рода хищников, единственным для него добрым и сведущим советчиком является все же прежний барин, поместный дворянин», — слащаво расхваливал эту политику «Русский вестник».

Порывания к «доброму старому времени» ощущались и в литературе. По нему вздыхали прямые ретрограды. К нему машинально обращали взор и писатели, «огорченные» неприглядным зрелищем той ломки, которая все круче и круче происходила в русской деревне, разрушая якобы царствовавшее в ней прежде благополучие. Вспоминали патриархальное житье аксаковских Багровых, поэтические усадьбы, где грустили тургеневские герои, преданных слуг, которые разрывали дарованную господами вольную, вроде Натальи Саввишны из «Детства» Л. Толстого...

Салтыков не раз едко прохаживался насчет произведений, где помещичьи усадьбы, которые опутывали все окружающее паутиной тяжкого труда и полного произвола, представали как уютные гнездышки, беззаботно свитые на красивом фоне сельского пейзажа.

«Мы помним картины из времен крепостного права, написан-

ные à la Dickens! Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая на самом деле была у этого благополучия ужасная подкладка!» — писал он в одной рецензии еще в 1871 году.

«Дворянские гнезда» утратили в его глазах поэзию не оттого, что их обезобразили своими порубками буржуазные хищники. Его собственное детство было лишено всякого поэтического флера. Ольга Михайловна Салтыкова, эта, по выражению сатирика, «кулак-баба», не видела причин скрывать грубую механику, благодаря которой она подняла благосостояние семейства. Напротив, она пользовалась опасливым уважением соседей именно за ту цепкость и умелость, с какой извлекала все возможное из своего поначалу небольшого, да еще к тому же и запущенного мужем и золовками хозяйства.

Невзрачная местность, обнаженность материнской системы хозяйства, скаредность, грубость, цинизм, прочно укоренившиеся в семейном обиходе Салтыковых, — все словно бы сговорилось с самого детства излечить будущего сатирика от каких-либо иллюзий в отношении помещичьего быта.

Начиная «Пошехонскую старину», Салтыков недаром думал посвятить ее Некрасову: оба они вынесли из детства тяжкую память насилия и произвола, хотя для поэта виденное в детстве смягчалось воспоминанием о материнской нежности.

«Главным образом я предпринял мой труд для того, — писал Михаил Евграфович, — чтоб восстановить характеристические черты так называемого доброго старого времени...»

Многочисленные совпадения эпизодов и характеристик этой хроники с тем, что видел и пережил в детстве сам Салтыков, отнюдь не делают книгу автобиографией. Это, по характеристике Щедрина, «просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу».

Повествование в «Пошехонской старине» эпически спокойно, выдержано в неторопливом стиле «жития Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина», который, впрочем, является не героем, а скорее рассказчиком. Книга почти начисто лишена каких-либо откровенно-сатирических выходок. Жало щедринской иронии здесь глубоко упрятано.

Фамилия Затрапезный выбрана Салтыковым не случайно. Так говорится о будничном, повседневном, обыкновенном наряде. Крепостное право в его затрапезном виде, без ставшего модным в 70—80-е годы принаряживанья его и в то же время без всякого сатирического преувеличения, — вот что хочет нарисовать Салтыков в своей книге.

Но такова сила изображаемых фактов далекого прошлого, что при всей реальности выводимых в книге лиц «благородного сословия» и почти полном отсутствии карикатурных деталей «портретная галерея» помещиков вскоре начинает вызывать представление о стаде свиней, которые тупо и жадно пожирают пищу

и в то же время бестолково топчут ее, затевая между собой бессмысленные свары.

Они, как герои одной щедринской сказки, самонадеянно веруют, что на столе вечно будет стоять кисель и что их забота только без устали его черпать.

Вот блаженно похрюкивают возле своего «нескудеющего» корыта предводитель Струнников со своей супругой: «Некогда было любоваться друг другом: днем — перед глазами тарелки; наступит ночь — темно, не видать».

Это еще сравнительно безобидные экземпляры: Струнников только очень ловко умел выпрашивать в долг и затем водить за нос своих кредиторов, пока с концом крепостного права последние не вынудили этого дворянского вожака сбежать за границу, где он и кончил жизнь... официантом.

Но есть и другие — с алчным огоньком в глазах. Они не останавливаются перед препятствиями на своем пути к обогащению. Мать героя и ее почтенный братец совершенно мошеннически присваивают себе чужие достояния, воспользовавшись оплошностью их истинных владельцев, а их родич Савельцев насмерть запарывает экономку отца, допытываясь, где она прячет свои деньги.

Порой крепостное право цинично красуется во всем своем безобразии, с моральными и даже физическими пытками, со слезами жертв и последним хрипом самоубийц. Одна из самых страшных сцен «Пошехонской старины» — поимка беглого солдата. Отряженные для его поисков крестьяне, у которых таким образом пропал один из немногих дней, остающихся для работы на себя, награждают пойманного тычками. «Не смеете вы! и без вас есть кому меня бить!» — затравленно огрызается этот «казенный человек», а когда до него доходит весь ужас предстоящего в полку наказания, он тщетно пытается разжалобить барыню.

Однако часто истинное содержание «патриархальной» жизни затуманено, и она по внешности смахивает на взаправдашнюю идиллию. Вдова городничего, тетенька Раиса Порфирьевна тихо и смирно растит внучку, кротка, гостеприимна, прислуга у нее веселая (правда, барыня и не любит «задумчивых»). После бессердечной атмосферы своего дома юный Затрапезный чувствует себя в гостях у тетеньки словно на седьмом небе. Однако блюдо клубники, которое прислал Раисе Порфирьевне кум, придает трогательной картине несколько иной аромат. «Служил он у покойного Петра Спиридоныча в частных приставах, — объясняет тетенька причину щедрости кума, — ну, и скопил праведными трудами копеечку про черный день. Да, хорошо при покойном было, тихо, смирно, ни кляуз, ни жалоб — ничего такого. Ходит, бывало, сердечный друг, по городу, деревяжкой постукивает, и всякому-то он ласковое слово скажет».

И действительно, покойный городничий «не слыл притязательным»: купцы не могли пожаловаться, что взамен приношений не слышали от него ласковых слов. «Только с рабочим

людом, — замечает автор, — он обходился несколько проще, ну, да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго разговаривать. Есть пачпорт? — вот тебе такса, вынимай четвертак! Нет пачпорта — плати целковый-рубль, а не то и острог недалеко!» Таковы же были «праведные труды» и кума-пристава.

Одним словом, пышущие здоровьем лица тетеньки и внучки производят в результате на читателя то же впечатление, какое вынес один путешественник из высших сфер русской социальной пирамиды. «Эти прелестные дамы, — писал он о придворных красавицах, — напоминают мне карикатуру на Бонапарта... когда смотрели издали на портрет колосса-императора, он казался очень похожим, но, приблизившись к его изображению, ясно видели, что каждая черта его лица была составлена из изуродованных человеческих трупов».

Чудесное летнее утро рисует Салтыков в начале главы «Образцовый хозяин»: «За ночь выпала обильная роса и улила траву; весь луг кажется усеянным огненными искрами...» Но тут же на этот сияющий пейзаж ложится мрачная тень: собираясь на косовицу, небогатый помещик Пустотелов затыкает за пояс нагайку. Весь день этот благородный дворянин исполняет роль самого лютого надсмотрщика. Даже пенье за работой он искоренил, «чтоб все внимание рабочей силы обращено было на одну точку». Только благодаря этим безжалостным мерам он и стяжал славу «образцового хозяина»: после реформы его быстро постиг крах.

В имении самих Затрапезных за каждой избой «числится какая-нибудь история», по большей части горестная: где без сроку отдали в солдаты сына, где отобрали икону, которая, по семейному преданию, приносила счастье, где связали браком постылых друг другу людей.

Но уже совершенно беззащитной мишенью для барской похоти, мстительности, цинических выходок являются дворовые.

В 1888 году И. А. Гончаров напечатал в журнале «Нива» свои очерки «Слуги старого века», где вывел нескольких служивших у него в разное время чудаков и высказал довольно поверхностное суждение об их судьбах. Так, он во многом винит пьянство; это, по мнению Гончарова, «иго, горшее крепостного права».

— Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени, — сердито заметил Салтыков.

Нарисованная им картина обращения с дворовыми страшна не потому даже, что каждый миг их ожидает самоличная расправа барыни или более внушительное наказание на конюшне, и не потому, что пища их скудна и нездорова, а работе нет ни конца, ни краю. Потрясает тупое убеждение человека в своем праве как угодно помыкать себе подобными. Чего стоит одно только стремление не допускать браков между дворовыми, поскольку семья отвлекает от барской работы! Впрочем, что же говорить о расправе над «девками», которые, по выражению помещиков, были «дешевле пареной репы», если даже Павла-

живописца заставили высечь свою закрепостившуюся из-за брака с ним жену — в полной уверенности, что ни ему, ни ей от этого ничего не станется.

Еще только начиная свой рассказ, Салтыков предупреждал, что крепостное право проникало «во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным». Атмосфера безнаказанного насильства отравляла и калечила не только рабов, но и самих господ, убивала или извращала в них нормальные человеческие склонности и привязанности. Они не признают за людей крестьян, но в них самих происходит куда более страшный процесс обесчеловеченья.

Усадьба Затрапезных становится острогом не только для дворовых, но и для самих господ, особенно для детей, которые обречены ежедневно созерцать ритуал маменькиного хозяйствования и исподволь усваивать себе те же повадки. Место простодушных детских мечтаний заступают упования на богатство и «генеральство». Точно так же, как в доме не было ни одной форточки, в детскую не было доступа ни песне, ни сказке. Даже зверей и птиц помещичьи дети, по горькому замечанию рассказчика, «знали только в соленом, вареном и жареном виде».

Эта редкостная пустота быта заставляла видеть в любой неожиданности, какого бы сорта она ни была, развлечение, прерывавшее сонный ход жизни. Развлечение — выслеженная беременность у какой-либо «девки», развлечение — поимка беглого солдата... То, от чего нормальный человек отшатнется с ужасом и отвращением, становилось предметом жадного любопытства и своего рода школой будущей помещичьей безжалостности.

Ни любви, ни родственной теплоты нет в большинстве помещичьих семей. Анна Павловна начинает тяготиться даже любимой дочерью, устав от попыток выдать ее замуж. Предположение, что Надежда может сбежать с заведомым хлыщом, сначала не очень пугает нежную родительницу.

«Скатертью дорога! — мелькает у нее в голове, но тут же рядом закрадывается и другая мысль: — А брильянты? чай, и брильянты с собой унесла!

В невыразимом волнении она встает с постели...»

Мифический царь Мидас обращал все, к чему бы он ни прикоснулся, в золото, и это привело его к голодной смерти. Анна Павловна и подобные ей герои умертвили в себе душу, потому что все в мире оборачивается к ним только своей грубо-материальной подкладкой.

Глухо, но внушительно звучит в книге и мотив надвигающегося возмездия. К числу самых светлых и в то же время загадочных воспоминаний Никанора Затрапезного принадлежит появление в Пошехонье их дальнего родича — Федоса Половникова. Он видел в мужике не «скотину», а «страстотерпца» и при всей своей крото-

сти не ужился с Анной Павловной, которая, по его мнению, у себя «настоящую каторгу» завела.

«Федос исчез, исчез без следа, без признака; словно дым растаял.

Выел ли он кому очи? или так, бесплодно скитаясь по свету, потонул в воздушной пучине?» — в этих заключающих главу словах прорывается свойственная Щедрину горечь при мысли о вечном терпении порабощенных и о бесплодных сочувствиях им.

Однако не все слуги даже на смертном одре остаются верными барским интересам, как староста- Федот; не все возлагают надежды только на райское блаженство в будущем, как Анушка. Мучительницу Анфису Порфирьевну задушили собственные дворовые, а затмившего ее своими злодействами «Пса» Грибкова крестьяне сожгли вместе с усадьбой.

«...Я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, — писал Салтыков в «Пошехонской старине», — моя хроника не окажется лишнею».

«...Погода стоит в полном смысле слова адская. В июне ждали, что июль будет хорош, в июле — что август выручит. Вот и август наступил, а на дворе совершенная осень. Небо хмурое, холод; ветер как с цепи сорвался. Говорят, будто сентябрь и октябрь будут хороши...»

Можно подумать, что это не личное письмо, а аллегория.

Всю-то жизнь мы так ждали: вот-вот, кажется, полегчает; а через некоторое время ужасались: никогда хуже не было, никогда!

Сиди на даче, мерзни, смирнехонько кивай ученику Боткина, милейшему доктору Соколову, когда тот писать не велит. Отшучивайся: где уж тут писать сатирику, когда зубы дантист повыдергал...

А сам — пиши, пиши, пиши: недолго осталось...

Измучил домашних кашлем, так что все стараются расположиться подальше, чтоб не докучал своим «лаем».

Еще недавно Михаил Евграфович, который морщился от голоса жены, как от фальшивой ноты, хоть с детьми отводил душу, огорчался неуспехами Кости по арифметике и писал за Лизу сочинения. Теперь он с ужасом видел, как из дочери вырастает вторая Елизавета Аполлоновна: мать уставила ее комнату зеркалами, Лиза скоро вошла во вкус забот о туалетах. Это было куда интересней, чем слушать воркотню раздражительного отца.

— Надоел ты нам! — услышал он как-то от девочки.

Мать добилась, чтобы Костя перешел в лицей, и вскоре с уст мальчика стали срываться такие житейские афоризмы и «солидные» рассуждения о карьере и протекциях, что Михаилу Евграфовичу становилось страшно.

Жить под одной крышей делалось положительно невозмож-

но. И Салтыков строил планы отделиться от семьи и жить в Москве, Царском Селе или даже за границей.

С трудом закончив — «скомкав», по собственному мнению, «Пошехонскую старину», Салтыков окончательно обессилел.

«Мне чудилось (не то во сне, не то наяву), — начал он было нечто, озаглавленное «Забытые слова», где бесконечная маета умирающего человека удесятеряется тягостностью всей окружающей атмосферы, — что невидимая, но властная рука обвила меня и неудержимо увлекает в зияющую пустоту... ...Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады... Ощущение оскудения постепенно заползает во все существо, и я начинаю чувствовать, что недалек тот момент, когда и внутри меня всё омертвеет».

Но омертвелая душа вряд ли так настойчиво порывалась бы вновь трубно провозгласить свой символ веры в этом безмолвии, где «ни звука, ни шороха, ничего, кроме печати погибели».

— Были, знаете, слова, — посвящал Михаил Евграфович в свой замысел Михайловского, да и некоторых других близких ему людей; — ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...

А в другой раз сравнил задуманный им труд с завещанием.

«Двадцать пять лет сряду одну и ту же ноту тяну, — писал он несколько лет назад, — и ежели замолкну, то замолкну именно с этой нотой, а не с иной».

Теперь это свершилось.

Иногда он впадал в забытье по целым дням, по старой памяти сидя за письменным столом. Так ловят последнее тепло над остывающим пепелищем: писать он больше не мог.

Тяжелы бессонные ночи... Чего только за эти часы не передумаешь, чем себя не укоришь... И почему это по ночам так встает перед глазами все, о чем мучительно вспоминать!

О, эта узкая, грязная, темная лестница — из тех, которые любил описывать покойный и где жили его герои в каморках, «более похожих на шкаф, чем на квартиру», с запахом жареного кофе и кошек...

Шелест шагов, чей-то угрюмый шепот: «Вот как живут наши знаменитые писатели!», набитая людьми передняя, еще комната, еще... тяжкий аромат гиацинтов и тубероз... Свечи плохо горят от духоты...

И вот сам Достоевский... Отмаялся...

Как они честили друг друга когда-то!

Ро-ро-ро, ро-ро-ро, ро-ро,
Молодое перо.
Усь-усь, усь-усь-усь,
Ах, какой же это гусь!

«Щедродаров»!

Ну, и он в долгу не оставался: «...я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то очень ехидное и гадкое». — Страшно вспомнить!

Так ценил «Записки из мертвого дома», а вот поди ж ты, в запале и на них бросил тень.

Образумились оба с годами, конечно. И хотя «Бесы» опять насторожили, показались карикатурой, но об этом удалось сказать совсем по-иному, так что старый противник, похоже, не оскорбился и вскоре даже отдал в «Отечественные записки» новый роман — «Подросток»:

«По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком, — писал «Щедродаров» о Достоевском. — Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот», — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которой бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, ввиду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? Несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, — все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности, или в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глазу потуг, которыми всегда сопровождается нарождение нового явления, — это покажет время».

Нет, за *эти* страницы, право, не стыдно. Так о Достоевском в нашем лагере со времен Добролюбова не писали.

Белоголовый как-то что-то неуважительное о Федоре Михайловиче сказал, а пациент — на него: да первоклассный же талант! У него рассказ «Кроткая» есть — просто плакать хочется, когда

читаешь! Таких жемчужин во всей европейской литературе немного.

И все-таки, все-таки — до последних дней, нет-нет, оба да тряхнем стариной: в письме ли, в разговоре пройдемся по адресу всегдашнего оппонента.

А вот теперь стой у гроба едва ли не с тем же чувством, что и герой «Кроткой»: «Опоздал!!!»

Мученье...

И что же это попы не идут! Уже шесть часов.

— Шш... Что за безобразие? Молчите!

Батюшки-светы, оказывается, о попах-то уже машинально вслух сказалось, да громко так, что обернулись на него!

И сразу же:

— Щедрин!..

— Это Щедрин...

— Ах, Михаил Евграфович, садитесь, пожалуйста... — это уж какая-то дама разлетелась.

Господи, пристали, без того тошно!

Сбежал...

Теперь-то никуда не сбежишь — всё припомнишь...

Или вот — обиделся на Толстого, когда тот не посочувствовал после закрытия «Отечественных записок». А что в них об «Анне Карениной» писалось? Растянуто, дескать, и вообще гора мышь родила!

Ну, не ты, не сам писал. Скабичевский, кажется. Но кто же, если не ты, в раздражении после первых частей толстовского романа именовал Вронского... «безмолвным кобелем» и грозился сочинить пародию под названием «Влюбленный бык»?

Правда, не сочинил. Одумался? Забыл? Не все ли теперь равно...

А вот Тургенев (тоже и ему порой *такое* приходилось кротко выслушивать!) на смертном одре, среди мучительных болей — вдруг к Толстому с письмом:

«Пишу... я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! ...Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!»

Может быть, и картинно чуточку, но все же, если по совести, — прекрасно, на зависть.

А тут сиди теперь один по ночам, глаза вытараща, от кашля задыхаясь, и думай, прямо что твой Головлев:

— Что такое? Где... все?!

Унесло, разметало... Кого — жизнь, кого сам отпугнул, кого просто приветить не сумел.

Тургенев вечно пенял: надо, мол, сближаться, с молодыми талантами, журфиксы устроить, беседовать, влиять.

Журфиксы! С моим-то характером! Только все перессоримся...

И вот — сиди... Да разве в тебе одном дело?

Бедный Гаршин! С такой же распроклятой петербургской лестницы, в пролет...

Или вот — всегда комкал брезгливо суворинскую газетенку, не думал искать в навозной куче жемчужное зерно. И только недавно в «Северном вестнике» прочел «Степь».

Михайловский верен себе, мораль автору читает: талантлив, но направление...

Тьфу ты, пропасть, ну сколько еще отталкивать! Мало нам Толстого с Достоевским...

Добряк Плещеев привык, что его былой патрон редко кого горячо хвалит, а тут вдруг слышит:

— Это прекрасно! Действительный талант!

Так весь и рассиялся: признался, что в Чехове души не чает.

Привел бы... Нет, не догадается, не посмеет!

Да и, по правде сказать, кому умирающий старик интересен...

...Знать бы Щедрину, что молодой Чехов и его друзья пристальнейшим образом следили за всем, что он печатал.

«Сегодня в «Русских ведомостях» сказка Щедрина, посылаю ее», — писал, например, Антону Павловичу приятель его брата, впоследствии известный архитектор Шехтель.

«Прочтите в субботнем номере «Русских ведомостей» сказку Щедрина, — в свою очередь советует Чехов Лейкину. — Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм!»

Сильнейшее влияние стиля великого современника ощущается и в ранних чеховских произведениях. Не случайно один из его первых издателей, Лейкин, хвастался, что «нового Щедрина открыл».

Когда к Салтыкову приходили, он порой отвечал, что ему недосуг принимать гостей:

— Занят, скажите: умираю...

А те, кого он все-таки допускал к себе, часто не в силах были отыскать слова утешения. Да он, по всем признакам, и не слушал их.

Глядя на собеседников своими строгими и в то же время как бы невидящими глазами, он был сосредоточен на чем-то другом: то ли на терзавшей его боли, то ли с недоумением и нарастающей тоской ждал — неужели же не осталось в нем ни искры прежнего огня?

А в гостиной две Лизы — мать и дочь болтали с какими-то молодыми визитерами:

— Вы так думаете? Ах, какой вы злой!

— Не смейте так говорить, я рассержусь...

Пустые слова сыпались и сыпались, словно навеки погребая под собой то настоящее слово, которого ждал Михаил Евграфович.

И не в силах сдержать горя и гнева, он кричал:

— Гони их в шею, шаркунов проклятых! Ведь я у-ми-раю!

Гости поспешно удалялись, но слово так и не находилось.

В глазах Елизаветы Аполлоновны читалось: когда же это, наконец, кончится... И Салтыков мог поклясться, что она уже обдумала траурный наряд.

27 апреля 1889 года у него произошла яростная стычка с женой. Доктор Васильев тщетно пытался успокоить Михаила Евграфовича.

Не успел он выйти из комнаты, как с Салтыковым случился удар.

Когда приехал Боткин, Салтыкова, собственно, уже не было.

Правда, в кресле лежала все та же понурая фигура, укутанная пледом. Михаил Евграфович как будто спал. Когда Боткин пытался его растормошить, он на миг приоткрывал глаза, но уже никого не узнавал.

Ему казалось, что он лежит один, что вокруг темная ночь и ни звука не доносится из других комнат.

Спит жена, вымыв голову сушеной рябиной, чтобы волосы не седели.

Спит дочка, и во сне ей снится пятнадцатая пара туфель.

Спит сын. Он опять поздно вернулся и воровато прошмыгнул мимо отцовского кабинета.

...Спал он, что ли? Наверное. Потому что в дверях стоит кто-то, а звонка не было слышно.

Ах, так вот в чем дело!

Всю жизнь он ждал ночных гостей. Наконец они пришли.

Слухи оправдались.

И лицо вроде знакомо... Господи, да это опять Рашкевич! Я думал, он давно умер, а он даже ничуть не постарел и все в том же голубом мундире. Вот, уверяют, их отменили! Я всегда говорил, что они бессмертны.

Значит, опять? Только не надо будить жену, пугать детей. Пусть уж спят. Я оденусь сам, лишь бы не раскашляться на весь дом. Вот и готово. Вниз, вниз, ступенька за ступенькой. Какое совпадение: его ждет тот же экипаж, что и сорок лет назад.

— Пошел!

Он умер на следующий день, 28 апреля 1889 года, так и не приходя в сознание.

Жена и сын не были при его последних минутах: их нервы этого не выдерживали.

Только дочь вдруг как бы опомнилась и не отходила от неподвижного тела, которое изредка сотрясалось от судорожного, похожего на стон дыхания.

Глядя в это уже безжизненное лицо, она вдруг вспомнила, как Михаил Евграфович скучал летом без детей и писал им шутливые письма: «А я все кашляю, и все на старый манер, даже нового ничего выдумать не могу... Лизина кукла все почивает, никак разбудить нельзя».

Не добудиться теперь, не упасть на колени, ничего не взять

назад... Вспоминался рассерженный голос отца, когда он отчитывал сына за очередную двойку:

— Я тебя перестану пускать по циркам да театрам!

И свой:

— Какое ты имеешь право не пускать Костю?

И снова голос отца — скорее удивленный, чем рассерженный:

— Ах ты, дура!

— Как ты смеешь говорить мне «дура»? Ты сам дурак!

И победный голос матери:

— Что? Получил? Ce que tu as mérité [1].

Да, вот и все, что ты заслужил дома при жизни...

С. П. Боткин еле сумел добиться, чтобы была соблюдена воля покойного: Елизавета Аполлоновна ни за что не хотела, чтобы тело анатомировали.

Боткин долго терпеливо уговаривал ее и вдруг вспомнил...

Несколько лет назад из кабинета Салтыкова, когда туда вошла Елизавета Аполлоновна, донесся хриплый яростный стон:

— Убийца! Убийца!

И в приступе раздражения Сергей Петрович еле удержался, чтобы не сказать ей:

— Чего вы боитесь? Вы же ему яду не давали — вы только жизнь ему отравили.

Карр! Какая добрая весть! Замолчал, замолчал, замолчал!

Можно подскакать поближе, не опасаясь больше больно бьющего слова!

Как славно каркается на таких могилах!

«Та форма политической сатиры, которую создал покойный Салтыков в угоду «духу времени» и ценою растраты своего крупного литературного дарования, едва ли возникнет вновь. Она отжила свой век и умерла естественной смертью еще при жизни своего творца...» — надрывался «Русский вестник».

Как обрадовано скрипят в лад вороньему крику сухие сучья, о которых когда-то писал Добролюбов! Ведь они еще одного врага пережили и кичливо думают, что не будет им износа!

«Он не принадлежал ни к какой партии, — не унимается ворона, — а как писатель с довольно безотрадным и мрачным, но неопределенным мировоззрением предавался вообще глумлению и отрицанию... не нашел в народе и своей стране ничего лучшего, кроме глуповцев и идиотского города Глупова».

И, словно слыша ее, он лежит в гробу с ожесточенным и горьким выражением, как будто в голове у него слагается нервная, колючая, страстная отповедь:

— Кыш, подлая! Я всегда был мнителен. Я и теперь беспокоюсь: а вдруг ты поверишь ей, читатель?

Ведь, поди, надоел тебе старик своими бормотаньями из номера в номер. Докучал, как нянька, следом ходил: вот тут не оступись,

---

[1] Это то, что ты заслужил (*фр.*).

вот этому не верь. А у меня, если вспомнить, в жизни никого ближе не было, чем ты.

Не пренебрегай же старым ворчуном. У меня был плохой характер, но верный глаз. Я далеко видел. И когда тебе будут нашептывать, что я устарел и пора мне дать почетную отставку, приглядись получше: не говорят ли это Молчалины и Угрюм-Бурчеевы?

Неспроста торопятся некоторые господа сдать меня в архив!

Николай I приказал живописцу Карлу Брюллову написать импозантный портрет фельдмаршала Паскевича, когда тот уже впадал в старческий маразм. Паскевич сидел перед художником с посоловевшими бессмысленными глазами, скривив рот и пуская слюни на подбородок, а художник изображал на холсте бравого вояку с орлиным взором!

Когда же я брался за кисть, то в холеных лицах сквозь обманчивый румянец проступало то выражение, которое медики называют «маской Гиппократа»: оно свидетельствует о неминуемом наступлении смерти.

Недаром мой современник, физиолог Сеченов, поднимал за меня тост как за великого диагноста.

И я могу сказать о себе словами Гейне:

Я не сдаюсь! Еще оружье цело,
И только жизнь иссякла до конца.

Мое оружье тебе еще пригодится, читатель!

Не нужно мне от тебя ни пышных памятников, ни юбилеев — я и при жизни их не жаловал.

Все равно мне, где мои портреты — на чердаке или в парадном зале, если книги мои пылятся и роются в них только новые пенкосниматели.

Кто-то сказал: пусть нас меньше почитают, но больше читают!

Только об этом я и прошу.

Вместо эпилога

Что ж — конец?

Но помедлим расставаться с нашим героем.

Вглядимся еще раз на прощанье в это суровое лицо, в эти страдальческие и вместе с тем яростные глаза...

Вот он, обложенный со всех сторон, как затравленный медведь, или, по его собственному ироническому выражению, «сделавшийся предметом достаточного количества несочувственных... оценок»; редкий, вымирающий зверь — великий русский сатирик!

«Трудно живется нашей сатире, — сетовал он. — Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету».

И попробовали бы вы при жизни самого Щедрина заикнуться о том, что он и есть законный наследник и «умножитель», если можно так сказать, этого капитала, — какие бы громы и сарказмы обрушились бы на вашу голову! Послушать самого Салтыкова, так он даже для современной ему Европы, не говоря уж о потомках, — писатель восемнадцатого века, которому выпало на долю скорее корчевать, чем сеять и тем более ожидать скорых всходов («...недаром я и родился-то близ Корчевы», — сумрачно шутил он).

«Уже современники читают его не иначе как угадывая смысл и цель его писаний и комментируя и то и другое каждый посвоему, — печально размышлял он в «Письмах к тетеньке» об участи писателя, прорывающегося сквозь цензурные запреты, — детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным... вот странный человек! Всю жизнь описывал чепуху да еще предлагает нам читать свои описания... с комментариями!»

Но истинный читатель, читатель-друг никогда с ним не соглашался.

«Он получал много писем, — вспоминал о своем великом «сослуживце» Михайловский. — Одно из них пришло в моем присутствии, и Салтыков, жалуясь на слабость зрения, просил меня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... Автор письма называл его «святым стариком», доказывал, что не

крохи и мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам... письмо было не просто утешительно, в нем была правда».

Вспоминая посещение больного писателя студенческой депутацией, в которую входил и Александр Ульянов, один из ее участников писал о Щедрине:

«Казалось, он дал нам бесконечно много своим незабываемым взглядом, точно приобщил нас своей тоске, точно завещал нам свой непримиримый гнев».

Гневные молнии щедринской сатиры вырывали из «административных сумерек» тогдашней современности все, что властям предержащим хотелось бы утаить от непрошеного глаза.

Уязвленные противники не раз обвиняли писателя в «невозможных» преувеличениях, в клевете на окружающее. Но как ни изобретательна была его фантазия, она исходила из реальнейших явлений, а подчас и находила в них почти буквальное соответствие своим «выдумкам».

«Городовые должны входить в храмы божий без усилия (!)», а также наблюдать, «чтобы обнявшись никто не ходил»; они же «имеют попечение, чтобы молодые почитали старших», должны «смотреть, чтобы из канцелярии не крались законы», а «если при поимке воров произойдет бой, то стараться (!) забирать живых».

Что это? Новонайденные черновики «Истории одного города», где, как известно, один градоначальник смерть как любил изобретать новые законы? Или варианты «Современной идиллии», где квартальный в поте лица сочиняет уставы для общежития?

Да нет, просто «нормальная» «Справочная книга для руководства городовым», «нагноившаяся», как сказал бы сатирик, в голове полицмейстера города Козлова (ныне Мичуринск)!

Даже десятки лет спустя после смерти Щедрина его сатира продолжала быть зеркалом действительности самодержавной России.

«Кажется, ни одно издание не может похвалиться таким количеством законодательных предложений, — писал об одной реакционной газете в 1904 году, накануне первой русской революции, журнал совсем не радикального свойства. — ...Правда, большая часть этих проектов давно предвосхищена в «Дневнике провинциала» покойного Салтыкова, но это обстоятельство не лишает их бесспорного интереса».

Один из соратников писателя вспоминал, что у них как-то зашел разговор о картине, где была изображена не только битва, идущая на земле, но и та, что по-прежнему ведут даже души погибших в сражении.

«В нем, — замечает мемуарист о самом Щедрине, — в его личности эта мысль получила свое осуществление: он умер, но живет и продолжает свою битву жизни...»

Действительно, сатира Щедрина по-прежнему освежала об-

щественную атмосферу, внося в нее живительный озон высоких человеческих и гражданских идеалов и как бы возвращая миру нормальный солнечный свет, при котором зловещие тени и призраки, тяготевшие над людьми, во многом теряли свою силу, мнимую непобедимость и обнаруживали свою уязвимость, преходящесть, обреченность.

В противовес существовавшей в старой России иерархии чинов, репутаций, капиталов сатира писателя утверждала свою «табель о рангах», все переворачивавшую «вверх дном», а на самом деле — лишь ставящую все по своим местам.

Наш суровый друг, Щедрин, и нам, потомкам, завещал и свою великую — «до боли сердечной» — любовь к родине и народу, и свою веру в таящиеся в нем силы:

«Если в настоящее время, — писал он, — ...эта масса вся опутана и наружными и внутренними путами, то придет же когда-нибудь час, когда эти путы разрешатся, и в тот час, торжествующая и просветленная, чего она не совершит, чего не подвигнет за собою?»

Щедрин завещал потомкам и суровую трезвость этой любви и веры, не способных принять желаемое за действительно осуществившееся, презиравших трусливое или надменное «отворачивание от действительности», как любил повторять в подобных случаях В. И. Ленин, недаром рекомендовавший «вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина».

Он завещал нам духовную активность, самостоятельность и энергию пытливой мысли. «Без этого непременно попугаями будете, все равно какого цвета, белого, или красного, или серого», — выговаривал он одному молодому собеседнику.

Путь, которым шел Щедрин в литературе, далеко не всем казался бесспорным. Даже его великий современник Лев Толстой порой сожалел о «пропавшей силе» щедринского таланта. А философ и публицист Василий Розанов позже ставил себе в заслугу, что «имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина, и до сих пор не прочитал ни одной его «вещи», — и тем не менее выносил сатирику обвинительный приговор: «Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление».

Так и напечатано в известной книге «Уединенное», и только читая в архиве предсмертные розановские записи, можно узнать о его запоздалом «покаянии» перед великим писателем: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в *своей полной истине.* Щедрин, беру тебя и благословляю».

Проходили десятилетия за десятилетиями; мир преображался; давно исчезла даже память о многих прежних «мишенях» писателя, а волшебное зеркало его сатиры не потускнело и не затуманилось.

Не случайно его книги сразу же запылали в разожженных фашистами кострах, ибо нестерпимо было для последователей страшнейшего из глуповских градоначальников — мрачного идио-

та Угрюм-Бурчеева, мечтавшего превратить вселенную в казарму, — увидеть на этих страницах свой четко выгравированный бессмертным резцом портрет.

И поныне всякая нечисть, как встарь, скрежещет зубами при одном только имени сатирика и тут же испуганно пригибается, заслышав приближающийся свист смертельного для нее снаряда, имя которому — слово Щедрина.

Поверил ли бы он, «писатель восемнадцатого века», что его поныне вспоминают в речах на самые злободневные темы, что не только его нелюбимое детище — пьеса «Тени» — воскресла в наших театрах, но даже роман «Современная идиллия», на что уж, кажется, нуждавшийся в комментариях, в значительной части своей инсценирован и роли рассказчика, Глумова и Балалайкина стали истинным украшением актерских биографий?

Остро злободневный в пору своего появления роман столетней давности — на сцене театра, принявшего имя «Современник», — какой славный парадокс, не правда ли?!

Только — парадокс ли это? Еще Михаил Булгаков писал, что многие щедринские герои «пережили» своего создателя.

Ох, эта непроходящесть прошедшего,
цепкость его и зубастость и хитрость!

— восклицает и современный нам поэт Владимир Британишский в стихотворении «Градоначальники города Глупова».

И в длящейся схватке с этой цепкостью и зубастостью «устаревший» писатель — незаменимый, ежедневный, могучий союзник, подчас далеко опережающий нас и в быстроте реакции на совершающееся именно сейчас, и в глубине понимания «старого ехидства», угадываемого сатириком под наисовременнейшим, по самой последней моде сшитым костюмом.

«Нужды нет, что тут же, в этом самом мундире, ненавистник измышляет пакость тому самому делу, в пользу которого он парадно вырядился, — повторяем: эта пакость совершится за кулисами, на заднем дворе, на сцене же будут красоваться все внешние признаки преданности делу...» — напоминает писатель.

Спасибо за предупреждение, Михаил Евграфович, ведь и правда...

Впрочем, не будем перебивать горячую речь, льющуюся с этих страниц!

«В это время около нас остановилось еще два собеседника. По внешнему виду это были два канцелярских политика, но не из высших, а так, второго сорта.

— Ну-с, как-то вы с новым начальством служить будете? — спросил один.

— А что?

— Как «что»! да ведь, чай, новые порядки, новые взгляды... все новое!

— А мне что за дело?

— Как же не дело! велит писать так, а не иначе... небось, не напишете?

— Напишу.

— Чай, тоже неприятно!

— Ничего тут неприятного нет, потому что совсем не в том дело.

— Да в чем же?

— А в том, во-первых, что я могу написать разно; могу написать убедительно, и могу написать неубедительно... Во-вторых, неужто вы так наивны, что думаете, что эти дела обделываются между начальством? Нет, эти дела обделываем мы!

— Как так?

— Очень просто. Я напишу проект точь-в-точь такой, как приказывает начальство; от нас он идет на заключение к г. Х. Я тотчас же еду к Семену Иванычу, который к своему г. Х находится точь-в-точь в таких же отношениях, как я к своему, и говорю: «Семен Иваныч! к вам поступает наш проект, так уж, пожалуйста, вы его разберите!» — Хорошо, — отвечает мне Семен Иваныч, — и, действительно, через месяц проект возвращается к нам, разбитый в пух на всех пунктах».

И снова мы с вами, люди конца восьмидесятых годов XX века, радуемся такому вполне своевременному картинному напоминанию и зорче присматриваемся к тем нынешним ловкачам, в которых прямо как будто переселилась душа давних щедринских персонажей.

Искренне радуемся и меткому словцу сатирика о людях, «дерзких на услугу» или о находящихся во «всегдашней неколебимой готовности следовать указанию всякого одаренного способностью указывать перста» и совершающих при этом самые головокружительные курбеты.

Но что это?! — Насмешливо острый взгляд писателя на сей раз обращен уже на нас самих и высвечивает нечто такое, что, увы, никак нельзя не признать нам свойственным:

«Мы склонны раздражать себя всякого рода утопиями... Мы охотно перескакиваем через все препятствия (в мыслях! — *А. Т.*), устраняем подробности процесса и заранее наслаждаемся уже концом не начатого еще дела».

Да, вице-губернатор «ругается» не без основания! Уж сколько раз случалось подобное: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», как пелось в давней солдатской песне. А Щедрин про «овраги» напоминает постоянно и своим «старинным» слогом отчетливо обозначает те коварные жизненные «развилки», где можно запросто сбиться с верной дороги:

«Разделять одну и ту же задачу на две половины, из которых на одну соглашаться, а о другой игнорировать, — значит добровольно обманывать самих себя».

Как тут не призадуматься и не пересмотреть заново намеченный было план действий!

Читаешь-читаешь подобное — и вот уже совсем по-иному начинаешь воспринимать страдальчески-нетерпеливое выражение лица писателя на его последних фотографиях: словно он, всегда

трепетно любивший родину, и нынче всей душой — с ней, живет ее заботами и тяготится тем, что не может принять их груз на свои плечи, вмешаться во все происходящее самому — и кому помочь, кого оттеснить, — припечатать крепким щедринским словом тех, кто, подобно помпадуру Митеньке Козелкову, лишь повторяет: «вперед! вперед! вперед!», а сам ни с места, у кого, как у незабвенного Иудушки Головлева, от пустяков в горле пересохло, или тех, кто пребывает в тупоумном недоумении по случаю необходимых, но «беспокойных» перемен вокруг и — особливо — отстранения от дел «возлюбленных» начальников («Какая «преклонность лет»! и всего-то по формуляру семьдесят пять лет значится! в самой еще поре!»).

Только напрасно Щедрин печалится: сказанное им слово оказалось настолько дальнобойным, что и век с лишком спустя после своего появления безошибочно «накрывает» новые цели и грозным огненным валом расчищает путь наступающим на все то, что — тоже до боли сердечной и до последнего своего вздоха — ненавидел, презирал, обличал великий русский сатирик.

Не бойтесь же сурового взгляда, каким глядит он с портретов!

Не ограничивайтесь первым беглым знакомством с ним!

Не смущайтесь, если иные страницы его книг покажутся вам сначала трудными и непонятными, — вчитайтесь в них, и вы расслышите страстный монолог нашего современника!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

Сочинения М. Е. Салтыкова-Щедрина

Салтыков-Щедрин М. Е. Сочинения: В 9 т. Изд. автора. 1889—1890.

Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений: В 12 т. Пб., 1891—1893. В первом томе — «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова» К. К. Арсеньева, портрет писателя, факсимиле его последней рукописи «Забытые слова», фотография памятника на Волковом кладбище.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / Ред. К. Халабаева, Б. Эйхенбаума. Биогр. очерк и коммент. Иванова-Разумника. М.; Л.: ГИЗ, 1926—1928.

Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений: В 20 т. / Под ред. В. Я. Кирпотина, П. И. Лебедева-Полянского, П. Н. Лепешинского, Н. Л. Мещерякова, М. М. Эссен. М.; Л.: ГИХЛ, 1933—1941.

В томах — вступительные статьи.

Салтыков-Щедрин М. Е. Избранные сочинения: В 7 т. / Вступ. ст. А. Лаврецкого. М.: Гослитиздат, 1939—1949.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 12 т. / Вступ. ст. Д. И. Заславского. М.: Правда, 1951 (Б-ка «Огонек»).

Каждому тому предпослано предисловие.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. (24 книги) / Ред. коллегия: А. С. Бушмин, В. Я. Кирпотин, С. А. Макашин (гл. ред.), Е. И. Покусаев, К. И. Тюнькин. Вступ. ст. Е. И. Покусаева. М.: Худож. лит., 1965—1977.

В томах — послесловия и комментарии.

Салтыков-Щедрин М. Е. Об искусстве: Избр. ст., рецензии и высказывания / Ред., вступ. ст. и примеч. Н. В. Яковлева. Л.; М.: Искусство, 1949.

Салтыков-Щедрин М. Е. О литературе / Сост., примеч. и послесл. В. Я. Кирпотина. М.: Гослитиздат, 1952.

Салтыков-Щедрин М. Е. О литературе и искусстве: Избр. ст., рецензии, письма / Ред., вступ. ст. и примеч. Л. Ф. Ершова. М.: Искусство, 1953.

Литература о М. Е. Салтыкове-Щедрине

Ольминский М. С. Статьи о Щедрине. 1906—1929. М.: Л.: ГИЗ, 1930.

Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть первая. 1826—1868. М.: Федерация, 1930.

Литературное наследство. Т. 13—14.

Ольминский М. С. Щедринский словарь. М.: ГИХЛ, 1937.
Макашин С. А. Салтыков-Щедрин: Биография. 2-е изд., доп. М.: Госполитиздат, 1951. Т. 1.
Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов: Биография. М.: Худож. лит., 1972.
Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Середина пути, 1860—1870-е гг.: Биография. М.: Худож. лит., 1984.
М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр. и доп. М.: Худож. лит., 1975.
Кирпотин В. Я. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Жизнь и творчество. Изд. переработ. М.: Сов. писатель, 1955.
Кирпотин В. Я. Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина. М.: Госполитиздат, 1957.
Покусаев Е. И. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов: Кн. изд-во, 1958.
Покусаев Е. И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М.: Гослитиздат, 1963.
Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959.
Бушмин А. С. Салтыков-Щедрин: Искусство сатиры. М.: Современник, 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Михайлович Турков

«Ваш суровый друг...»

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Л. В. Петрова*

ИБ 1598

Сдано в набор 02.04.87. Подписано в печать 14.12.87. А 02684. Формат 60 X $90^{1}/_{16}$. Бум. офс. № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 Усл. кр.-отт. 40,0. Уч.-изд. л. 23,3. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4422. Заказ № 292. Цена в бумвиниле 1 р. 80 к., в коленкоре 1 р. 90 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Турков А. М.

Т88 «Ваш суровый друг...» — 4-е изд., доп. — М.: Книга, 1988. — 319 с: ил. — (Писатели о писателях)

Биография замечательного русского писателя-сатирика дается автором на фоне истории России, ее революционно-демократическою движения, острой литературной борьбы.

В книге воссоздан яркий образ писателя-борца, чье разящее перо повергало в трепет идейных противников.

Предыдущие издания получили положительные отзывы прессы и читателей. Данное издание дополнено новыми материалами.

Для широкого круга читателей.

Т $\frac{4702010200—010}{002(01)-88}$ 67-88 ББК 84Р7-4